

A narrow, sunlit street in a village. The street is paved with cobblestones and leads between buildings. On the left, a building has a balcony with a trellis of bare vines. The central building is white with a window of dark shutters. On the right, a stone wall features a black street lamp. A person in a light jacket and dark pants, carrying a bag, is walking away from the camera. The sky is blue with light clouds.

Борис
Носик

Был целый мир –
и нет его

Русская летопись Лазурного берега

Борис Носик

**Был целый мир – и нет
его... Русская летопись
Лазурного Берега**

«WebKniga»

2015

УДК 929(470+44)
ББК 63.3(4Фра)+63.3(2)=8

Носик Б. М.

Был целый мир – и нет его... Русская летопись Лазурного Берега /
Б. М. Носик — «WebKniga», 2015

ISBN 978-5-75-161441-6

Строка из стихотворения Георгия Иванова, ставшая заголовком этой книги, очень точно отражает ее дух и смысл: лучшие сыны и дочери России упокоились вдали от родины — и, как правило, не по своей воле. О тех, кто похоронен на многочисленных русских кладбищах юга Франции, — последняя книга Бориса Михайловича Носика (1931—2015), тонкого ироничного прозаика, летописца русской эмиграции во Франции, автора множества биографий, включая жизнеописания Ахматовой, Модильяни, Набокова, Бенуа, Жуковского, Швейцера. Внимательный читатель в очередной раз испытает гордость и горечь: столько людей, одаренных великими талантами, высокой нравственностью и силой духа, родила Россия — и всех этих людей она потеряла в результате большевистской революции и Гражданской войны начала XX века. Фото в книге – из семейного архива автора.

УДК 929(470+44)

ББК 63.3(4Фра)+63.3(2)=8

ISBN 978-5-75-161441-6

© Носик Б. М., 2015

© WebKniga, 2015

Содержание

* * *	6
Информация от издательства	7
Антон Носик. Последняя книга отца	8
К приютам волшебного берега	9
От райского Йера к Мимозному Борму и деревеньке Лаванду	11
Остановка в Сен-Рафаэле	24
Туррет – Кайан – Грасс	28
Вальбон – Рокфор-ле-Пен – Мужен	37
Канны: вечный сон среди суетной роскоши	42
Сен-Поль-де-Ванс – Ванс – Кань-Сюр-Мер	50
Родины дальней цветков на могилы прославленной Ниццы	58
Болье-сюр-Мер	151
Рокбрюн	157
Ментона	160
От издательства. Борис Михайлович Носик	164
Над книгой работали	166

Борис Носик
Был целый мир – и нет его
Русская летопись Лазурного Берега

*Издательство «Текст» благодарит семью и друзей автора за
помощь в подготовке издания этой книги*

*Все чаще эти объявления:
Однополчане и семья
Вновь выражают сожаленья...
«Сегодня ты, а завтра я!»*

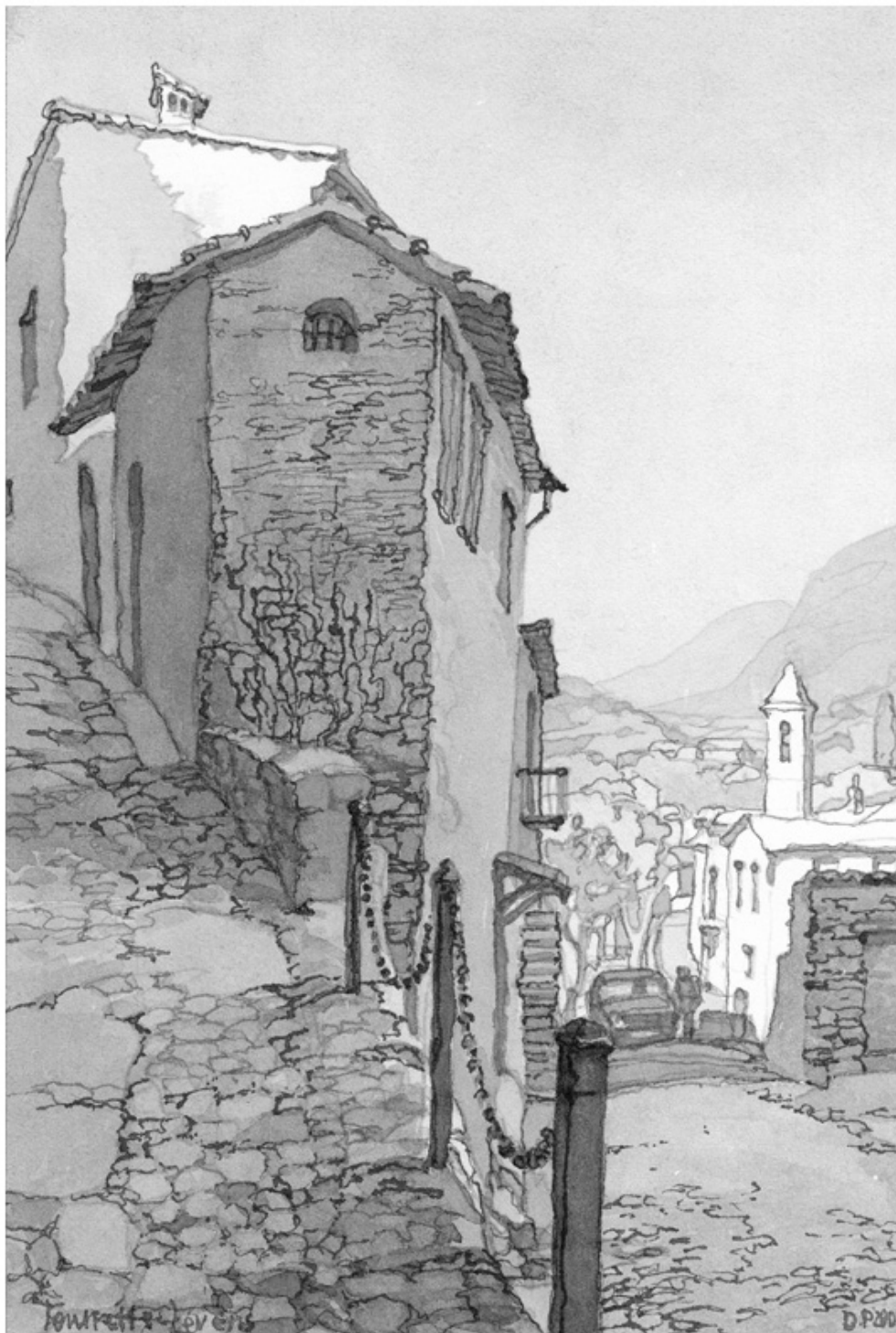
*Мы вымираем по порядку —
Кто поутру, кто вечером
И на кладбищенскую грядку
Ложимся, ровненько, рядком.*

*Невероятно до смешного:
Был целый мир – и нет его.*

*Вдруг – ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну, абсолютно ничего!*

Георгий Иванов, 1941

* * *



Туррет-Леван. Приморские Альпы. Франция

Информация от издательства

Художественное электронное издание

Носик Б.

Был целый мир – и нет его... Русская летопись Лазурного Берега / Борис Носик. – М.: Текст, 2016.

ISBN 978-5-7516-1441-6

Печальная строка из стихотворения Георгия Иванова, ставшая заголовком этой книги, очень точно отражает ее дух и смысл: лучшие сыны и дочери России упокоились вдали от родины – и, как правило, не по своей воле. О тех, кто похоронен на многочисленных русских кладбищах юга Франции, – последняя книга Бориса Михайловича Носика (1931–2015), тонкого ироничного прозаика, летописца русской эмиграции во Франции, автора множества биографий, включая жизнеописания Ахматовой, Модильяни, Набокова, Бенуа, Жуковского, Швейцера. Внимательный читатель в очередной раз испытает гордость и горечь: столько людей, одаренных великими талантами, высокой нравственностью и силой духа, родила Россия – и всех этих людей она потеряла в результате большевистской революции и Гражданской войны начала XX века.

В книге использованы фотографии Т. Носик, Д. Попова, Е. Ушаковой, П. Шидывара

Фотографии на обложке Д. Попова: Русскийон-сюр-Тинэ, Мимозный Борн

Фотография автора на обложке Сандры Носик

Иллюстрация на фронтисписе Д. Попова

© Борис Носик, наследники, 2016

© «Текст», 2016

Антон Носик. Последняя книга отца

Книга, которую вы держите в руках, – последний труд моего отца, писателя Бориса Носика, скончавшегося в Ницце в феврале 2015 года. Книга посвящена теме, глубоким исследованием которой отец занимался больше 30 лет: судьбам россиян, в разные годы XIX и XX веков перебравшихся во Францию и здесь окончивших свои дни.

Борис Михайлович Носик – к тому времени известный в СССР писатель, сценарист, драматург, журналист, переводчик Ивлина Во, биограф Альберта Швейцера – переехал из Москвы в Париж в начале 1980-х годов. В стенах Тургеневской библиотеки он столкнулся с представителями первой русской эмиграции, людьми, сами имена которых в ту пору находились в СССР под запретом. Были среди них потомки знаменитых аристократических родов, писатели, художники, ученые, музыканты, политики предреволюционной эпохи, офицеры белой армии... Он завел с ними дружбу, записывал их воспоминания, получил доступ к семейным архивам и неизданным мемуарам – и вскоре сделался преданным хронистом истории «русской Франции», судьбам которой он посвятил десятки книг, рассказов, репортажей и телевизионных передач. После отмены цензуры в СССР тема перестала быть запретной, и книги Бориса Носика о жизни русских во Франции XX века нашли читателей и издателей в России.

Не будучи историком по образованию и призванию, но всю жизнь проведя в путешествиях, для составления своих исторических хроник Борис Носик часто обращался к жанру путеводителя, привязывая сюжеты к местности, в которой они разворачивались. Не стала исключением и эта его последняя книга. Она рассказывает о кладбищах Южного берега Франции, знаменитого Côte d'Azur, о жизни и смерти людей, здесь похороненных, и при этом ее можно использовать в целях вполне практических, путешествуя вдоль Средиземного моря, от Граса до Ментоны, по департаментам Вар и Приморские Альпы, находя здесь места, значимые для российской истории, но прежде ни в каком путеводителе не упомянутые... А можно читать эту книгу и безо всякой туристической нужды – как неожиданно подробный рассказ о славных, но, увы, малоизвестных страницах нашей истории.

Сам Борис Носик похоронен в Ницце, на русском кладбище Кокад, по соседству со многими героями своей последней книги – такими, как соавтор Козьмы Пруtkова, поэт и чиновник Владимир Жемчужников, поэт и критик Георгий Адамович, белый генерал Николай Юденич, светлейшая княгиня Екатерина Долгорукова (морганатическая супруга Александра II), царский министр иностранных дел Сергей Сазонов (убедивший Николая II в необходимости участия в Первой мировой), композитор Леонид Сабанеев и Генриетта Гиршман, портрет которой кисти Серова поныне украшает стены Третьяковки. Но жизнь автора и его персонажей продолжается в рассказе, который вам предстоит сейчас прочитать.

Антон Носик

К приютам волшебного берега

На Лазурном (и вполне лучезарном) Берегу Франции живало в последние полтора столетия немало славных наших соотечественников. Пусть даже и не так много их было, как прочих европейцев, азиатов, африканцев или американцев, но все же регулярно приезжали сюда, на теплый берег и наши намерзшиеся за зиму компатриоты: отогревались, общались друг с другом, а потом, слегка наскучив и берегом и недостатком общения (то ли дело Петербург, Москва, Лондон или Париж!), собирались в обратную дорогу. Ан не всем выпала судьба с чудного этого берега вернуться: многие тут и остались... Так вот наша новая книга для многих из них станет как бы возвращением на родину, хотя бы и виртуальным, хотя бы и запоздалым...

Приезжали они сюда, как мы знаем, по причинам разной степени серьезности, так что не всегда ехали в бодром настроении. Однако добравшись, выйдя из экипажа или вагона поезда (а то уж и вовсе шагнув на трап самолета в аэропорту), невольно улыбались они приветливому солнцу, цветам, шелесту пальм и блеску Средиземного моря, щекочущему чесночному запаху провансальской кухни.

Что же так неудержимо влекло их сюда, наших незабвенных? Одни горячо надеялись тут исцелиться от проклятия тех времен, чахотки, и иных хворей (таким и было большинство приезжих); другие хотели всего-навсего отдохнуть от столичной суеты, наскучившего труда, скучной серости неба, а то и просто от полного безделья; третьи бежали от жизненных неудач на родном севере, от гонений, клеветы, навета врагов и всякой кривды (за морем-то, известное дело, телушка полушка).

Позднее, после 1917 года, горестной толпой бежали они от насильников, обманом и силой сумевших взять власть в их стране, на долгие десятилетия отгородив ее от всего мира, да так, что и соединиться с оставшимися в неволе родственниками или самим вернуться в родные места стало для изгнанников невозможным. Долго надеялись беженцы на перемены, на свое возвращение, на встречу с близкими, ждали часа. И год ждали, и три, и восемь, и десять, и двадцать... А потом и надежду потеряли. Угасая на этом берегу, в городе Йере, в отчаянье написал тогда русский поэт:

Четверть века уже за границей.
И надеяться стало смешным.
Лучезарное небо над Ниццей
Навсегда стало небом родным...

Под этим небом они и умирали, тут и были захоронены на склонах лазурных гор и в живописных ущельях. Кое-где были устроены в селениях особые русские кладбища. А порой случайно вдруг наткнешься близ здешнего берега на русское имя и даты жизни. Встрепенешься: земляк! И похоже, что имя не совсем незнакомое. Вот еще б вспомнить подробнее, кто она была эта Прасковья? Эта Авдотья? Лидия? Георгий? Этот Ушаков? Сидоров? Фальц-Фейн? Меранвиль?.. Впрочем, даже и не вспомнив точно, можешь все же цветок возложить на камень, такой же теплый и краткодневный цветок, как мы с вами. Положишь, и вроде как на душе станет легче.

Сам я вхожу в число тех людей, кто уже с молодых лет больше любил прогулки по кладбищам, чем по шумным паркам культурного отдыха с их толпой. В зрелости отметил я путем чтения разных книг, что я не один малахольный на свете. Такие даже французские писатели попадают, убедительно приглашающие своих читателей на прогулку по Пер Лашез или какому ни то иному парижскому некрополю...

А теперь вот я надумал пригласить вас в паломничество к русским могилам на издавна обжитом россиянами французском Лазурном Берегу Средиземного моря. Понятно, что упомянутая выше давность и многолюдность русского проживания на этом берегу вполне незначительны в сравнении с древностью здешнего заселения или его многолюдством. А все же и оно оставило след в толще нашей культуры, и не следовало бы нам его терять, раз уж пришло время собирать, а не разбрасывать камни. Оттого и зову вас в это новое паломничество по Франции, на сей раз снова по Французской Ривьере.

Что касается городов, селений и потаенных уголков Ривьеры, по которым пройдет наше путешествие, то несравненная их южная красота давно известна подлунному миру. Волшебный уголок планеты. Да и общее направление нашего странствия, надеюсь, не покажется вам бесцельно грустным. Надеюсь, даст оно моим попутчикам очищающее чувство исполненного долга, случай еще раз поразмышлять о жизни и смерти, новую остроту восприятия блистающего мира... Не могут не навести их на раздумия о жизни ушедших поколений, которым выпали на долю не только XIX, но и кровавый XX век со всеми его потрясениями. Что же до невольной нашей грусти и сочувствия, то думается мне, что эти переживания и мысли, сопутствующие нашему паломничеству, совсем бесполезны, а могут даже оказаться благотворными.

Один из французских авторов написал однажды о дорожках старых кладбищ как о «перепутье для размышлений, наилучшем уголке для прогулок, в ходе которых можно мысленно плести над чужими могилами узорное кружево собственной жизни».

Вспоминаю, что меня самого по переезде из Москвы во Францию (тридцать с лишним лет тому назад) бесконечно занимала история тех наших соотечественников, что оказались здесь некогда в изгнании. Большинство из них еще до изгнания и бегства успело прожить блистательный век на оставленной родине. Как повели они себя в новых обстоятельствах, когда утратили семьи, состояние, всяческий престиж, родственные и дружеские связи, профессию, родные места и родовые гнезда? Это было для них жестокое испытание. Неудивительно, что иные из этих пылких идеалистов, гордых снобов или утонченных эстетов пережили здесь почти полное падение и стали подонками общества. Удивительным было другое: то, что столь многие устояли в этих условиях и сохранили внутреннее достоинство. Что они сохранили энергию, жажду деятельности, общественный темперамент, самоотверженность, доброту, любовь к людям и к оставленной, недоступной родине, которая с каждым годом становилась там вдали чем-то иным, все менее знакомым и понятным.

Эмигрантские судьбы этих соотечественников пройдут перед вами в нашем кладбищенском странствии, на этой «лучшей из прогулок» (по выражению упомянутого выше М. Данселя), в нашем паломничестве к русским могилам, разбросанным по волшебному берегу Ривьеры...

От райского Йера к Мимозному Борму и деревеньке Лаванду

Наше паломничество к родным могилам будет, как вы уже поняли, путешествием по кладбищам древних живописных селений средиземноморского берега. Трудно отказаться от надежды, что проявленное нами внимание к последнему приюту ушедших будет небезразлично для тех, кто ушли в мир иной близ этих мест. Отчасти потому я и приглашаю вас в путь.

Начать его я решил в городе Йере, что в департаменте Вар в четырех километрах от прославленного Лазурного Берега. Городок возник близ моря, но все же и не на самом его берегу: от него меньше часа пешего ходу до песчаных пляжей полуострова Жиен. Фокейские греки основали тут первое поселение еще в незапамятные времена, так что уже за четыре века до Рождества Христова правила здесь эллинская Ольбия. В X веке город упомянут был как Йер, но до того, как стал он зимним прибежищем для северян-иностранцев, ищущих тепла да избавления от недугов, прошло еще добрых восемь столетий. Город, окруженный крепостной стеной, высился близ горного массива, на склоне холма Кастеу. От этих стен двинулся некогда король Людовик Святой в Седьмой крестовый поход, а что до замка Йера, то он был разобран уже в XVII веке по приказу Людовика XIII. После этого прошло еще больше трех столетий до последней здешней военной стычки с врагом в августе 1944 года, когда американцы с британцами, вкупе с подразделением сенегальцев, очистили берег от немцев, охотнее, понятное дело, сдававшихся в плен американцам и британцам, чем сенегальцам. Тем последняя мировая война и была здесь закончена: снова, как до войны, потянулись хворые иностранцы в городок Йер, который американский писатель Скотт Фицджералд назвал когда-то «прелестнейшим из всех мест на земле».

Давнее пристрастие англосаксов к нежному Йеру вполне объяснимо. Всякий, кто провел хоть одну сырую, зябкую зиму на зеленом британском острове, без труда догадается, что первыми иностранцами-бокогреями должны были стать англичане. Одним из первых (два с лишним века назад) грелся на этом берегу британский посол, лет десять спустя (в 1788–1789) зимовал в Йере принц Уэльский, подавший добрый пример всей лондонской знати, а в 1791-м даже вышел в свет английский роман, действие которого разворачивается в Йере. Так что и с европейской знатью и с изящной словесностью у маленького Йера довольно старые и престижные связи. Творец знаменитого «Острова сокровищ» Роберт Льюис Стивенсон, поселившись здесь в 1863 году, во всеуслышанье заявил, что это «почти рай». Королева Виктория отдыхала в Йере добрых три недели, однако самое крупное (и близкое к литературе) событие имело здесь место еще до Стивенсона и до королевы, а именно в 1860 году. На нем я и собираюсь остановиться далее подробно, а пока два слова о самом городке, каким я его впервые увидел.

Пестрящий южными цветами, шелестящий пальмами Йер хранит и поныне следы своей почтенной и живописной старины. Высятся в центре города на площади Масийон башня XII века, в которой размещалась некогда командерия тамплиеров. За площадью петляют узкие средневековые улочки, ревниво сохраняющие булыжное покрытие. На одной из улиц слепит глаза голый фасад «старческого дома», на который еще лет десять тому назад советовал я местным властям прибить мемориальную доску с именем замечательного русского поэта, который провел в этом доме последние годы жизни и умер в нем, успев написать здесь свои новые, совершенно упоительные стихи. Его имя было Георгий Иванов, и если власти в Йере не последовали моему совету, то, вероятно, не только оттого, что никто здесь не читает книг по-русски. Просто – кому нужны советы бродячих иностранцев? Своих-то выслушать некогда... Как верно отмечал живший неподалеку отсюда Иван Бунин, даже при советской власти, никто ни с кем никогда не советовался.

Не вовсе случайная здесь ссылка на Бунина подводит меня вплотную к имени, без упоминания которого не проходило ни одно застолье в ривьерском бунинском доме. К тому самому имени, с которого я и собирался начать наше паломничество к русским могилам. К единственному русскому имени, которое слышали, может, даже в мэрии города Йера. К русскому имени, которое помнят и на здешнем городском кладбище. Это имя – ТОЛСТОЙ. Уверен, что когда ни то прилетит к этим берегам всеобщая грамотность и любой французский труженик, даже какой-нибудь там кибернетик или математический доктор наук, скажет: «Как же, помню это имя: Леон Толстой. У него еще братан в Йере лежит на кладбище...»

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ, любимый старший брат Льва Николаевича, умер в Йере в самом начале октября 1860 года и был похоронен на городском кладбище «Парадиз». Трагическое это событие стало одним из величайших потрясений в жизни младшего брата Льва, великого писателя земли Русской.

Николай Толстой (по семейному Николенька) был тоже писателем, даже напечатался однажды в «Современнике» и был тепло принят его знаменитыми издателями – Некрасовым, Тургеневым, Панаевым. Очерк тридцатилетнего Николеньки «Охота на Кавказе» остался единственным напечатанным им при жизни сочинением. У Николеньки не было ни темперамента, ни амбиций младшего брата, ни его упорства и энергии. Но человеком он был добрым, высоко нравственным. Он более других привязан был к матушке, которая умерла так рано. Семилетний шалунишка Коля (Коко) остался за старшего в ватаге сирот, и овдовевший отец, возлагая на его детские плечи большую ответственность, написал однажды: «Я рекомендую Коко быть для своих братьев примером послушания и прилежания». Как ни удивительно, Коко понял и принял эту ответственность и стал для младшего брата и сестер примером и воспитателем. Левушку он называл «мой дорогой ученик». И надо сказать, в этом своем качестве воспитателя он проявил талант и воображение писателя. Он придумывал для младших детей игры и сказки, увлекая их на поиски некой волшебной «зеленой палочки», зарытой в парке на краю оврага. На ней, дескать, были написаны тайные слова, которые помогут истребить зло в людях и открыть все блага. Детские выдумки Николеньки, пересказанные позднее младшим братом, произвели на русских интеллигентов немалое впечатление. Мне довелось, например, читать, что, добравшись столетие спустя до вольного Парижа, русские изгнанники (среди них писатель Дон Аминадо и великий бакалейщик-караим Ага) начали новую жизнь с издания детского журнала: дети должны были вырасти другими, чтоб не разделить унижения изгнанных отцов и дедов. И название для нового журнала не случайно пришло им в голову именно такое: «Зеленая палочка».

Жизнь Николеньки Толстого протекала в соответствии с традицией его круга. В 16 лет он поступил на математический факультет Московского университета, потом учился в Казанском университете, потом служил в артиллерии близ Москвы. Получив при разделе имущества наследное имение, он удалился в усадьбу, читал на досуге стихи, писал, охотился. Потом вернулся на военную службу, послужил на вечно бунтующем Кавказе, не раз был награжден орденами за храбрость в деле, а тридцати пяти лет от роду вышел в отставку в чине штабс-капитана. И притом оставался все тем же добрым, честным, слегка апатичным (с юности предпочитал не ходить в гости, а ждать, чтобы друзья пришли к нему), чувствительным братом...

Сохранилось его письмо родным о том, как тяжело ему было сдавать своих крепостных (имел он 317 душ мужеского пола) в рекруты: «Не знаю, что лучше: видеть, как умирает солдат в деле или как провожают гожих, как у нас их называют. Бедный наш, добрый русский мужик! И когда поймешь, что никак не можешь облегчить его участь, то делается как-то гадко и досадно за себя».

Часто ли услышишь нынче подобное, хоть бы от видных патриотов, гуманистов и «властителей дум»?

Вскоре после ухода в отставку, когда в своем поместье читал Николай умные книги и занимался переводом Библии, обнаружилось, что вездесущая чахотка, гнездившаяся в его теле, перешла в наступление. Родные повезли его на лечение в теплую страну докторов Германии. Но осень в Германии в тот год выдалась холодная, Николаеньке стало хуже, и тогда младший брат перевез больного в хваленый французский город Йер, где все еще тепло. Поехала с братьями и сестра Мария, обремененная детьми. Сестра сняла виллу у моря, а братья остановились в пансионе на нынешней рю Кюри. Здоровье Николая быстро ухудшалась. Младший брат Лев вспоминал об угасании старшего: «Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым ее шагом следил...»

Не прожив в Йере и месяца, Николай покинул наш мир и младшего брата, отчаянье которого было безграничным. «Мало того, что это один из лучших людей, которых я встречал в жизни, – писал Лев Николаевич, – <...> что с ним связаны лучшие воспоминания моей жизни? – это был лучший мой друг».

Тема смерти прочно входит в творчество брата-писателя. Тогда, в Йере, и долгие годы после Йера потрясенному Льву Толстому казалось, что случившееся у него на глазах с братом делает самую человеческую жизнь бессмысленной. Он написал в письме через несколько дней после трагедии: «...он умер буквально на моих руках. <...> Для чего хлопотать, стараться, если от того, что было Н.Н. Толстой, ничего не осталось. <...> К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всю мерзостью подлости, лжи, самообманывания, а кончатся ничтожеством...»

Всем, даже глубоко верующей тетушке, Толстой пишет в те дни о своей ненависти к смерти. Смерть – конец всему. И какой же тогда смысл в жизни?

Тема смерти проходит почти через все произведения Льва Толстого, и только после происшедшего в нем перерождения в конце семидесятых годов он смиряется с ней, не веря больше, что это конец всему. Собственно, уже в «Воине и мире», рассказывая о смерти Андрея Болконского, Толстой пишет, что «то грозное, вечное, неведомое присутствие, которое он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и – по той странной легкости бытия, которую он испытывал, – почти понятное и ощущаемое...». Толстой пишет о «простом и торжественном таинстве смерти», о смерти как пробуждении и даже новом рождении.

К концу семидесятых годов он приходит к убеждению, что смерть есть лишь переход в другое бытие, что хорошо жить – значит хорошо умереть. Что умереть – значит просто уйти туда, откуда пришли. Может быть, человек просто меняет способ путешествия... «Рад, что не перестаю думать о смерти», – пишет он о своей «радостной готовности к смерти».

Смерть пришла к младшему брату в свой черед, и она явилась тогда потрясением для всей мыслящей России. В своем биографическом романе В.В. Набоков рассказывает, как восприняли весть об этой смерти его молодые родители, оказавшиеся в ту пору за границей. Эта весть словно требовала от них, интеллигентов, какого-то решения. И они решили вернуться в Россию...

После смерти брата Лев Николаевич оставался еще некоторое время в Йере, жил на вилле, снятой сестрой Марией, ездил в Италию, изучал систему образования во Франции. Это была его последняя зарубежная поездка.

Через каких-нибудь два десятка лет после погребения Николая Толстого именно на месте кладбища «Парадиз» городок решил построить новую школу. Поскольку могильный участок Н.Н. Толстого был оплачен «навечно», прах его был перенесен на кладбище «Риторг», как, впрочем, и останки из других могил, оплаченных для вечного упокоения. Однако нетрудно догадаться, что в местах, где земля становится что ни день то дороже, а земельная спекуляция все беспощадней, покой нам только снится. В конце концов местные власти приняли вполне практичное решение в отношении братства усопших (без учета, конечно, их пожеланий, зем-

ных званий, надежд, рода занятий, былой деятельности). Останки «навечно» похороненных русских, переселенные с прежнего кладбища, снесли для удобства и экономии в одну общую могилу, на которой установили привезенное из России солидное каменное надгробье, и на нем были высечены имена граждан России, умерших в Йере от туберкулеза совсем еще молодыми. Список открывает имя графа Николая Николаевича Толстого, прожившего на свете 37 лет...

Другие погребенные здесь россияне прожили и того меньше: МИЛОСЛАВ КИРКОВСКИЙ из Вильны – тридцать три года, СТАНИСЛАВ ВСЕСЛАВСКИЙ не дожил до тридцати, супруги ЭДЖЕХОВСКИЕ, граф АРСЕНИЙ МОШЕН, граф ПЕТР КОЗЛОВСКИЙ, ЕКАТЕРИНА РУБАКОВА...

Если двинуться от Йера по живописной дороге, ведущей на северо-восток, то за каких-нибудь полчаса доберешься в сказочный древний городок на горе, почти нависающей над морем. Типичное горное селение: узкие улочки, осененные арками, цветы, кактусы, лимоны, пинии...

Древние римляне называли этот городок Бормани. Позднее он стал Бормом, точнее даже Сосновым Бормом. И только в двадцатые годы прошлого века обитатели Борма попросили переименовать их живописный городок в Мимозный Борм. Власти пошли навстречу народным чаяниям: завезенная из мексиканского похода мимоза преобразила улочки города.

Красоту этого крошечного городка не раз воспевали мимохожие и мимоезжие поэты, в том числе и русские. Один из них (вполне известный когда-то в Петербурге поэт Саша Черный) писал под конец жизни вполне умиленно:

Борм – чудесный городок,
Стены к скалам прислонились,
Пальмы к кровлям наклонились.
В нишах тень и холодок...

И еще много-много улыбчивых стихотворных русских строк написал о Борме влюбленный в этот провансальский городок поэт-изгнанник, знакомый некогда всему столичному Петербургу и счастливо заброшенный на этот русский в ту пору берег.

Мимозный городок Борм, отрада художников и поэтов, и до недавнего времени дышал русскими воспоминаньями. Я их там еще отметил, пройдя от главной площади и часовни Святого Франсуа де Поля к воротам здешнего кладбища, от ограды которого открывается упоительный вид на изумрудную долину и синий морской простор.

Едва войдя на кладбище, можно увидеть немаловажное для нашего рассказа русское надгробие. Упоминание о нем, как, впрочем, и обо всем этом кладбище, не попало даже в престижную некропольную книгу отставного полковника Романова, вышедшую недавно в Москве, а между тем с именами похороненных здесь АПОЛЛИНАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ ШВЕЦОВОЙ (1877–1960) и БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА ШВЕЦОВА (1873–1939) связано было непредвиденное распространение русской речи на здешнем берегу.

Борис Алексеевич и Аполлинария Алексеевна были сибиряки, родом из далекой забайкальской Кяхты, некогда бойкого городка на торговом пути. Из Восточной Сибири в Китай, из Китая в Сибирь тянулись через Кяхту караваны верблюдов. Городок украшался и богател. Здешние дамы шили себе платья в Париже, на концерты в Кяхту они приглашали теноров из Италии... Конечно, занимались, как положено, благотворительностью, много читали, собирали ценные библиотеки.

Правда, с постройкой железной дороги (КВЖД) торговое значение Кяхты стало падать, но в конце XIX века городок переживал еще неплохие времена. А похороненный здесь Борис Алексеевич Швецов как раз и родился в ту пору в семье местного чаоторговца. Еще совсем молодым освоил он чаоторговую науку, по запаху мог издали различать сорта чая, стал видным человеком в Кяхте (где по-монгольски дружески беседовал с главным ламой), а потом в Москве, Петербурге, да и в Лондоне стал известен. Был он коммерции советником, членом страховых и биржевых обществ. Свои конторы чайной торговли имел по всему свету, так что с приходом русского всеобщего разоренья в новом веке не вовсе обнищал. Имел дом под Парижем, а также землю близ Соснового (позднее Мимозного) Борма, неподалеку от берега в селении Ла-Фавьер. Соседкой его и собеседницей в Ла-Фавьере была Людмила Врангель, дочь известного в свое время в Москве и в Крыму врача и писателя С.Я. Елпатьевского, лечившего М. Горького, знавшего А. Чехова, да и вообще весь московский художественный свет и весь Крым. Среди прочих чудес доступной тогда заграницы описывал этот знаменитый пишущий доктор и здешний прославленный берег, на котором довелось позднее жить его дочери с мужем – строителем и бароном Н. Врангелем (который здесь, кстати, и жизнь свою кончил): «Вот она, наконец, Ривьера, живая, настоящая Ривьера, та расфранченная блестящая красавица, какой рисуется она нам! <...> ярко-синее небо, глубокое и блестящее, и кругом голубое море, уходящее из глаз в ту широкую даль, где цвета сливаются и где перестаешь различать море от неба. Как светло, зелено и радостно кругом и как все выделяется ярко и выпукло. Все чужое, диковинное». Жизнерадостный ироничный доктор Елпатьевский живописал все это еще до прихода страшного века, когда описанный им чудный берег неожиданно приютил его читателей-изгнанников и больше не был для них ни чужим, ни экзотическим. И чего уж он вовсе не мог предвидеть, знаменитый доктор, что в заселении здешнего берега такое активное участие примет его собственная дочь Людмила. Так что не одни пациенты не предвидят своих судеб, но и доктора, которым колонизаторы этого берега, древние римляне, советовали самим перво-наперво исцелиться...

Случилось так, что подросшая и вышедшая замуж за инженера энергичная дочь знаменитого доктора Елпатьевского Людмила (уже в начале нового, начинавшего сходить с ума века) основала небольшое дачное поселение русской интеллигенции на каменистом берегу Западного Крыма, в Баты-Лимане. А позднее, уже после русской катастрофы и бегства из России, здесь, в Ла-Фавьере, беседуя по вечерам с бывалым сибиряком Борисом Швецовым (она прекрасно описала позднее в своих мемуарах этого «грузного, с расстегнутым воротом на могучей сибирской груди» бизнесмена и любителя книг), предложила ему купить у соседки-крестьянки кусок земли (холм близ берега), потом поделить эту землю и распродать участки под дачные дома для русских. Так они и сделали. Первыми начали строить дачи бывшие обитатели крымского Баты-Лимана, бывшие столичные знаменитости вроде кадетского лидера, историка и журналиста Павла Милюкова и художника Ивана Билибина. Потом появились на этом берегу писатель Куприн, художники Коровин, Гончарова, Ларионов, Рожанковский, ученые (Франк, Когбетлянц), композиторы (Гречанинов, Черепнин) и поэты (Цветаева, Поплавский, Саша Черный)...

Вот так и возник на французском берегу если не прославленный крымский Коктебель или не вполне знаменитый Баты-Лиман, то все же памятный для русской эмиграции провансальский Ла-Фавьер.

В этих местах и умер Борис Алексеевич Швецов. Скончался в 1939 году, как и многие русские, не пережив шока еще одной войны проклятого века. Здесь он и покоится, на маленьком кладбище Мимозного Борма.

Добравшись до самого живописного (юго-восточного) уголка этого кладбища, увидел я семейную могилу князей Оболенских. В ней одно из многих ответвлений княжеского древа Оболенских. Говорят, что княжеское древо это из самых раскидистых в последних пяти

веках русской истории (от Оболенских, как сообщают, пошли и Долгорукие, и Щербатовы, и Репнины). Ведь и во французском изгнании оказалось не менее трех ответвлений рода. Патриархом той ветви, которой дала приют живописная могила на кладбище в Мимозном Борме, явился князь ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1868–1950), человек поистине выдающийся. Он родился в Санкт-Петербурге в семье князя Андрея Васильевича Оболенского и княгини Александры Алексеевны Оболенской (урожденной Дьяковой). Андрей Васильевич был сыном героя Отечественной войны, статским советником, общественным деятелем и, по свидетельству Льва Толстого, хорошим человеком. Современники отмечают, что у вполне достойного петербуржца А.В. Оболенского было одно неудобное, хотя и весьма распространенное, пристрастие – к игре в карты, сильно подорвавшее достаток семьи. То не слишком значительное внимание, которое Лев Толстой уделил качествам князя Андрея Васильевича, объясняется, скорее всего, глубоким впечатлением, произведенным на великого писателя в его молодые годы будущей женой А.В. Оболенского, то есть матушкой похороненного здесь князя Владимира Андреевича – Александрой (Александрин) Дьяковой. Это была воистину замечательная девушка. Она была дочерью баронессы Дальгейм де Лимузен, бежавшей от кровавой французской революции ко двору русской императрицы Екатерины II. Беженцев из Франции было тогда довольно много, и принимали их в России вполне ласково. (Со здравым пониманием всех перемен можно отметить, что тех, кто бежал позднее во Францию от еще более кровавой русской революции, принимали куда более безразлично.)

Упомянутая выше Александрин Дьякова была не только красивой, но и высоконравственной, образованной девушкой (позднее она стала основательницей одной из первых женских гимназий в Петербурге).

Молодым человеком Лев Николаевич Толстой часто бывал у Дьяковых, был серьезно влюблен в Александрин Дьякову, делал ей предложение, но получил отказ. Вернувшись в 1856 году с Кавказа, писатель испытал возрождение своего чувства и, приехав после визита к Дьяковым, записал в своем дневнике: «Вернулся к Дьяковым <...> и выехал оттуда <...> страстно влюбленным человеком <...> теперь мне ужасно больно вспомнить о том счастье, которое могло быть мое и которое досталось отличному человеку Андрею Оболенскому...» И дальше в дневнике снова и снова об Александрин, которая была в глазах Толстого «самая тонкая и художественная и вместе нравственная натура».

Сын Александрин В.А. Оболенский именно эту материнскую нравственность положил в основу своей долгой общественной и политической деятельности. О верности ее идеалам Свободы, Справедливости и Любви он писал в конце жизни, в годы гитлеровского и сталинского тоталитаризма: «...эти идеалы, ныне отвергаемые идеологами тоталитарных режимов, я воспринял с раннего детства от своей матери в учении Христа».

Похороненный здесь Владимир Андреевич Оболенский был до революции видным деятелем Партии народной свободы и земского движения, представлявшего собой опыт русской демократии. Чудом избежав большевистской расправы, Оболенские выбрались из России и осели во Франции. Долгие годы Владимир Андреевич жил с женой и семьей сына в приморском русском Ла-Фавьере. Тут они все и похоронены, «старшие» Оболенские, на краю Мимозного Борма, над долиной и морем. На могиле керамические распятия, созданные внуком В.А. Оболенского и сыном Л.В. Оболенского Алексеем Оболенским, скульптором, певцом и филологом, давним моим знакомым, живущим на Фонарной горе в Ницце... Это знакомство побуждает меня чуть подробнее обратить внимание на судьбу весьма обширной и заметной и все же довольно типичной аристократической эмигрантской семьи, изгнанной из России в результате большевистской «негативной селекции».

Если упокоившемуся здесь известному общественному и земскому деятелю Владимиру Андреевичу довелось после престижной петербургской гимназии окончить естественный

факультет Петербургского университета и изучать юриспруденцию в Берлинском университете, то похороненному рядом с ним сыну Льву, да и прочим семи детям, возможностей для хорошего образования оставалось немного. ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1905–1987) кончил школу в Германии, проучился год в Праге, а потом вместе со всей семьей переехал во Францию. Уже под тридцать ему удалось пройти ускоренный (эмигрантский) курс агротехники в Монпелье и получить диплом агронома. До этого зарабатывал он на жизнь нелегким физическим трудом, был, как говорится, разнорабочим, хотя знал толк и в виноградарстве, и других отраслях сельского хозяйства. Да и самому депутату Думы, высокообразованному князю Владимиру Андреевичу (он, кстати, как демократ не любил, чтобы его называли сиятельством) приходилось заниматься «разными работами» – помогать жене в уборке помещений, обслуживать пансион для приезжих русских отпускников, помогать сыну Льву в его бакалейной лавочке и крошечном кафе «У Леона». За все он брался с готовностью, не напоминая при этом ни о своих дипломах, ни о том, что был он еще недавно председателем земской управы Таврической губернии, членом ЦК кадетской партии, депутатом Думы, да и потом, в эмиграции, возглавлял Российский земско-городской комитет (Земгор), входил в правление различных организаций помощи братьям-эмигрантам.

Надо отметить, что многие аристократы проявили в эмиграции стойкость, готовность к труду, высокое достоинство. Что ни жизненный опыт, ни знания не были ими забыты. В свободные от тяжелой работы часы Владимир Андреевич много читал и писал. Он оставил замечательные (неоднократно изданные) воспоминания, в которых немало ценных исторических свидетельств о политических бурях тех роковых лет, о русских настроениях, о стране, о людях... Разным читателям запоминаются разные эпизоды этой жизни. Скажем, эпизод бегства семьи из Крыма...

Князь Оболенский получил пропуск на борт транспорта «Риони», уплывавшего из Севастополя, но, когда княжеское семейство добралось наконец до этого города, выяснилось, что транспорт уже ушел. Разместив семью в гостинице, князь вышел на улицу и остановился в полной растерянности, не зная, что делать. Глядя по сторонам, он увидел высокого брюнета в офицерском французском мундире, пустой рукав которого был аккуратно заправлен под пояс. Князь обратился к одностороннему офицеру по-французски и получил вежливый, благожелательный ответ на чистейшем русском. Офицер пообещал немедленно доложить о семье Оболенских французскому адмиралу и выразил уверенность, что все будет улажено. Уже час спустя шлюпка с семьей Оболенских, которой удалось таким образом спастись от неминуемой расправы, подплывала к борту французского миноносца «Вальдек Руссо».

Остается назвать имя спасителя семьи, таинственного офицера, столь безупречно говорившего (и совсем неплохо писавшего) по-русски. Это был Зиновий, родной брат влиятельного и кровожадного большевистского вождя Якова Свердлова. Он носил фамилию Пешков. Еще совсем молодого Зиновия усыновил его земляк Максим Горький, дал ему свою настоящую фамилию и велел креститься в православие – все для того, чтобы юный «Зина» мог поехать в закрытую для безродного еврея Москву, поступить в школу Художественного театра и стать актером. В школу он поступить не сумел, но крещение, вопреки ожиданиям Горького, воспринял всерьез и даже мечтал одно время уйти в монастырь. В монастырь этот инвалид Первой мировой войны тоже не ушел, а, напротив, стал любимцем прелестных дам и агентом французского МИДа (вполне возможно, «двойным агентом», как это у них, агентов, водится), дипломатом, авантюристом, бригадным генералом, а заодно другом крестника русской императрицы, непримиримого врага большевиков князя Николая Оболенского, под одним камнем с которым он и был похоронен...

Однако вернемся к бормской могиле князя Владимира Андреевича Оболенского, который до старости не утратил ни горячего интереса к русским проблемам, ни общественного темперамента, ни желания отдать свои силы делу Свободы и Справедливости. После Второй

мировой войны он не только помогал жене и сыну в поденной уборке чужих домов для заработка, но и участвовал в выработке платформы Союза борьбы за свободу России. Позднее, перебравшись ближе к Покровскому монастырю в Бюси-ан-От, что на краю Бургундии, он писал оттуда статьи в парижские газеты и журналы, а иногда приезжал в Париж, в «клуб стариков», где виделся с П. Струве, с министром П. Юреневым (зарабатывавшим на жизнь то стиркой белья, то службой ночным сторожем), с Челищевым, с Менделеевым... Они бесконечно спорили о свободе России и о ее новых бедах. Надо сказать, что готовность к общественному служению и религиозность князь Владимир Андреевич передал детям, внукам и правнукам. Так же как и терпимость, религиозную и довольно редкую в нынешней России – национальную. Женились Оболенские, как правило, на красивых армянках, горянках, англичанках, французженках, а в Думу князя Владимира выдвинули некогда... крымские евреи.

И еще передал своим потомкам князь-изгнанник, похороненный здесь, над средиземноморским простором, неистребимую любовь к искусству. В.А. Оболенский был высокий ценитель искусства, недаром вечно выбирали его в свои комитеты и сообщества видные русские музыканты, композиторы, антиквары и в России до революции, и в эмиграции. И среди потомков его немало художников и скульпторов.

Следует, конечно, заметить, что дети Владимира Андреевича на трудных путях изгнания не всегда могли получить достойное образование. Эмигрантам думалось: скоро вернемся в Россию, там доучатся дети. Оттого и хлеб потом многим доставался нелегко. Работали и малярами, и камнерезами, и поварами... Однако все встали мало-помалу на ноги. Вот и сын Лев, первым зацепившийся близ Борма на чудном этом «русском» пляже Ла-Фавьер, где и родители с ним подолгу жили, куда приезжали к нему и братья, в конце концов построил собственный дом, куда пускал постояльцев.

Что касается семейных политических взглядов, то опыт патриарха семьи В.А. Оболенского, получившего тревожное предостережение против насилия еще и в первую русскую революцию, смог дать его потомкам основательную прививку против любых соблазнов модного «советизанства», от которого и этот эмигрантский берег не был огражден. Наивно было бы полагать, что Москва оставит без присмотра столь заметное скопление «белоэмигрантов», каким был пляжный русский Ла-Фавьер. Можно сказать, что ни один из сыновей и внуков В.А. Оболенского не поддался пению лубянской сирены. Хотя и вряд ли кто из Оболенских, а меньше других Лев Владимирович мог предположить, насколько всерьез велась разведработа на здешних дачах и в здешних русских пансионатах (один из которых был устроен улыбчивым Диком Покровским, тайным сотрудником и близким другом мужа Марины Цветаевой, агента НКВД Сергея Эфрона). Впрочем, судя по дневникам и письмам самой Цветаевой, и она большинством эмигрантов Ла-Фавьера была встречена поначалу не без опаски.

Ни сыновья, ни внуки, ни правнуки В.А. Оболенского не отдалялись от православия, а иные из них стали церковными деятелями, жили при русских монастырских обителях. Сам Владимир Андреевич, овдовев, провел конец жизни в монастырском уголке Бургундии Бюсси-ан-От. Однако похоронить себя завещал на знакомом берегу над Фавьером рядом с супругой Ольгой Николаевной.

На семейной этой могиле рядом с именами Оболенских приметил я дощечку с незнакомым мне именем – ОЛЬГА МАСС и попросил Алексея Львовича Оболенского рассказать мне, кто эта женщина и кем она приходилась Оболенским. Оказалось, что это была «квартирантка» родителей Алексея Львовича: многие годы снимала она квартиру в доме Оболенских в Ла-Фавьере и дружила с родителями Алексея. В своем семейном архиве Алексей Оболенский отыскал для меня не только фотографию совсем еще молодой, худощавой и дочерна загоревшей Ольги Масс, но и снимок ее красавицы матери, баронессы Масс. Фотографий ее отца мы не нашли, и создалось впечатление, что к тому времени, когда одесский фотограф вручил баронессе свой шедевр фотографического искусства, барон Масс уже успел покинуть черно-

морский берег. Согласно преданию, это не сильно удручало баронессу, она окружена была сонмом поклонников. Времени на воспитание дочери у красавицы не хватало, и бабушка увезла девочку в бессарабскую глушь, где растила ее и учила тому-другому-третьему, чему и всех учили: французскому языку, игре на фортепьянах... Блистательная матушка посещала дочку время от времени, и в один прекрасный день ее повзрослевшая дочь заявила, что хотела бы «продолжить свое образование не здесь, а в Париже». Баронесса сказала, что не видит к этому никаких препятствий, поскольку в Париже у нее есть замечательный любовник, прекрасная квартира, драгоценности, столовое серебро... Так началась парижская жизнь юной Ольги, в которой были сперва одни только радости, но потом и трагедии. В недобрый час замечательный материнский любовник заявил, что полюбил другую, и баронесса покончила с собой...

В 1934 году Оля вышла замуж за молодого художника Андрея Бакста. Он был, как и она, круглый сирота. Сперва умер его отец, знаменитый художник Лев Бакст, а позднее и его матушка Любовь Гриценко, вдова двух известных художников. Андрей перебрался в Париж, в мастерскую, которую оставил ему отец.

Совместная жизнь Ольги и Андрея оказалась и трудной, и не слишком долгой. Вскоре снова началась мировая война, Андрей ушел на фронт, Ольга уехала в Ниццу. Там, как, впрочем, и во многих других уголках Франции, было довольно спокойно. Однако в 1942 году, после первых парижских облав, стало ясно, что и в Ницце есть люди, которым угрожает смерть, – евреи. Их надо было спасать, прятать, переводить по ночам через границу группы детей и взрослых, помогать мужчинам влиться в Сопротивление. Этим опасным делом занимались отчаянные молодые французы. Ольга Масс была в их числе. Особенно трудным оказался 1944 год. Союзники уже высадились в Нормандии, а здесь, в Ницце, лютовали напоследок немцы и французская полиция Виши. Молодым подпольщикам удалось тогда спасти многих детей и взрослых. Некоторые поплатились за это жизнью. Таково было пусть не слишком массовое (не больше половины процента от населения Франции), но бесстрашное французское Сопротивление...

Война закончилась. Еще какое-то время Ольга оставалась в Ницце, помогая осиротевшим детям и бездомным, а потом вернулась в Париж. Она работала переводчицей, тапером в балетной школе. Даже ухитрилась построить себе небольшой домик в Сент-Же-невьев-де-Буа (где Русский дом и знаменитое православное кладбище). На старости лет она вернулась на Лазурный Берег и сняла комнату в Ла-Фавьере, в доме Льва Владимировича Оболенского и его супруги, с которыми очень подружилась.

Алексей Львович Оболенский вспоминает, что Ольга была странное существо. Весь день курила в постели, без конца читала, переводила стихи на французский. Перевела на французский язык толстый том воспоминаний Владимира Андреевича Оболенского. Слушала музыку и небрежно разбрасывала где попало окурки, от чего не раз загоралось ее многострадальное одеяло. Читала газеты и верила газетным жуликам, предлагавшим рецепты обогащения. Чуть не вся ее пенсия уходила на эти азартные проекты. Она дожила до девяноста лет, похоронив своих лучших друзей-домохозяев. Незадолго до смерти Ольга получила письмо из Иерусалима, сообщавшее, что она причислена к числу «праведников» за спасение евреев во время войны. За нее свидетельствовали кто-то из друзей по Сопротивлению, а также профессор-историк, изучавший Францию времен Второй мировой войны. Присуждением этих высоких званий озабочился иерусалимский Институт-музей Холокоста и Катастрофы Яд Вашем. Оказалось, что мир все же не был так безнадежен и ксенофобия не была тотальной, несмотря на усилия расистов. В одной только Франции институт насчитал две тысячи таких праведников, в других странах их было еще больше. Памятные дощечки, уцелевшие на Лазурном Берегу, кое-где еще поминуют имена этих благородных людей. В Марселе рисковал жизнью бывший русский консул Гомелла, в Ницце его бесстрашная супруга Надежда Львовна. А если подумать о тех, чей подвиг не был замечен, кто не был «выдвинут» на высокое звание (или не достал справку о

своих подвигах, как иные из послевоенных политиков, вроде Франсуа Миттерана), то, право же, все было не совсем безнадежно.

Алексей Оболенский показал мне свидетельство праведника, которое прислали Ольге из Института Яд Вашем. Настоящий документ. Все как положено. Почтовый адрес: Франция, Ла-Фавьер, карниз Золотых островов, дом 1307, мадам Ольге Масс. Справка номер 7295. Внизу подпись: «Директор департамента праведников». Так и сказано. Истинная весть из Рая...

Я спросил у Алексея, была ли Ольга растрогана этим известием. Он припомнил, что награда за то опасное занятие, которое она называла в своих рассказах «наша работа», была принята ею не без обычной иронии. Сказала, что прислали бы пару сотен, уж она бы пустила их в дело. Вот во вчерашней «Нис Матен» была гениальная схема обогащения, а она уже всю месячную пенсию разбазарила...

Когда Ольга умерла, Алексей Львович развеял ее прах над могилой своих родителей Оболенских. Могила эта над самым обрывом, высоко над долиной: аж дух захватывает.

Встречались мне на этом кладбище и другие знакомые, вполне знаменитые эмигрантские фамилии. Скажем, фамилия КРЫМ. Здесь похоронены вдова и приемный сын знаменитого Соломона Крыма. До того как выйти замуж за СОЛОМОНА САМОЙЛОВИЧА КРЫМА (1868–1936), милая француженка Люси Клар была аптекаршей в Феодосии. Приемный сын Крыма Рюрик Соломонович работал переводчиком в ООН. Оба они и были семьей Соломона, чье недавно вышедшее из забвения и вряд ли знакомое моему читателю имя занимает яркое место в бурной истории нежно всеми россиянами любимого полуострова.

Если вас удивило, что за аптечным прилавком в Феодосии стояла чистокровная француженка, напомним, что сказочный Крым не был до недавних «крымских событий» или до Второй мировой войны ни чисто татарским, ни чисто русским, ни чисто болгарским, ни чисто украинским, ни чисто греческим, ни чисто итальянским, ни чисто еврейским, ни чисто эстонским, ни чисто караимским, ни чисто немецким, ни чисто испанским... В Крыму счастливо сосуществовали все названные мной национальности и еще много-много других. Конечно, такая пестрота раздражала обоих знаменитых европейских деспотов XX века и оба пытались по мере своих сил «зачистить» пейзаж. В значительной степени им это удалось. Полуостров Крым от этого многое потерял и заметно оскудел. Выслали или извели мастеров табаководства, виноградарства, виноделия, овощеводства, хлеборобов, торговцев...

Упомянутый мною Соломон Крым вышел из коренной многодетной феодосийской семьи караимов. Многолюдной была семья, но сам народ караимский был крошечный. До Первой мировой в Российской империи не насчитывали и пятнадцати тысяч караимов (почти половина из них жила в Крыму, а другая половина в Литве). И все же, как бы ни был малочислен народ, он всегда вносит свою краску в многоцветную картину нашего мира. Когда я был совсем юным и шаркал на срочной солдатской службе кирзовыми сапогами по сухой армянской земле, мне и в голову не приходило, что министром обороны был тогда у нас караим маршал Малиновский. Да и что солдату до министра: скорей бы дембель, скорей бы домой. А вот когда снимали близ Вильнюса фильм по моему сценарию, я слонялся по знаменитому некогда Тракаю в надежде попробовать хваленые караимские пирожки и караимские огурчики. Тракайские караимы показались мне не слишком экзотичными, вполне похожими на литовских евреев. А между тем люди ученые объяснили мне, что это сообщество – лишь крошечный осколок великого хазарского племени, тех самых «неразумных хазаров», которых не смог окончательно замочить наш «вещий Олег». Более того, это не удалось даже Гитлеру, который, как и многие из современных политиков, снимал навар с народной ненависти ко всем «непохожим». Тут надо напомнить, что караимы здраво взглянули на реальную угрозу. Покуда евреи, слыша вопли Гитлера, пожимали плечами и «просто не верили», что такой приступ ненависти может приключиться с немецким народом, восторженно читающим строки Гейне, караим С.Э. Дуван

(бывший городской голова Евпатории, создатель евпаторийских курортов, городской библиотеки и еще много чего в этом городе) дважды ездил из Парижа в Берлин, где объяснял светилам из высоконаучного Института расовых проблем, что караимы – это тюркское племя, а что до их религии, то какое дело расистам до религии... Православные и протестантские батюшки поддерживали ходатайство предусмотрительного караима, и нужную справку о караимской расовой благонадежности ему удалось получить в 1939 году, еще до главного погрома. Так что среди миллионов погибших евреев оказалось сравнительно мало караимских детей, женщин и стариков. Маленький народ выжил. В основном, конечно, в изгнании. Перед войной брат беглого евпаторийского головы С. Дувана стал знаменитейшим театральным деятелем, играл в пражской труппе Московского художественного театра, а заметная караимка Людмила Лопато пела цыганские романсы в своем парижском ресторане. Помнится, я еще застал по приезду в Париж трогательную пожилую хозяйку ресторана «У Людмилы», хотя и не отважился тогда расспросить ее подробнее о парижских караимах. Среди моих московских друзей у меня, насколько знаю, не было караимов, но в молодости мне привелось однажды подниматься в лифте издательства «Молодая гвардия» с самым, наверное, грозным из литовских караимов. Я был молод, беспечен, не знал никаких тайн и потому несколько не испугался почтенного старика. Но прошло всего каких-нибудь сорок лет, и я узнал, что этот плодовитый автор Лаврецкий, знаток Латинской Америки и обличитель испанской инквизиции, был знаменитейший агент-убийца, который и творил в республиканской Испании все подлости, описанные позднее Оруэллом и Хемингуэем. Его фамилия была Григулевич, он занимался физической ликвидацией республиканцев, принадлежавших к марксистской партии, которая имела неосторожность критически отозваться не только о Троцком, но и о товарище Сталине. Вместе со своим шефом Орловым (Фельдбиным) Григулевич выдал убийцам лидера ПОУМ (марксистской рабочей партии Испании) Андреса Нина. Позднее он организовывал убийство Троцкого, еще позднее разбогател и стал полномочным посланником Коста-Рики в Риме (оставаясь советским разведчиком), ходил на приемы к Папе Римскому, присутствовал и выступал на заседаниях Совета Безопасности ООН...

Впрочем, пишут, что последнее важное убийство, доверенное ему начальством уже в пору, когда он находился «в резерве», завершить Григулевич не успел, хотя и не по своей оплошности. Григулевич не успел укокошить «американского шпиона Тито»: так совпало, что как раз в пору подготовки этой сложной операции великий вождь советского народа ушел в мир иной и на повестку дня его соратников встали более актуальные задачи.

Надеюсь, что мой рассказ о караиме Григулевиче не сможет омрачить воспоминаний о захороненных на этом берегу человеколюбивых сыновьях караимского народа, вроде Семена Дувана или Соломона Крыма. Впрочем, о Дуване и вообще караимах мы еще поговорим ближе к концу этой книги.

Соломон Крым был самоотверженным патриотом Крыма. Он окончил свои дни в усадьбе «Крым» на Лазурном Берегу Франции, хотя как и другие русские изгнанники упрямо ждал возвращения на родину, где давно уже соорудил семейный склеп на караимском кладбище в Феодосии. К 1936 году силы его оставили и, как писал Георгий Иванов, тоже угасший в этих местах, на возвращение «надеялся стало смешным». Дошли слухи и о том, какому поруганию преданы их бывшие обычаи и могилы предков. (Много позднее чудом уцелевшие, полуразбитые склепы и памятники с оскверненного караимского кладбища Феодосии перевезли к вилле «Стомболи». Что же до «Виктории», феодосийской виллы Соломона Крыма, то ее и сегодня еще показывают случайным туристам.)

Итак, похороненный в бывлой ривьерской усадьбе «Крым» знаменитый крымский эмигрантский деятель Соломон Крым родился в семье богатого феодосийца Самуила Крыма и его жены-караимки Анны-Аджикей Шебатаевны Хаджи в 1868 году, окончил гимназию, потом богословскую караимскую школу в Евпатории, учился на юридическом факультете в МГУ,

а потом там же, в Москве, закончил Петровскую земледельческую академию. Получил звание агронома, занимался виноградарством и проблемой хранения винограда. Соломон Крым стал неутомимым земским деятелем, членом кадетской партии, депутатом Первой и Четвертой Думы (где представлял крымских татар), главой Второго Крымского правительства, в которое входили А. Кривошеин, М. Винавер, В.Д. Набоков, В.А. Оболенский... Как легко заметить, членами его правительства были интеллигенты, либералы, демократы, которые в страшное время братоубийственной резни (ноябрь 1918 года) пытались создать в Крыму воистину демократическое правительство, некую либеральную утопию, опираясь при этом на отступавшую уже Добровольческую армию.

Легко догадаться, с каким удивлением глядели на этих людей отчаянные монархисты и отчаявшиеся офицеры, как поражались усилиям министра В.Д. Набокова добиться человечности от сотрудников армейской контрразведки, как были разочарованы ограничениями для своей власти иные татарские начальники. Конечно, эта утопия была обречена, как все российские – и не только – утопии. Но сколько такта, терпимости, ума, мягкости успел проявить неистовый патриот родного полуострова Соломон Крым. В том страшном 1918-м Соломон Крым сумел осуществить заветную мечту своей жизни – создать в Симферополе Таврический университет. В течение почти семидесяти лет (до вольных 90-х годов XX века) в стенах этого университета нельзя было называть имени С. Крыма. Но уж в 90-е его именем даже назвали улицу в Симферополе. А он ведь и в изгнании продолжал собирать деньги на свое крымское детище.

В 1922 году, когда в Берлине монархист застрелил В.Д. Набокова, Соломон Крым первым озаботился о душевном и материальном состоянии вдовы и ее сына, будущего гения русской и американской литературы. Он пригласил Володю Набокова поработать в русском имении под Тулоном, где хозяйствовал тогда его брат Шебатай, сменить обстановку, рассеяться... И расчет чуткого друга семьи оказался верным: молодой Набоков оправился от удара, снова начал писать, влюбился...

Перед смертью С.С. Крым издал книгу легенд Крыма.

Всего доброго, что успел сделать за свою жизнь Соломон Крым, мне не перечесть в кратком поминальном слове. Разве еще вот что: в Ла-Фавьере он получал письма от татар из Крыма с просьбами о помощи, и помогал, и отвечал им на их общем языке.

Спустившись от Борма к «русскому пляжу» Ла-Фавьер, надо непременно побывать на кладбище соседнего местечка Лаванду, где был похоронен известный петербургский поэт САША ЧЕРНЫЙ (ГЛИКБЕРГ Александр Михайлович, 1880–1932), нашедший на этом берегу воплощение своей давнишней мечты о земном рае, выраженной в известном стихотворении:

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты
И брать у людей из дола
Хлеб, вино и котлеты.

Хотя вершина «русского холма» в Ла-Фавьере была не вполне голой, а, напротив, вполне цветущей, поэт, юморист и сатирик Саша Черный обрел в этом уголке Ривьеры свой новый рай. Хлеб и вино были здесь смехотворно дешевы, а милая жена Марья Ивановна баловала его иногда и котлетами. Так что, не жалуясь на скудость эмигрантской жизни, поэт воспевал прелесть Прованса, блеск моря, уют крошечного Мимозного Борма и соседней с Фавьером деревушки Лаванду.

В прежних, весьма популярных в России сатирических стихах Саши Черного были насмешки над модными идеями столичной и провинциальной интеллигенции, над ее традиционными усилиями сблизиться с «простым народом» («Квартирант и Фекла на диване»). Ныне

все это было позади. Нищая русская интеллигенция была здесь в менее завидном положении, чем бывшая престолярная Фекла, так что из стихов Саши Черного ушли даже остатки бывлой насмешки над собратьями, над интеллигентской неловкостью. Да и что было пользы насмеяться над бедными, над побежденными, все потерявшими. Поэт и сам признавался в своей сатирической робости: «Лежачего бей осторожно, особенно если он твой брат-эмигрант».

А куда ему теперь податься, эмигранту? На родине остался «угрюмый и ущемленный советский быт, столь же непонятный для нас, как Китай иностранцам». И поэт с жалостью смотрел на эмигрантских собратьев. Вот они приезжают на берег для короткого бедняцкого отдыха с жалкими бедняцкими пожитками:

В чемоданах купальные тряпки,
И спиртовки, и русский роман.
А вверху жестяная коробка
Тарахтит, как лихой барабан.

А вдоль пляжа бредут русопеты.
Дети тащат под мышкой кульки,
Старичок в допотопном пальтишке
На ходу поправляет носки.

Одной из многих ощутимых утрат эмигрантской жизни для таких бывших петербуржцев, каким еще недавно был поэт, стала невозможность «помогать бедным», как это было некогда принято в России. И вот человек старого воспитания в пору эмигрантской бедности ищет возможности стать меценатом. Саша Черный подкармливает голодных кошек, и при этом иронизирует над собственной потребностью в меценатстве. О, эту его прежнюю слабость хорошо помнили друзья. Писатель Михаил Осоргин вспоминал, что «всегда, когда бывали сборы на безработных, на детей или благотворительные вечера, в числе первых с воззванием выступал А. Черный. <...> И по личной доброте, и по личному пониманию, что такое нужда, и, конечно, ради единственного радостного удовлетворения, – что вот можно, ничего как будто не имея, дать больше, чем дает имеющий...».

В последних своих стихотворениях Саша Черный не уставал воспевать этот подаренный ему напоследок судьбою уголок Прованса, где он умер безвременно совсем еще не старым. В 1932 году вспыхнул пожар на соседней с его домиком ферме, и поэт побежал за ведрами и лопатами, чтобы тушить огонь. Он перегрелся на солнце, поволновался, и сердце не выдержало...

Молодой русский поэт, гостивший в те дни близ Лаванду, записал удрученно: «Под горой невыносимо-радостно зеленели виноградники. Странно было видеть на фоне этой природной красоты, как четыре человека медленно поднимались от фермы Мутон с гробом. Среди носильщиков “гард шампетр”¹ в кепи с серебряными кантами, многолетний друг фермер...»

¹ Сельский полицейский (*фр.*).

Остановка в Сен-Рафаэле

Продвигаясь от Лаванду на северо-запад мимо прелестного Гримо, многолюдного Сен-Максима и престижного Сен-Тропе, можно за час и даже быстрее добраться до прибрежного Сен-Рафаэля. Если, конечно, не задержаться на кладбище курортного Сен-Тропе, где похоронен знаменитый кинорежиссер, фотограф и мемуарист РОЖЕ ВАДИМ (Вадим Игоревич Племянников, 1928–2000). Он родился в Париже и, если верить его рассказам, был поначалу вполне преуспевающим фоторепортером журнала «Пари матч». На кинорежиссерскую стезю его подтолкнуло желание жены, молодой прелестной модели, стать кинозвездой. Жену звали Брижит Бардо. Ее он и снял в главной роли своего первого фильма «Бог сотворил женщину», ставшего знаменитым. Это было в 1956 году. Впрочем, справедливости ради можно напомнить, что к тому времени он уже лет десять проработал в кино в качестве сценариста и ассистента режиссера. После этого первого фильма он снял еще две дюжины более или менее знаменитых фильмов. В некоторых из них снималась уже другая кинозвезда, его новая жена – ослепительная Катрин Денев. Так что, хотя Роже Вадим был вполне видным режиссером, а также живописцем и писателем-мемуаристом, главную известность принесла ему красота его жен (обе стали моделями для бюста Марианны, символизирующей Францию). Так что его можно назвать еще (а то и в первую очередь) высочайшим во Франции ценителем женской красоты и покорителем женских сердец. Книги Роже Вадима в значительной степени посвящены именно любовным отношениям, и одна из них носит вполне хвастливое название «Мемуары дьявола»...

От райского Сен-Тропе, излюбленного места звезд шоу-бизнеса, до менее роскошного и более многолюдного Сен-Рафаэля рукой подать. Здесь издавна жило довольно много русских и до сих пор идут службы в расписанной о. Григорием Кругом и знаменитым Дмитрием Стеллецким православной церквушке Архангела Рафаила. А вот стоявший еще на моей памяти рядом с этой церквушкой русский старческий дом, построенный некогда стараниями Толстовского фонда и русского Красного Креста, давно снесли. Русских обитателей этого дома много лет назад свезли на кладбище Кокад в Ницце или на здешнее городское кладбище Альфонса Карра, где по новейшим правилам рационального землепользования останки их собрали в одно место у православной часовни Успения Божьей Матери, стоящей в тесном соседстве с такой же армянской часовней.

Надо сказать, что по нынешним здешним правилам это еще вполне гуманное обращение со старыми могилами, ибо на стенах русской часовни все же написаны имена захороненных, даты жизни и смерти.

За всеми этими именами и датами – долгие жизни, радости и страдания, пыль дорог, крики восторга и боли, но порой и детский лепет, и стихи, и музыка. Здесь похоронены наши соотечественники, прошедшие войны проклятого минувшего века, их безутешные матери, жены и вдовы. До судеб хоть иных из них попробуем дознаться...

Во главе списка на стене БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ФОН РЕЙТЕРН, захороненный в 1971 году девятиностотрехлетний обитатель здешнего старческого дома. На эмигрантских православных кладбищах немецких фамилий насчитывается многие сотни. Эти люди были русскими патриотами и по праву считали себя русскими. Старинный дворянский род Рейтернов идет из Лифляндии. Известен был Иоганн фон Рейтерн, который поселился в Риге и умер там еще в конце XVII века. Мне вспомнился однорукий художник-мистик (руку он потерял, сражаясь в русских войсках против Наполеона) Герхардт фон Рейтерн, лучший друг (а позднее и тесть) поэта Василия Жуковского. Все сыновья художника служили в русской армии, а один из Рейтернов, Михаил, рожденный в Смоленской губернии, в 1862 году на добрых полтора десятка лет сделался министром финансов России, настроил в ней множество железных дорог и наот-

крывал банков, а не просто сидел в министерском кресле... Борис Александрович, закончивший свои дни в Сен-Рафаэле, учился в юности в Пажемском корпусе, служил поручиком лейб-гвардии Семеновского полка, сражался за Россию на Первой мировой и Гражданской войнах, эвакуировался вместе с армией и не порывал с ней связи долгие, нелегкие годы сперва итальянского, а потом и французского изгнания: был членом Союза пажей и членом Объединения лейб-гвардии Семеновского полка.

А вот и еще один сверстник Рейтерна в списке. Воин, музыкант, композитор, дирижер, поэт, мемуарист, общественный деятель ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ШАДРИН, рожденный в Санкт-Петербурге в 1876 году. Он умер в русском старческом доме Сен-Рафаэля, всего трех дней не дожив до своего девяносто четвертого дня рождения, и был отпет тем самым церковным хором, которым руководил до глубокой старости. Был Иван Михайлович пианист и капельмейстер, сочинял музыку и стихи, до старости исполнял их перед публикой, написал и напечатал воспоминания «Родные перезвоны» о своей жизни и об Императорской певческой капелле, которой он руководил в Петербурге до Первой мировой войны и потом, вернувшись с войны, в 1918 году (тогда она называлась уже просто Государственной). Впрочем, при большевиках работать пришлось недолго: вскоре он ушел на Гражданскую войну, а дальше уж были эвакуация и тунисская Бизерта, где он служил в штабе русской эскадры. Однако все эти годы он не оставлял и музыку, создал в Тунисе хор и духовой оркестр русской эскадры, преподавал в частной женской гимназии, ездил с концертами по всей стране, одним словом, принес в Магриб милые его сердцу, как он сам выразился в своих неоднократно переизданных мемуарах, «родные перезвоны». В 1942 году он перебрался с женой – певицей Матильдой Степановичей и тремя детьми в Алжир, а еще лет пять спустя во Францию. Родной брат Ивана Михайловича Михаил ушел добровольцем сражаться за Францию в годы Второй мировой, попал в плен и погиб в лагере. Дочь Михаила Зинаида стала в Ницце педагогом и директором школы, а сын Георгий остался в Марокко, служил в банке, но покончил с собой тридцати лет от роду...

Вскоре после переезда во Францию престарелые супруги Шадринины поселились в старческом доме Монморанси под Парижем, но это не мешало бурной музыкальной и общественной деятельности Ивана Шадрина, грудь которого была уже украшена русскими, французскими и магрибскими орденами. Он руководил хором домового храма в Монморанси, был членом приходского совета на Сергиевском подворье, секретарем Русской секции Национального союза комбатантов. В 1951 году в зале Российского музыкального общества за границей с успехом прошел творческий вечер 75-летнего пианиста и композитора Ивана Шадрина (а он ведь еще и стихи писал, и песни, и дирижер был незаурядный).

Позднее супруги перебрались в новый русский старческий дом, в Сен-Рафаэль, где Иван Шадрин основал пенсионерский церковный хор, в котором пела его жена и которым он сам дирижировал. А еще он без конца выступал на конференциях, писал доклады о музыке и воспоминания об Императорской капелле, сочинял стихи... Нет чтобы просто подремать на солнышке в свои девяносто три!

Такие вот проходят в моей памяти жизненные истории при виде имен, начертанных (даже не кириллицей, а латиницей) на стенах русской часовни у самого входа на кладбище Виктор Кузен в Сен-Рафаэле.

А вот и еще одно имя: СЕРГЕЙ БАЙКАЛОВ, умерший в 1983 году в Сен-Рафаэле и более известный историкам эмигрантской живописи под фамилией БАЙКАЛОВ-ЛАТЫШЕВ. Художник-иконописец, художник-маринист, путешественник. Родился Сергей Байкалов вскоре после Русско-японской войны, родился «на сопках Маньчжурии». Отец его, офицер забайкальской пограничной службы, умер совсем молодым, и с семи лет жил Сережа в приюте офицерских сирот, где уже школьником носил военную форму. С десяти лет продолжал учебу в кадетском Сводном Киевско-Одесском корпусе в Киеве, а завершил ее уже в Белграде. С пяти лет мальчик рисовал с увлечением, а закончив корпус, стал учиться живописи у серб-

ского художника Йосича и белградского гимназического учителя рисования Степана Колесникова, который сам был когда-то учеником Репина и Маковского, оформлял спектакли белградского оперного театра, прививал своим ученикам вкус к писанию икон и фрескам. Юный Сергей немало поработал в сербских монастырях и побродил по стране. Наставником его был также уроженец Киева, морской офицер и художник-маринист Арсений Сосновский. Художник Байкалов не был творцом-отшельником. С детства ему довелось и ходить, и есть, и спать в коллективе. В Белграде он состоял в русской националистической организации «соколов» и в Русском национальном союзе генерала Туркула. Так что во время Второй мировой войны воевал он против Красной армии в составе Второй казачьей дивизии в звании поручика. Позднее дивизия вошла в Русскую освободительную армию генерала Власова.

Вряд ли испытывая симпатии к немецкому фюреру, Байкалов, вероятно, считал эту войну продолжением Гражданской войны против коммунизма. Можно вспомнить, как горько воскликнул в июне 1941 года русский патриот Иван Бунин («Наконец-то пошли... Чего ждали 23 года?»). Командир казачьего эскадрона поручик Байкалов после поражения немцев был бы непременно выдан союзниками в руки НКВД, если бы не успел сбежать в последнюю минуту к югославским партизанам, националистам и монархистам (четникам Д. Михайловича). В общем, уцелел, выжил. Ему было тогда сорок. Начиналась вторая половина жизни...

Года четыре художник бродил по раздерганной послевоенной Европе, подрабатывал рисованием. Италия, Франция, Германия... Надолго застрял в Мюнхене, даже вступил там в Общество художников Мюнхена. А сорока четырех лет от роду он вдруг уплыл из тесной Европы за океан, в Чили, в Сантьяго. Позднее он с восторгом вспоминал, каким бурным, веселым городом был тогда Сантьяго, вспоминал три сотни его художественных галерей и единовременных выставок, театры, празднества. И конечно, храмы. Байкалов и сам участвовал в росписи храмов в Вальпараисо, Каракасе, Сантьяго, в местечке Винь-дель-Мар.

Большим успехом пользовались в Чили его морские пейзажи. Он преподавал в Чилийской академии художеств, путешествовал со студентами, общался с коллегами, с соотечественниками... Это были счастливые годы. Почти двадцать лет. Он покинул Чили, почуяв запах новой гражданской войны: приближались выборы президента, в стране уже схлестнулись две могучие иностранные разведки, американская и советская. Художник Байкалов не стал дожидаться развития всех этих событий и вернулся в Европу.

«Пореволюционный» Париж начала семидесятых показался Байкалову разочаровывающе провинциальным. Художники наперебой состязались в унылом модерне вековой давности, а стены города были обклеены «левыми» листовками, с точностью воспроизводившими тексты советских газет двадцатых и тридцатых годов.

Байкалов был уже вполне признанным иконописцем и пейзажистом. Он дважды участвовал в парижском Салоне Независимых, но жить предпочел в Испании... Позднее он переехал на юг Франции, устраивал выставки в Ницце, снова преподавал и бродил со студентами по горным селениям Ривьеры, беседуя с ними «о неподражаемой прелести многовековых каменных домов с чугунными решетками в окнах и с окованными железом массивными дубовыми дверями в узких кривых улочках...».

И вот последняя пристань – старческий дом «Эрмитаж» в Сен-Рафаэле... Художник согласился дать интервью местному журналисту. Вспоминал редкие счастливые сценки из своего сиротского детства говорил о искусстве иконописания, обращенном не к чувственной, а к духовной эстетике. Напоминал, что и в морских пейзажах, которых он был признанный мастер, главное – это ощущение Творца, величия Творения. На просьбу корреспондента сформулировать свой символ веры вечный странник, рожденный в Забайкалье, ответил просто: «Верую». И договорил привычно: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всею душою твоею, всей крепостью твоею и всем разумом своим».

Похороненный в Сен-Рафаэле русский архитектор ВЛАДИМИР СУКУРЕНКО начинал свою эмигрантскую жизнь, как и Байкалов, в Югославии. После Второй мировой войны он, справедливо опасаясь возвращаться на родину, добрался до Северной Африки, помогал там возводить купол православной церкви Воскресения Христова в Тунисе, а потом, до 1970 года, жил при этой церкви. В старческий дом Сен-Рафаэля он перебрался в 1970 году и прожил тут последние шесть лет своей жизни.

Туррет – Кайан – Грасс

Покинув Сен-Рафаэль и русскую часовню, можно двинуться к северо-востоку в сторону Фаянса. Расположенный на скальной террасе, прилепившейся к горе, Фаянс порадует вас и провансальской кованой звонницей на колокольне, и уцелевшими с XIV века крепостными воротами, и огромным XVIII века собором, и удивительным видом на Эстерель и Мавританские горы. Фаянс – городок маленький, и, направившись к его окраине по очаровательному променаду Пюи, даже не заметишь, как окажешься в старинной деревушке Туррет с огромным и хорошо сохранившимся замком. Вглядываясь в это грандиозное строение, гордость средневековой деревушки, придиричивый знаток, много колесивший по дорогам Европы, может, конечно, подивиться этому архитектурному чуду и заподозрить, что это лишь подражание старине, одним словом, новодел... Зато вряд ли какой знаток (если он не петербуржец) догадается, чему именно хотели подражать этой махиной строитель и заказчик. И удивится, услышав, что подражать заказчик хотел именно Санкт-Петербургу. Ну да, одному вполне определенному сооружению старого Петербурга – зданию Кадетского корпуса.

Это довольно трогательная история. История о русском патриоте по имени ЖАК-АЛЕКСАНДР ФАБР. Впрочем, он просил называть себя «ваше превосходительство» или попросту «Александр Яковлевич».

Родился странный русский патриот Жак Фабр в этом самом Туррете в конце XVIII века в семье небогатого сельского врача. В школе он проявил прилежание и способности, окончил лицей в Драгиньяне и поступил в совсем еще тогда новое для Франции учебное заведение – Политехническую школу, Эколь Политекник. Учился на строителя дорог и мостов, притом старательно, хорошо учился. По окончании было доверено ему, молодому инженеру, спроектировать некий туннель и измерить наконец расстояние от Ниццы до Ментоны. Грамотно измерил, отличился, приобрел этим известность среди специалистов. А тут поступила к Наполеону просьба от его сердечного друга русского императора Александра I прислать в Петербург пяток грамотных инженеров. Это произошло в 1810 году, когда Наполеон еще не готов был напасть на «сердечного друга», а потому явил братскую любезность: послал в Россию четырех дипломированных инженеров во главе с генералом Бетанкурром. Начинаящий инженер, уроженец Туррета Жак Фабр попал в их число.

Добрались они в Санкт-Петербург, где их осыпали почестями, а молодому Фабру сразу дали чин подполковника. Уроженец Туррета с точностью измерил ширину Невы и выполнил деревянную модель постоянного моста через державную реку. Отметим, модель столь искусную, что по ней потом четверть века русские студенты строить учились. При русском дворе от этой модели моста пришли в такой восторг, что подполковник Фабр немедленно был награжден крестом Святой Анны 2-й степени. Вдохновленный инженер и его коллеги-французы уже готовы были к новым подвигам, но тут произошла некоторая заминка, поскольку началась война с Францией и в русской столице резко обострилась бдительность.

Французов в России было в то время множество, и властям в силу всеобщей подозрительности следовало прежде всего отыскать среди этого множества друзей «пятую колонну». Выбор пал в первую очередь на обласканных императором инженеров. Этим людям были известны государственные секреты (скажем, ширина реки Невы), поэтому заграничные агенты были в большой спешке высланы из столицы в провинциальную Москву. Московские власти тоже не могли допустить слабины по части бдительности и приняли решение сослать опасную кучку инженеров в Иркутск – путешествие по тем временам долгое и мучительное. Когда потенциальные агенты добрались до Сибири, великая война уже закончилась русской победой, император вернулся в Петербург и не обнаружил в нем своих прилежных инженеров-строителей, пристроенных в каком-то глухом углу его безграничных владений. Рассказывали, что он даже

был рассержен такой нелепой мерой, велел немедленно вернуть спецов в столицу, извиниться перед ними за причиненные неприятности, повысить их в чине, щедро наградить из средств казны и снова усадить за работу.

На долю уроженца скромного Туррета инженера Жака-Александра Фабра выпали по возвращении из ссылки особые, жизненно важные строительные задачи. Приближенный тогда государем к престолу граф Аракчеев распорядился покрыть возможно большую часть территории особо оборудованными военными поселениями. Так вот, честь проектирования и постройки первой аракчеевской военной колонии выпала на долю француза Жака Фабра, и он блестяще справился со своей задачей. В спроектированном им комплексе были не только казармы на три тысячи койко-мест, но и связанные с ними крытым переходом залы для упражнений.

Этим плодом творчества Фабра заказчики были очень довольны. Строитель был возведен в звание генерал-майора, награжден крестом Святого Владимира 2-й степени, получил ленту Святой Анны 1-й степени и был осыпан прочими благодеяниями и подарками (в частности, получил табакерку, украшенную бриллиантами). Французское правительство, узнав о славных строительных подвигах сына Туррета, в свою очередь представило его к ордену Почетного легиона. Завершив этот проект, увитый лаврами Жак-Александр нашел уладу в подготовке молодых военных специалистов России.

Прошли годы и даже десятилетия его неустанных трудов в северном краю, который перестал быть для него чужим. Генерал благосклонно улыбался, когда его называли по-русски Александром Яковлевичем. И все же усталость тела и ума становилась все ощутимее, и мысль о родном Туррете, который он так давно не видел, возвращалась все чаще. В 1833 году генерал собрался в отпуск на родину. Отпуская его на долгий отдых, руководство Кадетского корпуса, где он преподавал, выразило желание снова увидеть его на посту отдохнувшим и деятельным. Впрочем, ему уже перевалило за пятьдесят, и ко времени отъезда Фабру назначили пожизненное обеспечение: пенсия в восемь тысяч рублей в год с дозволением получать ее, живя за границей.

Еще до возвращения в Турретт генерал Фабр затеял в родной деревне сооружение «средневекового» замка. Он внес в проект все фантазии и пристрастия лучших лет своей жизни, пожелав, чтоб замок напоминал здание Кадетского корпуса, где он прослужил столько лет в качестве профессора.

Генерал не вернулся в Петербург, но думал о нем все последнее десятилетие жизни, бродя по залам своего обширного замка. Он и похоронить себя завещал в замке. Умер Жак-Александр Фабр в 1844 году. С тех пор, понятное дело, представления о размерах жилплощади и надгробных сооружений существенно изменилось даже в сравнительно скромно населенной Франции. Односельчане Фабра поделили на квартиры просторный замок русского генерала, а останки его аккуратно перенесли на местное кладбище.

Стоя перед его могилой, вы несомненно ощутите, что, как и многие французы, итальянцы или немцы (особенно немцы), Жак-Александр Фабр был истинным патриотом не чужой для него России, о которой он не переставал вспоминать и рассказывать до своего смертного часа...

Километрах в семи от Турретта лежит на выступе скалы горная деревушка Кайан. Ее домики, вместившие около тысячи человек, тесным кругом обступают просторный замок, построенный в XV веке и слегка достроенный в семнадцатом. Хорошо известно во Франции тихое деревенское кладбище Кайана, и раз уж мы добрались до этих мест, непременно упомянем похороненную здесь, но рожденную в Белоруссии художницу НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ ХОДАСЕВИЧ-ЛЕЖЕ (1904–1982), подарившую французскому государству созданный ею в Биоте музей художника-коммуниста Фернана Леже, которому она приходилась последней женой.

Будущая коммунистка Надежда Ходасевич была землячкой Марка Шагала, учиться рисовать начинала в Смоленске, в 1922 году переехала в Польшу, а в 1924-м – в Париж, где училась в Академии современного искусства Фернана Леже, стала его ассистенткой, а со временем и женой. Она издавала журнал современного искусства, участвовала в выставках, работая с различными материалами. Я много лет подряд разглядывал в витрине касс «Аэро-флота» на Елисейских Полях портрет В.И. Ленина, выложенный Н.П. Ходасевич из крупной гальки. Надежда Ходасевич часто посещала Москву, щедро дарила московским музеям картины, а на родину в Белоруссию привезла в подарок больше двух тысяч репродукций картин Лувра. Она любила писать письма на родину, сообщая о самых разнообразных своих впечатлениях. Впрочем, она не придерживалась ограничительного правила А.П. Чехова, который шутил, что пишет прозу во всех жанрах, кроме доноса. Надежда Петровна перешагнула эти пределы, установленные для себя классиком. В пору гласности знаменитому виолончелисту Мстиславу Ростроповичу подарили его досье, в котором музыкант нашел письмо, отправленное руководству соответствующих московских органов из Парижа вдовой Ф. Леже. Надежда Леже призывала эти органы никогда больше не выпускать за границу ни Ростроповича, ни его жену Галину Вишневу, поскольку они позволяют себе не всегда соглашаться с решениями партии и даже высказывают вслух свои крамольные мнения. Руководство органов высоко оценило сигнал французской коммунистки и прислушалось к ее советам. Но впоследствии веселый музыкант Ростропович отдал это письмо газетчикам.

От прелестного Кайана живописная горная дорога приведет нас в знаменитый альпийский город Грасс, тот самый, где на протяжении чуть не двадцати эмигрантских лет по несколько месяцев в году (а в войну и целыми годами, безвыездно) жил писатель Иван Бунин. На полпути от Фаянса к Грассу изгиб дороги подходит к горному ущелью Сьянь. В нескольких километрах от этого изгиба над ущельем стоит крошечный, вполне средневековый и очень живописный городок Сен-Сезер-сюр-Сьянь с тремя старинными башнями, крепостными воротами, руинами замка и храмом начала XVIII века. Так вот на маленьком кладбище этого городка есть скромная могильная плита с керамическим цветочком, а на плите латинскими буквами написано всего одно слово – MARKEVITCH... Это и есть могила известного музыкального деятеля, создателя оркестров, дирижера и композитора ИГОРЯ БОРИСОВИЧА МАРКЕВИЧА (1912–1983).

Крошечная деревенская площадь, на которой стоит его дом, носит его имя, памятное многим музыкантам, историкам музыки и меломанам. Как же оказался он здесь, в несказанной этой красоте, а не в рукоплескавших ему Риме, Монте-Карло, Париже, Монреале, Зальцбурге, Флоренции? Как трогательно это почитание музыкальной знаменитости в горной глуши! Невольно тянет в глубь этой идиллии, чудятся за нейтайны. И чувство нас не обманывает. Кто же он все-таки был, неожиданный пришелец из мира доброй музыки, знаменитый дирижер и пианист? И что за страшные тени начинают маячить над идиллическим городком, над скромной могилкой с грошовым керамическим цветком?

В ранней юности этот вундеркинд-композитор стал едва ли не последней предсмертной находкой Дягилева, с чьей нележкой руки он сделался зятем безумного Вацлава Нижинского, побывал возлюбленным «красной виконтессы» де Ноай в Йере, был (еще на моей памяти) мифическим завсегдаем московских подвалов художников-авангардистов и мужем итальянской княгини, владельцем дворцов в Риме и в Лугано, избранником прославленной испанской красавицы пианистки и, наконец, кое-кем еще, даже страшно сказать кем.

Недаром в этой разысканной мной и милыми моими русскими спутницами могиле на краю живописного ущелья нам сразу померещились не до конца раскрытая тайна, которую дальнейшие поиски не разгадали до конца, но лишь добавили ощущение омерзенья и страха: тень злодейства теснила призрак беглого гения... Расскажу, однако, кратко историю этой

жизни, то, чего не скрыли ни высокомерные воспоминанья, ни скромная потаенная могилка с серой плитой близ обрыва и пропасти Сьянь.

Игорь Борисович Маркевич, которого справочники называют то итальянским или французским композитором, то пианистом или писателем, а чаще всего – прославленным дирижером, родился в незаурядном, а можно даже сказать славном доме «матери русских городов» города Киева. Мать маленького Игоря приходилась внучкой известному как в России, так и во Франции художнику Ивану Похитонову. Дед и прадед Игоря по отцу были известными в России и в Украине судебными деятелями и вдобавок музыкантами, а отец – профессиональным пианистом. В этом доме гостил композитор Глинка, да и вообще редкая приезжая знаменитость обходила его вниманьем. Впрочем, довольно скоро после рождения Игоря его отчому дому пришел конец (как, впрочем, и прежней Украине, и прежней России).

Кстати говоря, по поводу фамилии и происхождения музыкальной знаменитости у биографов Маркевича нет полного согласия. Унаследовал ли мальчик некую примесь сербской крови или это была еврейская кровь? В его жизни и карьере это не сыграло никакой роли, тем более что чувствительный к этим тонкостям Киев Маркевичи навсегда покинули в 1914 году: отцу срочно потребовались лечение и перемена климата. Отныне семья жила по большей части в Швейцарии и во Франции, где среди занятий маленького Игоря большое место занимали игра на фортепьяно и сочинение музыки. Уже после смерти отца в Париже игру и музыкальные сочинения подростка услышал однажды влиятельный музыкальный деятель, пианист Альфред Корто, который посоветовал отдать мальчика в знаменитую Эколь нормаль де мюзик. Вдовья матушка Игоря прислушалась к совету человека, чье мнение так высоко ценил музыкальный мир Европы. Знаменитый Корто сам взялся совершенствовать фортепьянное мастерство вундеркинда, а композицией с мальчиком занималась знаменитая Надя Буланже. Сгодились юному музыканту и дальнейшее сотрудничество со знаменитым немецким дирижером Германом Шершеном. Однажды Игорю даже представился случай дирижировать оркестром во время вынужденного отсутствия великого мастера. Когда же юноше исполнилось шестнадцать (парижский его коллега и соперник Владимир Дукельский рассказывал, что Игорь был тогда черноволосый, худой и прямой, как карандаш), его представили великому открывателю гениев Сергею Дягилеву. Дягилев заказал Игорю фортепьянный концерт (и сам повез автора исполнять его в Лондоне), а также балет на либретто нового своего «фаворита» (как любил выражаться прежний фаворит Лифарь), молодого красавца Бориса Кохно. Однако к тому времени, как Маркевич закончил писать эту музыку, Дягилев уже покоился на кладбище Венеции. И все же Дягилев еще при жизни многое успел сделать для поразившего его воображение юного гения: не только познакомить его с Лифарем, а также с еще более знаменитым Вацлавом Нижинским, но и представил Игорю дочь Нижинского Киру, ставшую первой женой Маркевича. У Игоря и Киры вскоре родился сын, которого молодые супруги назвали в честь великого Вацлава.

Маркевич так уверенно вошел тогда в круг «дягилевских» композиторов, что его даже называли иногда Игорь Второй (Игорем Первым был, конечно, Стравинский, чью музыку впоследствии с таким постоянством исполняли оркестры всего мира под управлением Маркевича).

Дальнейшие любовные и политические приключения Игоря Маркевича заслуживают более подробного рассказа, в котором вряд ли удастся отделить реальные события от легенды. Начать можно с того, что в ривьерском прибежище прославленных гениев авангарда в Йере, то бишь на вилле графа и графини де Ноай, молодой Маркевич стал избранником хозяйки дома, «красной виконтессы» Лауры де Ноай. Возможно, именно тогда убеждения Маркевича приобрели эту столь модную в богемных художественных кругах «красную окраску». Насколько сильны были его влюбленность в виконтессу (уязвленную равнодушием «принца педерастов» Кокто) и его тогдашний левый радикализм, судить не берусь, но карьера Маркевича развивалась бурно. Ему было всего девятнадцать, когда он дирижировал Парижским симфоническим

оркестром в зале Гаво. Оркестр исполнял его собственную музыку – «Полет Икара» и «Гимн». В тридцатые годы молодой Маркевич написал несколько музыкальных произведений, поразивших воображение как завзятых меломанов, так и некоторых собратьев по искусству (например, Бартока). В 1940 году Маркевич поехал во Флоренцию работать над ораторией «Лоренцо Великолепный» и надолго застрял в Италии. Музыка он больше не писал. Если верить тому, что он сообщал в своей книге «Made in Italy», а также мифам, легендам и врученной ему золотой медали «Партизан Северной Италии», то все это время он занимался подпольной борьбой с фашизмом в рядах коммунистического сопротивления.

После войны Маркевич становится все более знаменит как дирижер и деятель музыкального просвещения. Он создает новые музыкальные коллективы по всему свету, руководит оркестрами в Югославии, в Лондоне, в Париже, в Бостоне, в Монреале, в Гаване. Вдобавок он пишет книги об управлении оркестром, преподает дирижирование в Зальцбурге, в Москве и еще во множестве прославленных европейских и американских центров музыкального искусства.

В Москве он оказался одним из первых живых иностранцев, которых вообще можно было повстречать на улице, таинственным европейцем, который почему-то мог расхаживать свободно по городу, заходить в подвалы и мастерские художников-авангардистов. Такой особый статус мог означать что угодно, но чаще всего означал одно и то же. Наш человек...

Недавно я спросил живущего в Париже художника Оскара Рабина, слышал ли он о тогдашних визитах Маркевича в подвалы нелегалов, и Оскар припомнил: «Да, конечно, слышал, легенды ходили, что появился у нас такой иностранец, работы покупал, собирал коллекцию и даже приглашал к себе в интуристовский отель Анатолия Зверева... Можешь себе представить, Зверева! – изумленно воскликнул Рабин. – Хотел, видишь ли, посмотреть, как он творит, Зверев! И где творит? В номере “Интуриста”!»

Мне попали под руку воспоминания художника Плавинского, видевшего этого самого Анатолия Зверева за работой: «Анатолий работал стремительно. Вооружившись бритвенным помазком, столовым ножом, гуашью и акварелью, напевая для ритма, перефразируя Евтушенко: “Хотят ли русские войны, спросите вы у сатаны” – он бросался на лист бумаги с поллитровой банкой, обливая бумагу, пол, стулья грязной водой, швырял в лужу банки гуаши, размазывал тряпкой, а то и ботинками весь этот цветовой кошмар, шлепал по нему помазком, проводил ножом две-три линии, и на глазах возникал душистый букет сирени или лицо старухи, мелькнувшее за окном. Очень часто процесс создания превосходил результат... Харитонов был уверен, что за маской Зверева, “грязного полупьяного идиота”, скрывается король параноиков».

Представьте себе Зверева, зверствуя в номере «интуристовского отеля»!

В середине 60-х годов загадочный иностранец Маркевич совершил вообще по тем временам невозможное. Он открыл в Париже выставку работ этого невыездного москвича Зверева и даже сам выступал с речью на вернисаже, что-то говорил про свободное искусство. И даже после этого он снова приезжал в Москву, в Ленинград, в Киев. Ему что же, все было доступно и позволено в стране сплошных запретов?

К тому времени он уже был женат вторично – на богатой принцессе Топазии из старинного итальянского рода. У супругов была вилла в центре Рима и дворец в Лугано. Принцесса составила и издала внушительный (на три сотни названий) каталог исполняемых мужем произведений. А потом он внезапно приехал в эту деревушку над ущельем Сьянь, срочно покинув Италию, и даже попросил французское гражданство. Бежал из любимой Италии? Из своих дворцов в Риме и Лугано? А в 1983 году, вернувшись на Лазурный Берег с каких-то гастролей, добрался до Антиба и упал мертвым. Совсем еще не старый...

Тайну его смерти нам уже не раскрыть, но другие мрачноватые тайны этого человека всплывают помаленьку, несмотря на молчание разговорчивой прессы и биографов. Минуло

уже несколько лет после тихой смерти музыкальной знаменитости на Лазурном Берегу, когда комиссия итальянского сената предала гласности любопытную порцию своих новых находок из истории местных политических преступлений. Бесконечно долго, медленно и весьма неохотно расследовал итальянский сенат преступления мафиозной организации, носившей название «Красные бригады». Это были ультралевые, и мысли не допускавшие о каком-либо соглашении с инакомыслящими. Они совершали террористические акты на вокзалах, убивая ни в чем не повинных пассажиров просто так, чтобы посеять в людях страх перед проклятым капитализмом. К концу 90-х годов многие из членов «Бригад» были арестованы, но далеко не все тайны их преступлений вышли наружу. Скажем, неясны были многие подробности убийства премьер-министра Италии Альдо Моро, который выступал за мирные переговоры левых и правых в Италии, за «исторический компромисс». Ультра-левые из «Бригад» были против любых компромиссов.

Еще и при жизни Маркевича в сообщении сената о расследовании убийства Моро промелькнуло в итальянской печати имя одного влиятельного члена «Бригад», подозреваемого в убийстве. Это было русское имя. Имя какого-то русского из видной итальянской семьи Каэтани в Риме. Его звали Игорь. Этот Игорь играл ключевую роль в почти двухмесячных допросах и пытках бывшего итальянского премьера-миротворца. Машина с трупом Альдо Моро в багажнике была обнаружена на символическом углу улицы Каэтани, равноудаленном от штабов коммунистов и христианских демократов. Вот он вам, позорный компромисс!

Все было полно тайн и символов, и пресса намекала на роль разведок. Напрасно вдова убитого премьера требовала разобраться в участии самой могучей мировой разведки, с которой так славно ладил знаменитый музыкант. А что же он сам, этот музыкант? Нет, он, конечно, не ждал звонка карабинеров у двери своего дворца. Вместе с сотнями подельников он мирно пересек французскую границу и осел в заранее подготовленном доме.

Поселившись в доме над ущельем Сьянь, Маркевич, обожавший Италию, поспешил для верности попросить французское подданство. По ночам в доме на нынешней площади Маркевича горел свет. Великий сын века писал новую книгу о своей жизни. В груди истрепанных томов тесной Тургеневской библиотеки, уютящейся близ бульвара Гоблен в Париже, я отыскал эту книгу, «Etre et avoir été», пятисотстраничный кирпич, изданный до крайности престижным «Галлимаром» в крайне же престижной серии «Новый французский роман». Я открыл ее с нетерпением. Сейчас мы сможем понять, откуда растут ноги у безжалостной кровавой резни в милой Италии конца 70-х... Красная лента поперек суперобложки сулила читателю «свидетельство великого музыканта о своем веке». Да уже и в предисловии автор связывает самый факт своего рождения с явной и скрытой деятельностью великих умов, подготовивших век. Среди упомянутых гениев найдешь неизменные имена Эйнштейна и Эйзенштейна, да и другие, главные, уже на подходе...

Вот один из них, живет на буржуазной улочке Мари-Роз в 14-м округе Парижа близ парка Монсури. Некий таинственный Ульянов с солидным счетом в банке «Лионский кредит». Деньги для него добывал грабежом и лично привозил в Париж еще более таинственный человек по кличке Иванович.

«Кто этот Иванович?» – интригует читателя просвещенный артист Маркевич, зависший над пропастью Сьянь и продолжает:

Он носит также кличку Васильев или Коба, ибо с 1911 года его больше не звали просто Сосо, теперь он больше будет известен под именем Сталин. Сам я осознал во время немецкой оккупации, какой зыбкой становится твоя личность, когда ты скрываешь ее. Сталин был в заточении вместе со Свердловым, имя которого носит сегодня Екатеринбург. Большевицкая партия создала «центральный комитет», в который Ленин, несмотря на

открытое противодействие, сумел провести Сталина. Он предвидел, что эти крутые займутся самыми насущными и тонкими акциями, и привлек для своей комбинации Орджоникидзе. Полагаю, что вряд ли они все в большей степени, чем я, лежавший тогда в моей младенческой колыбельке, предвидели, что этот безвестный «центральный комитет» станет самым мощным и грозным из мировых органов.

Когда полиция оставляла его на минуту в покое, Сталин активно занимался печатью, которой сильно мешало ее нелегальное положение. Вот пример его литературного стиля из газеты «Звезда»:

Сомнений больше нет: глубинное освободительное движение началось... Привет вам, ласточки! Но будьте осторожны! Темные силы, которые в рядах этого движения маскируют свой облик дождем крокодиловых слез, уже пришли в движение!

Надеюсь, что сам я писал менее коряво в те два года, с 1942 по 1944, когда пересылал нелегальные заметки в Комитет Освобождения Центральной Италии, эти пылкие призывы к саботажу. Это трудный литературный жанр, ибо нужно в кратчайшей форме передать самое главное, то, чему впоследствии научился Сталин, чуть тяжеловато, но с доступной убежденностью.

Вы заметили, что я вступил в жизнь в странной компании...

Надеюсь, вы тоже заметили, что дирижер не забывает о своей роли двигателя великого века. Что он еще из колыбельки протягивает младенческую ручку будущего музыканта и террориста великому Сталину, который в ту пору еще только совершенствовал свой «чуть тяжеловатый» стиль.

То, что я так самоотверженно процитировал выше, было написано музыкальным гением в 1979 году. К тому времени Маркевич уже не писал музыку, зато вместе с другими «леваками» Запада решительно брался за сталинизацию нашего несовершенного мира.

Проглядев еще 450 никем до меня не раскрытых скучных страниц партийной прозы, я двинулся прочь от ущелья Сьянь в сторону альпийского городка Грасса.

В этой прелестной, а некогда еще и тихой, парфюмерной столице Французской Ривьеры, отгороженной от моря могучим Эстерелем, в межвоенные годы минувшего века проводили летние месяцы многие знаменитые русские эмигранты. Их имена найдешь в дневниках писателя Ивана Бунина и его жены Веры Николаевны Буниной-Муромцевой, которые провели в Грассе больше половины своего эмигрантского тридцатилетия. Впрочем, почти все знаменитые здешние дачники и гости (и сами Бунины, и Мережковский с Гиппиус, и Борис Зайцев) похоронены под Парижем. Навечно остались в Грассе главным образом обитатели здешнего старческого дома, чьи могилы найдешь в «русском уголке» грасского кладбища Святой Бригитты. Как правило, это герои двух, а то и трех войн минувшего века, люди, прожившие большую часть жизни в России. Дошедшие до нас истории их жизни поражают разнообразием интересов и знаний, общественной и профессиональной активностью, энергией и неубывающей бодростью этих людей.

Вот, скажем, могила полковника инженерных войск ВЛАДИМИРА АБДАНК-КОСОВСКОГО, умершего в Грассе 76 лет от роду. Родился он в Гродно, окончил в Москве Лазаревский институт восточных культур, потом историко-филологический факультет Новороссийского университета, а также Александровское военное училище и офицерскую электротехническую школу. Прошел Первую мировую, был награжден Георгиевским крестом, потом воевал на Гражданской, эмигрировал в Тунис, перебрался в Париж. «Париш па риш» («Париж не богат») – грустно шутил молодой В.В. Набоков. Да и какую работу мог дать тогдашний

Париж высокообразованному русскому полковнику? Герой заполнял для полуграмотных парижан почтовые бланки, надписывал адреса на конвертах. На хлеб этого заработка хватало. Иногда вечерами читал в эмигрантских сообществах доклады на исторические темы, в том числе по истории русской эмиграции. Попутно он собирал материалы о русской эмигрантской жизни. Когда Общество галлиполийцев решило устроить в Париже выставку к двадцатилетию русской эмиграции, полковник предоставил организаторам свою богатейшую коллекцию.

Об истории эмиграции он и писал. Похоже, что все эмигранты тогда что-то писали и все много читали. Количество русских эмигрантских изданий приближалось к тысяче. Убежденный монархист, полковник писал в «правые», антикоммунистические издания. Он печатался в журнале «Возрождение», в «Новом слове», «Парижском вестнике», «Русском воскресеньи», «Станице», «Союзе дворян»... И конечно, выступал с докладами в старческом доме и в русской секции инвалидного дома ORSAC-Mont-Fleury. Он оставил после себя три тысячи написанных на картоне таблиц, иллюстрирующих бурную деятельность русских эмигрантских организаций и повседневную жизнь воистину Великой русской миграции...

Неподалеку от могилы этого деятельного военного инженера расположена могила уроженца Москвы ПЕТРА БОНИФАТЬЕВИЧА СУШИЛЬНИКОВА (1876–1958). Он был полковником гренадерского Астраханского полка и тоже увлеченно писал для эмигрантской прессы: печатался в журналах «Досуг Московского кадета» и «Русский военно-исторический вестник», в газете «Русский инвалид». Ему было о чем рассказать. Петр окончил Третий Московский кадетский корпус, Тифлисское юнкерское училище и уже в 1900 году участвовал в китайском походе, потом в Русско-японской, в Первой мировой и в Гражданской войнах, награжден был Георгиевским крестом и георгиевским оружием. В эмиграции он состоял во многих военных объединениях (в том числе в Союзе георгиевских кавалеров и в Союзе российских кадетских корпусов), выступал с докладами о Гражданской войне. В 1956 году, когда ему исполнилось 80 лет, он еще выступал с чтением своих произведений.

Тут же на кладбище Святой Бригитты покоится ПЕТР ПЕТРОВИЧ ПЕРШИН (1877–1956). Он служил в Московском гренадерском полку и среди храбрых гренадеров выделялся страстью к рисованию. Начальство откомандировало его в Санкт-Петербургскую академию художеств, где он стал учеником знаменитого баталиста Н. Самокиша и превзошел своего учителя. Он преподавал рисование наследнику престола.

В первые годы эмиграции Першин работал в Испании, потом поселился на юге Франции, иллюстрировал книги, в том числе детские, реставрировал картины. Одну из его картин («Соколиная охота») купил музей Ниццы. Последние годы жизни он провел в старческом доме, но еще за год до смерти (в 1955 году) бывший гренадер и художник-баталист выставлялся в Париже.

На кладбище Святой Бригитты похоронено немало казаков, например вахмистр Войска Донского СЕРГЕЙ ГОРЯЧЕВ, который под Каннами в 1940 году исполнял обязанности казначея местной Общеказачьей станицы. Была такая станица, была казна и был у нее честный казначей...

Впрочем, не надо думать, что одни только военные доживали свой век в грасском старческом доме. Скажем, рядом с могилой полковника лейб-гвардии Измайловского полка, участника двух войн Василия Татаринова разместилась мирная могила правоведа НИКОЛАЯ ГАСМАНА. Он окончил Императорское училище правоведения, был товарищем прокурора Петербургского окружного суда, а уже во Франции состоял членом Объединения правоведов. Дни свои он тоже закончил в старческом доме. Но конечно, размеренная общественная деятельность Гасмана не шла в сравнение с активностью его соседа по старческому дому и по русскому уголку кладбища Святой Бригитты полковника ЕВГЕНИЯ ЩУКИНА или его жены МАРИИ ЩУКИНОЙ. Супруги Щукины были активными организаторами благотворительных базаров и благотворительных концертов в пользу военных инвалидов. Полковник даже высту-

пал иногда на этих концертах как чтец русской прозы – читал Гоголя. Даже в старческом доме участники жестоких войн века не теряли присутствия духа и не забывали о тех, кому приходится еще тяжелее. Мария Анатольевна пережила мужа на двадцать лет (жила все в той же привычной богадельне до 93 лет, а потом упокоилась рядом с мужем).

Не менее активное участие в общественной жизни, чем супруги Щукины, принимал юрист **ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ САВИЦКИЙ**. Когда-то у него были имения в Киевской и Полтавской губерниях. Добравшись в Грасс (ему уже было тогда за сорок), Владимир Андреевич закончил электротехнические курсы и поступил на работу в телефонную компанию. Но при этом он не забывал про общественную и церковную работу русской колонии. В той же традиции воспитали родители Савицкие свою дочь Анастасию. Биографический словарь русской диаспоры сообщает, между прочим, что супруга В.А. Савицкого Елизавета Николаевна приходилась правнучкой «невъездному» поэту А.С. Пушкину и внучатой племянницей вполне выездному Н.В. Гоголю, которому так понравилась Ницца...

Вальбон – Рокфор-ле-Пен – Мужен

Из альпийского Грасса нам пора двинуться к знаменитым Каннам. При этом грех было бы не навестить могилку в недалеком Вальбоне, ту самую, которую не раз вспоминал на даче в Грассе, оплакивая свою ушедшую московскую жизнь, жизнелюбивый Иван Бунин: «Вдруг вспомнил Гагаринский переулочек, свою молодость, выдуманную влюбленность в Лопатину, которая лежит теперь почему-то (в 5 километрах от меня) в могиле в какой-то Вальбоне. Это ли не дикость?»

Отчего через полвека после этой влюбленности (и через десяток лет после его последней и до странности сходной с той прежней любовной своей неудачей) Иван Алексеевич упорно называл свою любовь к Лопатиной «выдуманной», «нелепой» и «романтической», догадаться не слишком трудно. Интереснее, на наш взгляд, напомнить, как попала КАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ЛОПАТИНА в Вальбон и какой удивительной была здешняя жизнь писательницы из знаменитой московской семьи.

Когда начинающий прозаик Бунин познакомился с Катей Лопатиной в редакции московского журнала «Новое слово», это была молодая красивая высокообразованная писательница в расцвете своего успеха: только что она закончила свой знаменитый роман «В чужом гнезде», имевший шумный успех. Происходила она из богатой интеллигентной московской семьи. На литературных «лопатинских средах» в их особняке с колоннами бывали знаменитые писатели (включая самого Льва Толстого), музыканты, художники, философы (Катин брат-философ был близким другом Владимира Соловьева). Здесь обсуждали серьезные проблемы литературы и философии, говорили о высоком долге русской интеллигенции, о служении народу. Вот в такой московский дом и попал начинающий провинциальный прозаик, который стал настойчиво ухаживать за Катей. Они ездили вместе в Новый Иерусалим, в Новодевичий монастырь, вместе снимали дачу в Царицыне. Бунин сделал предложение Кате, но она уклонилась от брака. Много десятилетий спустя, ночуя у Буниных в Грассе, она рассказывала любопытствовавшей супруге писателя об истории этого сватовства и вообще «о своих романах», однако, судя по записям В.Н. Буниной, незаметно, чтобы «исповедь» эта была сколько-нибудь серьезной. Думается, что к своим тридцати годам (времени знакомства с Буниным) молодая писательница уже чувствовала, что не сможет по-настоящему увлечься мужчиной или отдаться литературе (поэтому, возможно, Бунин и называл позднее свою былую влюбленность «нелепейшей» и «надуманной»).

Уже в Москве Катерина Михайловна вступила в религиозную общину и горячо полюбила свою богатую и весьма образованную наставницу и сподвижницу О. Еремееву. Обе они как раз и были из почти вымершей породы русских интеллигенток, полных решимости посвятить свою жизнь служению ближнему и поискам истинной близости к Богу. Революция и октябрьский переворот в России лишили их московскую общину средств для служения людям, но после всех скитаний, после бегства на Кавказ, эти враз обедневшие русские подвижницы нашли приют в одной из древнейших французских монашеских общин (в Камбрэ). Неслучайно в конце жизни К.М. Лопатина пришла в католицизм. А близ Антиба, в Вальбоне, Лопатина и ее старшая подруга сумели открыть в ветхом полузаброшенном замке де Клозон что-то вроде санатория для слабых детей и вдвоем (иногда с чьей-либо добровольной помощью) выхаживали там хворых детишек.

Настойчивые религиозные поиски Екатерины Лопатиной сблизили ее еще в России с Зинаидой Гиппиус, которая позднее вместе с мужем жила однажды у Лопатиной в Вальбоне, а после ее смерти в 1935 году напечатала очерк об этой замечательной женщине, ее самоотверженном служении, ее глубокой религиозности. Вот как описывала немолодую уже Катерину знаменитая Зинаида Гиппиус:

...полумонашеская одежда, которую она носила, отнюдь не делала ее монахиней в условном смысле. В ней оставалась и московская Катя Лопатина, подвижная, экспансивная, с острым чувством эстетики, с тонким юмором в рассказах, подчас нелепая, способная жаловаться, и восхищаться, и возмущаться. А подо всем этим горело в ней какое-то трепетное пламя, и даже те, кто не умел видеть, чувствовал, приближаясь, его тепло. <...> Душа, а вернее, все существо Екатерины Михайловны было насквозь религиозно. В ней, человеке не отвлеченных мыслей, а горячих чувств, жизненные нити свивались сложным клубком.

Вскоре после смерти Е.М. Лопатиной, в пору войны, в Грассе И.А.Бунин оставил в дневнике запись, что следовало бы ему написать про историю его бывшего увлечения этой женщиной, историю их прощания в лесу под Москвой, когда она, плачущая, надела ему на шею иконку... Однако разрыв Бунина с последней его возлюбленной (которая тоже бросила его ради женщины) делал для него и ту, прежнюю, почти полувековой давности неудачу и нестерпимо обидной, и недоступной пониманию. Расставшись с Екатериной Лопатиной, Бунин уехал тогда в Одессу и буквально через три месяца женился на молоденькой Анне Цакни, с которой там познакомился. Когда мужчине приходит время жениться, у него не остается времени на раздумья. Любопытно, что супруга писателя Вера Николаевна Бунина при оценке в своем дневнике того, что случилось с обеими обидчицами ее мужа, оказалась более понятливой и терпимой, чем сам обиженный писатель.

Севернее Вальбона и восточнее Грасса лежит на выступе скалы прелестная деревушка Рокфор-ле-Пен. Красота деревни отчасти описана в самом ее названии, где присутствуют и скала, нависающая над долиной, и сосновый парк. Деловитые французские путеводители лишь мимоходом намекнут читателю на красоту этих мест, вид с обрыва, удобства здешней гостиницы, однако ни один гид, даже русскоязычный, не посоветует вам сходить на маленький погост у здешней церкви и положить цветок на могилу милой киноактрисы (еще немного кино), которая специальным русским жюри была однажды признана «самой красивой русской женщиной».

Знарок пореволюционной русской эмиграции может предвидеть самые невероятные русские следы в живописных городках от Грасса до Торана, но чтоб «русская королева красоты», да еще кинозвезда, да в такой глуши! А между тем она была и немецкая кинозвезда, и европейская «селебрити»...

Правда, родилась не в Петербурге, а в Киеве, но ведь и прославленная Анна Ярославна, «русская королева Франции», была скандинавских кровей. Так что и похороненная здесь КСЕНИЯ ДЕСНИ (ДЕСНИЦКАЯ) была то ли русской, то ли немецкой, то ли украинской кинозвездой и притом самой красивой «русской женщиной Берлина». Об этом было объявлено в 1926 году, когда вдруг все это обрушилось на нее – и приглашение в кино, и контракт, и газетчики, и слава, и гигантские афиши с ее глазами и острым носиком.

Родители ее еще в детстве заметили, что их девчушка все время танцует, отдали дочку учиться на балерину, на певицу и вдруг – революция.

Уплывавшие от крымского берега пароходы с частями Добровольческой армии в один только Константинополь привезли заодно с солдатами чуть не полтысячи русских актрис и актеров. Зачем столько комедиантов турецкой столице? Но все же юной танцующей красотке легче заработать на кусок хлеба, чем старой, некрасивой и нетанцующей...

Танцевала Ксения в кабаках, в кабаре, в варьете, а в 1920 году перебралась в Берлин. Через год получила первое предложение сниматься в кино. Кинокомпании и киностудии появлялись в Берлине, как грибы после дождя, и на страницах газет все чаще мелькало имя новой

звезды Ксении Десни. Звезды помельче, чем Кованько, Сандра Милованова, Полевицкая, но тоже звезды, раз заключили с ней контракт на главную роль в фильме «Зов рока». Теперь все ее знали на берлинском Олимпе – и сам Ермольев, и сам Мозжухин! Глазки ее сияли берлинцам с уличной рекламы: и той, что рекомендовала новый крем для рощения волос, и новый магазин, и новый фильм... Русские переселили тогда в Берлин весь свой молодой, но уже нешуточный кинематограф. Имена всех знаменитостей, что улыбались с берлинских афиш, не сходили с уст бедных продавщиц и богатых покупательниц, стали популярны, как разменные пфенниги, позднее вошли в диссертации киноведов.

Русские беженцы заполняли Берлин. Все еще ошарашенные случившимся на родине, они не вовсе увяли в тоске. Жизнь продолжалась, я бы даже сказал, была ключом. Открыты были русский клуб, русские кружки, русские курсы, выходили русские издания, шумели русские балы, возникали русские общества, регулярными были балы журналистов и писателей. Почитайте только их описания у русских писателей – у насмешника Дон Аминадо, у Лоло, у Тэффи, у Набокова... На одном из таких балов в 1926 году специальный комитет (какие там были славные имена в жюри!) назвал самой блистательной русской красавицей Берлина молодую кинозвезду Ксению Десни. На ее голову возложили корону из фольги, на плечи мантию. Ее без конца фотографировали в окружении фрейлин, пажей, свиты.

А столица русских беженцев мало-помалу перемещалась в Париж. Но слава русской королевы не увяла и в Париже, где издавалось множество русских газет и даже выходил свой гламурный журнал «Иллюстрированная газета»: на обложке его предстала та же королева красоты в окружении фрейлин – Ксения Десни. В Париже выходили русские издания на всякий вкус, был и модный «глянец» для эмигрантов. У журнала этого очень популярные корреспонденты-писатели (скажем, Александр Куприн), а на обложках красовались самые популярные красавицы русской эмиграции (к примеру, дочка того же Куприна). Правда, в Россию эти журналы добирались уже с трудом. Большевики запретили покупать на Западе фильмы, полные соблазнов женской красоты, когда обнаружилось, что в темном зале киношки красота беглых русских красавиц соблазняет зрителей-пролетариев больше, чем сцены классовой борьбы. Впрочем, с распространением звукового кино ее кинокарьера сошла на нет, и красавица из Киева тихо доживала свой век в глухой французской деревушке, где в свой срок и была погребена близ сельской церкви.

Двинувшись дальше к югу в направлении Канн, мы очень скоро попадем в прелестный курортный городок Мужен. Городок этот был известен еще в XI веке и принадлежал тогда герцогу Антибскому. Позднее он был разрушен сарацинами, но отстроился снова, а в позапрошлом веке уже стал модным курортом. В прошлом веке в нем жили такие высокие ценители Французской Ривьеры, как Пабло Пикассо и Кристиан Диор. Мужен и сегодня престижный курорт в каких-нибудь семи километрах от моря, неподалеку от автострады, от аэропорта.

И городку Мужену, и скромному муженскому кладбищу довелось попасть в русскую эмигрантскую поэзию. Здесь прожила больше полвека и здесь похоронила любимого отца эмигрантская поэтесса ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА ТАУБЕР. Она родилась в Харькове в 1903 году, семнадцати лет родители увезли ее в Сербию, она окончила школу и университет в Белграде, там начала писать стихи, там состояла в русских литобъединениях, печаталась в русских журналах, а в 1934 году переехала в Мужен. В муженские годы у нее вышло несколько поэтических сборников. Ее волновала здешняя тишина, здешняя красота, здешнее ощущение древности:

Сквозная южная сосна
Над полем вянущей лаванды.
А рядом – низкая стена
Времен Приама и Кассандры.

С нее сползает купина,
И горько зноен ветер жадный.

Не видно моря. Облака
На небе выцветшем застыли.
Кустарник пощипать слегка
Пришла коза из древней были,
Шерсть цвета темного песка,
Библейской драгоценной пыли.

Здесь остаюсь на целый день,
Пьяна сладчайшим тонким хмелем.
О, эта глушь и эта лень,
Июля белые недели,
Скуднейшая оливы тень
И золотой загар на теле.

В Мужене похоронен известный украинский писатель, общественный и политический деятель ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ ВИННИЧЕНКО. В 1917 году он был секретарем Директории, то есть возглавлял первое правительство Украинской народной республики. Потом он был какое-то время украинским премьер-министром, а значит, пусть и недолго, одним из первых (наряду с Петлюрой и Грушевским) лидеров независимой Украины и представлял в украинском правительстве социал-демократическую партию. Позднее его потеснил у кормила атаман Симон Петлюра, представлявший в правительстве вооруженные силы. Слова «петлюровщина», а равно и «махновщина» приобрели в русском языке вполне малосимпатичный оттенок. Они ассоциируются у нас с анархией, кровопролитием, безудержным национализмом и кровавыми еврейскими погромами. Хотя сам Махно или Петлюра, возможно, и не были антисемитами, но Петлюра, как отмечают знатоки, был прагматиком, власть его держалась на дружбе с буйными «хлопцами», для которых убийство евреев было не только приятным развлечением, но и средством обогащения. Что до Винниченко, то он был соперником Петлюры и по временам пытался умерить его крайности. В 1911 году Винниченко встретил студентку Сорбонны, медичку Розалию Лифшиц, с которой прожил в более или менее постоянном браке сорок лет своей жизни. Винниченко был в своем роде интернационалист, но отстаивал интересы национальной украинской культуры, в первую очередь главенство украинского языка. Он тяготел к социалистам, неоднократно искал союза с ленинцами, однако, не найдя у коммунистов полного доверия и поддержки, окончательно уехал на Запад в 1920 году. Это было похоже на бегство из заваренного им же самим и его коллегами кошмара, который на Украине все больше напоминал то ли репетицию Холокоста, то ли репетицию гладомора. Впрочем, еще лет десять его помнили на родине как видного пролетарского писателя, и на Украине продолжало выходить двадцатичетырехтомное собрание сочинений Винниченко.

На Западе писатель первое время жил в Вене и в Берлине, где он создал Заграничную украинскую компартию. Он продолжал писать книги, занимался живописью, дружил с Николаем Глущенко, который был известным на Украине живописцем и не менее известным чекистом, сообщавшим «куда надо» о жизни соотечественников за границей. С 1925 до 1934 года Винниченко жил с женой Розалией в Париже, но потом, одолжив скромную сумму в 40 000 старых франков (так при жизни им и не выплаченную), купил довольно ветхий дом на бульваре Бастиды в очаровательном Мужене. Дом Винниченко смог отремонтировать и даже прикупил к участку два гектара земли, надеясь впредь кормиться огородничеством, но сколько-нибудь крупного успеха в ведении сельского хозяйства знаменитый писатель не достиг, тем более что

он не оставил привычных занятий литературой и политикой. Скажем, в 1933 году он написал письмо в политбюро Компартии Украины, обвинив Сталина и Постышева в терроре против украинского народа. Да и предсмертный роман Винниченко обращал к Сталину призыв о некоей демократизации. Понятно, что товарищ Сталин не откликнулся на этот благой призыв.

Конечно, в мирные ривьерские годы Винниченко меньше занимался вопросами политики, чем литературным трудом и выработкой собственной мировоззренческой программы, которую называл «конкордизмом», то бишь достижением согласия. Надо жить в согласии с самим собой, с окружающей природой, со своим организмом и своей совестью – настаивал украинский писатель. Он призывал прежде всего «быть честным с самим собой» и признать наконец, что ни его самого, ни его политических соратников никто не звал встать во главе простого народа. Надо сказать, литературоведы высоко оценивают не только обширное наследие Винниченко-романиста, создателя первых утопических романов на украинском языке, но и его драматургию: пьесы Владимира Кирилловича неоднократно ставили на сцене зарубежных театров.

Историки высоко ценят книгу Винниченко «Возрождение Украины», которая помогает им разобраться в сложной (и, прямо скажем, жутковатой) обстановке тех лет на его истерзанной родине.

Так что посещение украшенной изображением трезубца могилы этого незаурядного человека (он умер в 1951 году) и его супруги Розалии Яковлевны (она прожила еще восемь лет после смерти мужа в обществе талантливой украинской художницы Нижник-Винников, написавшей два замечательных портрета хозяйки дома), может оказаться памятным событием.

Канны: вечный сон среди суетной роскоши

Покинув Мужен, мы за десять минут доберемся до Канн, второго по величине и, наверное, первого по богатству и динамичности городу Лазурного Берега. Первооткрывателем и отцом этого ривьерского города, бывшего в исторически не столь уж отдаленную от нас пору крохотной и безвестной рыбацкой деревушкой, краеведы считают английского парламентария лорда Брэгема. Ну а матерью или просто второй открывательницей города вполне может считаться московская красавица АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА СКРИПИЦИНА. Имя Александра в Каннах не менее популярно ныне, чем имя Грейс в Монако, хотя случилось здешнее дорожное приключение у новобрачной красавицы москвички Александры почти полтора века тому назад. Началось с того, что холостой французский чиновник месье Трипэ чьими-то добросердечными стараниями получил непыльную должность консула Франции в хлебосольном и знаменитом своими богатыми невестами городе Москве. Месье Трипэ не посрамил всемирно признанных высоких достоинств французского кавалера: он проявил хороший вкус, расчетливость и завидное знание французского языка, на котором только и принято было говорить в московском приличном обществе. Невесту он выбрал из богатого дома, красивую и милую. После свадьбы молодые отправились в свадебное путешествие в романтический итальянский Неаполь. Однако добравшись до последней французской деревни на этом берегу (тоже, признайте, не ближний свет), убедились они, что коляску их, ненадежное тогдашнее средство передвижения, пора отдавать в ремонт. Молодожены отправились погулять пешком по берегу и влюбились в эту прекрасную деревушку, купили землю в нынешнем каннском квартале Калифорния и приступили к строительству виллы. После этого и русская колония Канн стала расти, впрочем отставая пока числом от английской, завлеченной сюда ранее авторитетом знаменитого лорда и природным любопытством кочующих англичан.

Память Александры Скрипициной чтят и поныне русские Канны. Сравнительно недавно выросла на площади Сен-Поль близ бульвара Александры часовня в память об Александре Федоровне Скрипициной и ее покладистом муже. Это она, Александра Скрипицина, купила участок для русской церкви Михаила Архангела, в крипте которой покоятся великие князья НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ Младший (1856–1929), его брат ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1864–1931), их жены МИЛИЦА НИКОЛАЕВНА (1866–1951) и АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА (1867–1935), дочери черногорского короля, в петербургском придворном обиходе прозванные не вполне благожелательно (за их неутомимое интриганство) «чернавками».

Великий князь Николай Николаевич был внушительный гигант, не вполне победоносный главнокомандующий русской армией в Первой мировой войне, а для большинства русских военных в эмиграции (их тут было великое множество и притом в видных чинах) – очевидный претендент на место наследника русского престола (подстегиваемый своим военным и придворно-политическим опытом, он, как свидетельствуют воспоминания, еще и при жизни племянника-императора не раз пускался в разные интриги).

Его младший брат, Петр Николаевич, который сосватал старшему (после всех братниных походов с актрисами да купчихами) родную сестру своей черногорки-жены Милицы (страстную, неумную, уже благополучно разведенную с герцогом Лейхтенбергским и оттого вполне свободную принцессу Анастасию), был существом менее впечатляющим, чем старший брат. Конечно, он тоже был великим князем, но князем скромным, слабого здоровья, а увлечен он был в наибольшей степени военно-оборонительной архитектурой, что вызывало лишь насмешки придворных. Но случилось так, что именно эта его странная причуда помогла в трудную минуту спастись во время крымских невзгод не только их со старшим братом семьям, но и младшей сестре императора с мужем ее, прощелыгой Юсуповым, а также престарелой вдовствующей императрице Марии Федоровне и другим родственникам. Построенное на манер

крепости неприступное крымское дачное имение Дюльбер, окруженное стенами, помогло членам обреченной семьи продержаться от периода небезопасного буйства сева­стопольского и ялтинского советов до самого прихода немцев, и уж потом англичане перевезли их всех в Европу на борту крейсера.

Великая княгиня Милица, супруга Петра Николаевича, кроме всех прочих полезных придворных качеств, вроде умелого интриганства, известна была своими мистическими интересами и знакомствами. Это она привела во дворец к императрице Александре Федоровне французского мистика-целителя Филиппа Нозьера, а потом и сибирского мужика Григория Распутина. Обернулись все эти ее инициативы, как известно, весьма печально.

В эмиграции Петр Николаевич жил на бульваре Антибского мыса. Там у него в гостях на вилле «Тенар» и умер его старший брат, знаменитый воитель князь Николай Николаевич Младший, чьи торжественные похороны писатель Иван Бунин воспринял как символический конец старой России и доверил это чувство своему дневнику: «Думал ли я, когда я видел его 40 лет тому назад на Орловском вокзале <...> когда он ходил по платформе <...> был блестящ, молод с рыжеватыми кудрявящимися волосами <...> все лучшее погибло в войне <...> В пра­вых рядах остались лишь худшие».

В крипте церкви Михаила Архангела похоронен также принц ПЕТР ОЛЬДЕНБУРГ-СКИЙ (1868–1924), вполне милый человек, причастный к литературе, выступавший в печати под псевдонимом Петр Александров и общавшийся на Лазурном Берегу с Иваном Буниным, который и написал предисловие к книге рассказов этого принца. В той же церковной крипте погребен и духовник великой княгини Анастасии Михайловны архиепископ ГРИГОРИЙ ОСТРОУМОВ (1855–1947). Великая княгиня Анастасия Михайловна, столь неукротимо светская и трагедийно страстная в молодые годы, на склоне лет стала проявлять похвальное религиозное рвение и тем запомнилась православному приходу Ривьеры.

Кладбище Гран Жас

Знаменитым кладбищенским парком или, если угодно, парковым кладбищем называют в Каннах Гран Жас. Среди имен насельников этого живописного некрополя самым на сегодняшний день знаменитым, вероятно, является имя Фаберже.

КАРЛ ФАБЕРЖЕ (1846–1920) возглавлял семейную ювелирную фирму в Петербурге с отделениями во многих европейских городах. Драгоценные пасхальные яйца работы фирмы «Фаберже, в частности изготовления Михаила Перхина, государь император, как правило, дарил на праздник государыне. Впрочем, знаменитые эти ювелирные изделия знатоки чаще все же называют не шедеврами искусства, а просто артефактами. Что до придиричивого Владимира Набокова, то, упоминая их в своем автобиографическом романе, писатель называл их образцом чудовищной безвкусицы. Тем не менее эти дорогие изделия пользуются огромным спросом у нынешних богачей, и причудливая судьба этих яиц вдохновила создателей многочисленных рассказов и фильмов, по большей части, детективного и криминального жанра с участием звезд мирового кино (к примеру, Одри Хепберн). Кстати, даже в самых серьезных музейных экспозициях (скажем, в Баден-Бадене или в нью-йоркском Метрополитэн) иногда выставляют подделки этих яйцевидных изделий. А вообще, по приблизительным подсчетам, предприятия Фаберже, где потрудились за полвека полтысячи мастеров, успели изготовить 126 000 яиц, поставив на каждом фирменное клеймо. За такое клейменое изделие на недавнем аукционе «Кристи» один из ценителей выложил три миллиона долларов.

Фотографии знаменитых изделий Фаберже любят разглядывать читатели гламурных изданий, чтобы потом рассказывать за обедом, что вот некое «Яйцо Ротшильда» стоит два десятка миллионов долларов и что петушок, изготовленный из драгоценных металлов, рас-

правляет крылышки, кукарекает трижды, кланяется публике, а потом снова засыпает на целый час.

Однако отвлечемся все же от прославленных яиц. На кладбище Гран Жас похоронены представители славных русских семей ГОЛИЦЫНЫХ, ХОВАНСКИХ, БОБРИНСКИХ, БИЛЬДЕРЛИНГОВ, ЖАНДРОВ, КЛОДТОВ, ФОН УНГЕРНОВ.

Недалеко от входа можно увидеть могилу АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА БОБРИНСКОГО. Он был выпускником Александровского лицея, уездным предводителем дворянства, министром путей сообщения и деятелем Религиозного Пробуждения, одним из виднейших проповедников евангельского христианства в России (секта пашковцев, последователей Редстока). После беседы с А.П. Бобринским Лев Николаевич Толстой записал в дневнике, что человек этот «поразил его жаром своей веры»: «никто никогда лучше не говорил мне о вере, чем Бобринский».

На первой аллее кладбища Гран Жас захоронены солдаты русского экспедиционного корпуса, а также некоторые русские военачальники. Такие, скажем, как генерал-лейтенант и востоковед ГЛЕБ МИХАЙЛОВИЧ ВАННОВСКИЙ (1862–1943). Он служил в лейб-гвардии Конной артиллерии, был военным агентом в Японии, участвовал в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах, в частности, в походе Корнилова, был награжден Георгиевским крестом.

Из русских красавиц, похороненных на Гран Жас, нельзя не упомянуть дягилевскую балерину Ольгу Хохлову, первую жену любвеобильного художника Пабло Пикассо. В одной могиле с ОЛЬГОЙ СТЕПАНОВНОЙ РУИС-ПИКАССО (рожд. ХОХЛОВОЙ, 1891–1955) похоронен ее и Пабло Пикассо внук, юный Паблито, покончивший с собой в год смерти деда. В Каннах похоронена и внучка Ольги и Пабло МАРИНА ПИКАССО. Сам же знаменитый художник Пабло (Руис) Пикассо (1881–1973), проживший последние 12 лет своей жизни близ Мужена, завещал похоронить себя вместе со своей последней женой у входа в замок Вовенарг, что лежит на отрогах многократно запечатленной Сезанном горы Сен-Виктуар. Пикассо жил в этом замке еще до переезда в Мужен. Теперь у двери замка, перед могилой Пабло Пикассо и его супруги Жаклин, установлена статуя «Дама с вазой», украшавшая в 1937 году испанский павильон Парижской выставки. Можно напомнить, что славный этот и вполне укромный ныне Вовенарг знали еще древние римляне, что «добрый» король Рене в тысяча четыреста каком-то году подарил поместье своему врачу, а уж великий Пикассо был последним хозяином этого старинного замка.

На том же кладбище Гран Жас похоронен знаменитый летчик НИКОЛАЙ ЕВГРАФОВИЧ ПОПОВ (1878–1929). Он окончил в России Сельскохозяйственный институт, ушел добровольцем на Англо-бурскую войну, воевал на стороне буров и вернулся в Россию как раз к Русско-японской войне, во время которой в качестве военного корреспондента часто писал об авиации. После окончания войны уехал во Францию, работал механиком в авиашколе братьев Райт в городе По, учился летать и стал первым летчиком, совершившим полет над здешними Леринскими островами. Он не раз терпел катастрофы, но выжил, хотя и получил увечье. Несколько лет Николай жил в Каннах, был тренером по гольфу, но в 1929 году покончил жизнь самоубийством...

Как вы могли убедиться даже по кратким нашим сообщениям, доблестные воины, участники бесконечных войн XX века, составляют значительную часть русских насельников кладбища Гран Жас. Вот могила КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА ЖАНДРА (1871–1941), капитана 1-го ранга, члена эмигрантской организации Парижская Кают-компания. Здесь же упокоился барон МИХАИЛ ЛЕОНАРДОВИЧ УНГЕРН ФОН ШТЕРН-БЕРГ (1870–1931), который окончил Пажеский корпус, участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах, в чине полковника состоял в Собственном конвое Его Величества. Рядом – другой русский барон, ПАВЕЛ АДЛЬФОВИЧ КЛОДТ ФОН ЮРГЕНСБУРГ (1867–1938). Генерал-майор Павел Клодт участвовал в Первой мировой и в Гражданской, командовал лейб-гвардии Фин-

ляндским полком, а в эмиграции писал статьи для одного из бесчисленных русских журналов – «Фин-ляндец».

Впрочем, похоронены на Гран Жас не только военные, но и люди вполне мирных профессий или те, кто, на их счастье, не успел повоевать, как, скажем, гардемарин ВСЕВОЛОД ЛЕОНИДОВИЧ ТВЕРДЫЙ (1903–1987). Родители увезли его семнадцатилетним юношей в Тунис, в Бизерту, где он учился в Морском корпусе, стал членом Морского собрания, а в поздние годы жизни был директором Русского дома в Кормей-ан-Паризи.

Барон ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ БИЛЬДЕРЛИНГ (1890–1960) изучал в России право, стал в эмиграции адвокатом, при этом открыл в Марселе на улице Гриньи книжный магазин и библиотеку «Культура». Бурное и чуть ли не обязательное участие в культурной, общественной, религиозной жизни является поразительной чертой той русской эмиграции. Барон Владимир Бильдерлинг посещал Русский литературный кружок, сотрудничал в Казачьем союзе, в Национальной организации витязей, выступал с докладами о литературе и русской истории, писал пьесы, был членом Совета русских адвокатов за границей и председателем Попечительского комитета Свято-Николаевской церкви. Энергия этих не падавших духом изгнанников была воистину неиссякаемой.

Староста церкви Архангела Михаила в Каннах, крещеный караим МИХАИЛ ИЛЬИЧ ЛОПАТО (1907–1986) из России эмигрировал в Харбин, потом уехал в США, окончил там Колумбийский университет, учился в Пенсильвании табачному производству, а вернувшись в Харбин, управлял табачной фирмой «Великобританское акционерное общество А. Лопато и сыновья». Позднее он переехал в Париж, где финансировал самые различные изобретения, и только в конце жизни удалился в Канны и стал старостой русской церкви.

Князь ПЕТР ПАВЛОВИЧ ГОЛИЦЫН (1868–1930) служил в Обществе Красного Креста в Петрограде, занимался благотворительностью в Париже, учредил Академию художеств в Ницце, был вице-председателем и казначеем Комитета помощи русским и французским беженцам. Это он помогал детскому приюту в Каннах, русским старческим домам и «удешевленным столовым для эмигрантов» на юге Франции.

Кладбище Абади

Тех, кому не нашлось места на небольшом, площадью всего в девять гектаров, парковом кладбище Гран Жас, пришлось хоронить на гораздо менее живописном и более запущенном кладбище Абади. Так был разлучен в смерти со старшим братом труженик табачной промышленности ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛОПАТО (1912–1986). В 1950 году, когда их семейную табачную фабрику в Харбине конфисковали китайские коммунисты, Владимир Ильич вернулся во Францию, потом переехал во Флоренцию, где занимался продажей пушнины и посещал занятия во Флорентийской Академии искусств, писал портреты, работал переводчиком. Самыми памятными днями переводческой деятельности для него оказались переговоры московского завода им. Лихачева с дирекцией фирмы «Фиат и Оливетти». Вам самим судить, пошли ли на пользу автомашине «Москвич» эти переговоры, звучавшие в переводе добросовестного В.И. Лопато...

Напомню, что в поисках всех былых русских могил вам не придется чересчур долго бродить по этому куда менее живописному, чем Гран Жас, прибежищу мертвых. Об этом предупредил заметкой в интернетной сети протоиерей Герман Иванов Тринадцатый. Он грустно поведал, что по истечении, скажем, полувекового срока аренды дорогостоящей здешней земли, прежних обитателей могил, как правило, выкапывали, а косточки их сжигали. Узнав об этом, русские священнослужители в Каннах озаботились о перенесении останков из русских могил на край кладбища и захоронении их в одном месте. Над этой общей могилой (по-французски *fosse commune*, но это грубее, чем русское выражение «братская могила», это просто «ров»,

«яма») тщанием церкви и французского архитектора Шарля Абади (чье имя носит это кладбище) сооружена была часовня Успения Божьей Матери, на стенах которой аккуратно воспроизведены (где кириллицей, а где и латиницей) имена захороненных здесь наших соотечественников.

Имена некоторых из захороненных на кладбище Абади беженцев размещены на стенах Успенской часовни по годам. Даже самое краткое напоминание об этих людях, само по себе отрадное, как всякое поминовение, вводит нас в общество соотечественников, продолжавших здесь свою жизнь вдали от «великого эксперимента». Эти изгнанники были люди очень разные, пришедшие из вполне несовершенного мира довоенной России, прошедшие через войны, через многие страдания, через эмигрантские унижения, через не слишком знакомую, но все же отчасти понятную нам с вами жизнь. И воспоминание о них тронет наши сердца сочувствием. Вот и начнем не торопясь, начнем, конечно, с женщин...

ИЛЬИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (1885–1966), родом из знатной петербургской семьи, фрейлина императрицы. В Первую мировую войну, как многие аристократки, пошла сестрой милосердия на фронт, проявила незаурядную храбрость, заслужила четыре Георгиевские медали, в том числе одну золотую, 1-й степени. В Гражданскую войну ушла в Добровольческую армию, работала там в отделе информации. Останься она на родине, поставили бы ее к стенке, но ей удалось добраться до Канн и прожить сполна свои восемь десятков лет.

А вот матушка **СОБОЛЕВА АННА ГРИГОРЬЕВНА** (1887–1955), жена протоиерея Соболева, дочь владыки Григория Остроухова, хлопотавшего о создании храма в Каннах, бывшего духовником великой княгини Анастасии, а потом и настоятелем нового храма. Матушка Соболева сопровождала мужа в его переездах, всю жизнь трудилась при церкви, овдовев, стала сестрой монашеского сестричества Свято-Михайловского храма в Каннах.

Или певица **СВИРЧЕВСКАЯ ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА** (умерла в 1987 году, а года рождения у артисток спрашивать не принято). Была Вера Алексеевна активным деятелем церковной жизни. Эмигрантские ее годы начинались в Тунисе, куда ушел побежденный русский флот. Позднее она пела в Лионе, в Париже, в Ментоне. В хоре Михайло-Архангельского храма в Каннах была солисткой, так что, наверно, и нынче еще у еще живущих тогдашних прихожан голос ее звучит в памяти.

АЛАДЬИНА (урожденная **ГЕРИНГ**) **АЛЛА ПЕТРОВНА** (умерла в 1979-м) еще в 1950 году преподавала русский язык и историю в Четверговой школе при кружке Общественной помощи русским учащимся в Каннах. Целая система подобных школ по всей Франции помогала русским ученикам выучить родной язык и историю России, посещая раз в неделю такую школу при церкви. Обучение, да чаще всего и труд преподавания, там были бесплатные.

Надо сказать, что просвещение и воспитание молодых оказались в центре забот русского эмигрантского сообщества, и это было одной из самых замечательных черт той Великой послереволюционной эмиграции. Так что естественным будет для нас отыскать на стене Успенской часовни имя **ЯХОНТОВА АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА** (1876–1938), связанное с одной из самых ярких и симпатичных страниц эмигрантской школьной жизни на Лазурном Берегу Франции. Не слишком долгая по нынешним понятиям жизнь Аркадия Яхонтова была полна трудов, успехов и даже взлетов. К своим сорока годам этот выпускник Александровского лицея в Петербурге побывал уже помощником управделами Совета министров, товарищем министра путей сообщения, личным секретарем Петра Столыпина и чудом избежал смерти во время покушения на Петра Аркадьевича на Аптекарьском острове; в Гражданскую войну он заведовал всеми финансами в правительстве Юга России. После славного десятилетия на посту директора лицея в Ницце Аркадий Николаевич был занят бурной общественной деятельностью, выступал на Пушкинских торжествах 1937 года, печатал интереснейшие заметки о секретных заседаниях Совета министров в 1915 году, составлял «Исторический очерк Императорского Александровского лицея»... И все же годы его директорства в лицее были особен-

ными и для его судьбы, и для всего эмигрантского просвещения, и о них жаль было бы не рассказать чуть подробнее.

Началось с того, что А.Н. Яхонтов с супругой устроили детский приют в ривьерском Йере. К 1925 году благодаря стараниям и щедрости некоторых еще не разорившихся эмигрантов в Ницце на вилле «Сен-Сир», неподалеку от Императорского парка и квартала Царевича, удалось открыть русский лицей Александрино, директором которого и одним из главных учредителей стал Аркадий Николаевич Яхонтов. Название лицея могло бы подсказать, что воспоминание об Александровском лицее и лицейском периоде жизни и было главным воспоминанием А.Н. Яхонтова и основной темой его сочинений. Осуществить мечту о русском лицее на Ривьере он, конечно, не смог бы без щедрой помощи одного из братьев Рябушинских (Михаила Павловича), его супруги Татьяны Фоминичны (последний их банк был разорен лишь мировым кризисом 1930 года), великого князя Андрея Владимировича и нескольких других эмигрантов, но за качество преподавания, за уникальную «семейную» атмосферу, царившую в лицее и на всю жизнь запомнившуюся этим детям из высородных, но обнищавших семей, отвечали только А.Н. Яхонтов и милая его супруга. Еще до лицея существовал приют Яхонтова в Йере, о котором супруги Рябушинские изумленно отзывались в письме к друзьям: «Это не приют, а одна сплоченная, дружная семья, отношение Аркадия Николаевича и его жены к детям самое отеческое. Они дают детям ту любовь и заботу, которые могут дать только мать и отец». На князя Владимира Гагарина приют этот произвел «чарующее впечатление русского культурного и морального оазиса». Князь отдал учиться в Александрино своего любимого сына Юрия, который позднее погиб за Францию на новой войне. Создавая лицей для «недостаточных», обиженных судьбой эмигрантских детей, и сам Яхонтов, и другие русские меценаты сознавали серьезность своего долга перед младшим эмигрантским поколением. Вот что писал М.П. Рябушинский в письме, сопровождавшем очередной чек на нужды лицея, пожертвованный в Ницце бывшим министром земледелия А.Н. Наумовым:

А.Н. Наумовым внесено 1200 франков на выдачу частичной стипендии, для которой он избрал Александра Апухтина 7-ми лет. У Апухтиных в настоящее время положение исключительно тяжелое. Семья состоит из отца, к труду неспособного (отрезана рука по плечо), из матери очень слабого здоровья и четырех детей. Младшему восемь месяцев. Конечно, Александра можно было послать в коммунальную школу, но это мальчик слабенький, впечатлительный, нервный и болезненный, так что родители не могли решиться отдать его в такую школу, где ему не были обеспечены необходимые заботы, ласка и здоровый стол.

Для питомцев лицея Александрино годы учебы остались незабываемыми. И когда до иных из них лет через десять дошла весть о том, что лицей пришлось из-за недостатка средств закрыть, они восприняли эту весть как личное горе. Так и написала в письме соученице Нине Булгаковой бывшая лицеистка Оля Мясоедова, правнучка Л.Н. Толстого, в браке баронесса Ольга Уксуль...

В лицее Александрино царил культ оставленной родины, и эту ностальгию по России отражали памятные бывшим лицеисткам (с одной из которых автору этой книги довелось общаться в Ницце) строки лицейского гимна:

Судьбы решеньем на чужбине
Пока расти нам суждено,
Родных полей, родной святыни
Нам и увидеть не дано.

В приискании для лицея грамотных учителей у А.Н.Яхонтова не было особых трудностей. Все эти ветераны проклятых войн XX века, чьи имена найдешь на крестах кладбища и

тесных дощечках в Успенской часовне, успели еще и до начала катастрофы получить приличное русское образование, а позднее стали убежденными педагогами. Взять хотя бы преподавателя поручика ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ОБОЛЕНСКОГО (1882–1964). Князь Оболенский окончил в Санкт-Петербурге классическую гимназию, а затем юридический факультет Санкт-Петербургского университета, отбыл воинскую повинность в лейб-гвардии уланском полку, служил в Министерстве внутренних дел, был предводителем дворянства, потом сражался на Гражданской, эвакуировался на Мальту, пожил в Англии и в Швеции, был инструктором по верховой езде в США, занимался торговлей, писал в рижскую русскую газету «Час», участвовал в монархическом съезде в Рейхенгале... Сам учился, беда учила, потом стал учить.

Или вот похоронен здесь русский педагог помоложе, подпоручик АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОЛОВИН (1896–1980). Родом он был из Ельца, окончил Пажеский корпус и Императорское училище правоведения, служил в армии Колчака, был командирован в Японию в качестве военного атташе, потом служил в парижском банке, открыл страховую контору в Париже. И общественной работой занимался, конечно: был секретарем зарубежного Объединения лейб-гвардии уланского полка и генеральным секретарем президиума Союза народных конституционных монархистов.

Еще одно имя: поручик СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МАМОНТОВ (1898–1987), москвич, учился в Императорском московском институте инженеров путей сообщения, поступил в артиллерийское училище, воевал на Первой мировой, потом и на Гражданской, в знаменитой дивизии генерала Дроздовского. Эвакуировался в Галлиполи, двадцати трех лет от роду переехал в Париж, потом в Берлин, окончил архитектурное отделение в Высшем техническом училище, а тут снова война. Он уехал в Тироль, оттуда в Африку, где создал свою кофейную плантацию. Только на седьмом десятке лет вернулся во Францию, сперва в Валанс, где работал архитектором и писал, писал... Восьмидесяти трех лет от роду издал первый роман – «Походы и кони», а три года спустя роман «Сказание». Воспоминания о своей африканской жизни печатал в нью-йоркской газете «Новое русское слово». Было что вспомнить. Потом переехал в Канны...

Наверняка обращался он в здешний дом инвалидов за помощью к АЛЕКСАНДРУ ПРОХОРЕНКО, здесь похороненному в 1980 году. Прохоренко многим помогал, а с особой готовностью Русскому дому в Грассе. Благотворительностью занимался и князь ПЕТР ПАВЛОВИЧ ГОЛИЦЫН (1868–1930). Это он учредил в Ницце Академию художеств, был вице-председателем и казначеем Комитета помощи русским и французским беженцам, помогал содержать детский приют в Каннах, русские старческие дома и столовые на всем побережье. Такой же активной благотворительницей была супруга генерала Голицына Анна Борисовна (урожденная Щербатова).

Похороненный здесь же полковник Донского войска СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ ГОЛИЦЫН (1893–1981) родился на Дону и был по профессии хормейстером. В 1924 году он стал руководить во Франции казачьим хором, и в первый же год существования его хор выступал в зале Гаво вместе со знаменитой русской певицей Ниной Лежен.

Говоря о широком выборе достойных преподавателей для русских школ, упокоенных на кладбище Абади, не стоит забывать о московском уроженце штабс-капитане ИВАНЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ МИХЕЕВЕ (1895–1965). Он закончил Александровское военное училище и Офицерское воздухоплавательное училище в Петербурге, воевал на Первой мировой и на Гражданской, эвакуировался в Галлиполи, затем оказался в Югославии, где закончил историко-филологический факультет. С 1923 года жил в Париже, давал там уроки русского языка.

Выпускник Полоцкого кадетского корпуса и Михайловского артиллерийского училища РИКС ВАСИЛЬЕВИЧ ПАНОВ (1887–1968) воевал на Первой мировой войне в армии генерала Самсонова, был деятелем русского Красного Креста, а добравшись до Франции, поселился в Ванве и 42 года крутил баранку такси. В свободное от шоферской работы время он вел бурную

общественную деятельность: был председателем Объединения полоцких кадетов во Франции, вице-председателем Союза российских кадетских корпусов, входил в суд чести Союза, организовывал Дни кадетской скорби.

Имя инженера МИХАИЛА ВАЛЬДЕК-РУССО (1892–1967) часто мелькает в эмигрантской хронике спортивных событий. Свою работу, директорство на производстве железобетонных конструкций, он совмещал с председательством в Российском спортивном обществе и при этом был известен несколькими изобретениями в области строительной техники.

Полковник лейб-гвардии ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ КУСОНСКИЙ (1884–1958) был членом сразу нескольких войсковых объединений: объединения лейб-гвардии Тяжелого артиллерийского дивизиона, объединения лейб-гвардии Третьей артиллерийской бригады. Он был братом того самого генерала Павла Кусонского, который, проворонив советского агента Скоблина, дал ему сбежать навстречу смерти от рук своих братьев-чекистов.

Активной общественной деятельностью отмечена была жизнь ротмистра Киевского гусарского полка ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА ПРОТОПОПОВА (1888–1960). Он окончил в юности Киевский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище, участвовал в двух войнах, а в начале 30-х открыл в Ницце на площади Франклина русско-французский книжно-филадельфический магазин. Состоял при этом членом приходского совета Свято-Николаевской церкви.

Полковник КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ МАНДРАЖИ (1880–1970) окончил Пажеский корпус, заслужил Георгиевский крест на полях мировой войны, а в Ницце был почетным председателем Общества взаимопомощи русским военным инвалидам, активным сотрудником журнала «Военная быль» и газеты «Русское воскресенье».

Графа МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА РАЕВСКОГО (1912–1983) увезли во Францию еще ребенком. Он работал в Париже инженером на авиационном заводе, а в Ницце был членом Объединения лейб-гвардии гусарского полка и любил чувствовать себя «среди своих».

Поручик гусарского Ингерманландского полка АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ (1888–1966) участвовал в Гражданской войне, а после Галлиполи жил на юге Франции и активно участвовал в работе всех местных военных организаций: и русского Общевоинского союза, и Общества галлиполийцев, и Союза русских офицеров – участников войны. На заседаниях этих обществ он выступал с докладами о генерале Корнилове и Корниловском походе.

Сен-Поль-де-Ванс – Ванс – Кань-Сюр-Мер

Отправляясь из Канн на восток, мы доберемся до маленького сельского кладбища в городке Сен-Поль-де-Ванс. По прихоти судьбы могила русского (французского, еврейского) художника Марка Шагала стала, наверное, самой знаменитой могилой этого берега (наподобие могилы Наполеона в Париже). Как и многие другие явления массовой популярности, феномен этот с трудом поддается объяснению. Люди, никогда в жизни не видевшие картин и не ходившие в галереи, не изучавшие историю искусства, не причисляющие себя ни к хасидам, ни к атеистам, ни к русским, ни к французам, ни к белоруссам, попав на Лазурный Берег, считают своим долгом непременно побывать на могиле Марка Шагала. При этом они готовы на долгое ожидание и паркуют свои машины в бесконечной очереди на подъеме к местечку Сен-Поль-де-Ванс.

МАРК ЗАХАРОВИЧ ШАГАЛ (1905–1993) родился на хасидской окраине белорусского Витебска, начинал учиться живописи у местного художника И. Пена, посещал рисовальные классы в школах Петербурга (учился у Зайденберга, у Бакста, Рериха, Добужинского), а потом отправился в Париж, где поселился в дешевом (а то и вовсе бесплатном) общежитии, устроенном для бедных художников добрым скульптором Буше. Здесь, в этом бедняцком «Улье», его, кстати, и навестил однажды по своей профессиональной нужде скромный корреспондент киевской газеты по фамилии Луначарский.

Попав в те годы в гости в парижский салон Елены Эттинген, Шагал познакомился с Аполлинером, с Блезом Сандраром и другими гениями французского авангарда, которых поразили своими удивительными живописными «полетами во сне и наяву». Благодаря Аполлинеру Шагал устроил персональную выставку в берлинской галерее и через Берлин вернулся наконец на родину, где его заждалась невеста Бэлла. В тот переломный год случились два великих события в жизни Шагала и всей Европы: Шагал женился на прекрасной Бэлле, а в Европе началась Великая война.

В ожидании свадьбы Шагал усердно рисовал ворота хасидского кладбища, чувствуя, что упрямо возвращается к вере предков, однако судьба распорядилась иначе. В Петербурге случились революция, а потом Октябрьский переворот, и маленький большевистский чиновник из Витебска бестрепетно отобрал у Шагала французский паспорт. Дальше все сложилось еще непредвиденней. Главным комиссаром по делам просвещения, культуры и искусства в великой России большевики назначили шустрого корреспондента киевской газеты, авангардиста Анатолия Луначарского, которому пришлось срочно подыскивать себе подручных комиссаров для бесчисленных сфер культурной жизни. Вот тогда-то ему на память и пришел молодой художник Шагал из парижского «Улья» с его изящно летающей над деревней хасидской невестой. Так Шагал стал комиссаром искусства по Витебской области.

Энергично взявшись за преобразование захолустного родительского гнезда в мировую столицу современного искусства, Шагал пригласил в Витебск из Петербурга и Москвы самых крутых авангардистов – Лисицкого, Веру Ермолаеву, Малевича, – которые не мешкая создали в Витебске объединение «Уновис» (Утвердители нового искусства). Главными направлениями нового искусства решительный Малевич считал кубизм, футуризм и супрематизм, при сопоставлении с которыми мечтательно экспрессионистские полеты Шагала над местечком с невестой Бэлой представлялись по меньшей мере наивной данью вчерашнему дню. И вскоре произошло нечто вовсе уж незаслуженное и обидное. Собравшись на свое заседание, крутые авангардисты объявили наивного Шагала устаревшим и неласково предложили гостеприимному витебскому комиссару покинуть милую родину. В общем они отобрали у живописца его обжитое местечко, мирное хасидское предместье Витебска. Хорошо, хоть оставили кожаную комиссарскую куртку и длинный наган в деревянной кобуре...

Изгнанный Шагал отправился с женой в Москву, где приступил к оформлению спектакля в еврейском театре Грановского. Он увлеченно расписывал стены театра, создавал декорации... Впрочем, и авангардисту Грановскому работы Шагала показались недостаточно авангардными. Время торопилось вперед, как писал в ту пору Эренбург...

Видя, как мается на суровом севере никому не нужный экспрессионист-парижанин, поселившийся в скудной подмосковной Малаховке и уныло преподававший рисунок военным сиротам, сердобольный Луначарский посоветовал Шагалу уехать на выставку куда-нибудь западнее, скажем, в Каунас к милому авангардисту Балтрушайтису, а может, и еще дальше, туда, где нас (большевиков) еще нет. Разумно послушавшись совета старшего, упаковав скромные пожитки и картины, Шагал с семьей сел в поезд и, не задерживаясь в Каунасе, добрался в до боли знакомый Париж, где дела его пошли помаленьку на лад: Парижу его яркая живопись, полеты с нежной Бэллой и «русские» деревни пришлись ко двору. Это, наверно, и была в представлении парижан та жуткая экзотическая Сибирь, о которой писал Сандра...

Надо сказать, что Шагалу повезло несказанно. Особенно если вспомнить, как плохо кончили в России почти все его обидчики, крутые авангардисты. Им в скорости стало так плохо, что никакой Луначарский не мог их спасти. Ну а к странному, нежному и мирному художнику Шагалу из нищего «Улья» и незабываемого витебского местечка со временем пришел настоящий успех, который не оставлял его на всем протяжении всей долгой жизни. Каких только почетнейших заказов он не исполнял, каких всемирно чтимых потолков не расписывал, каких церквей не украшал витражами, каких великих почестей и денег не обрел на долгом своем пути! А уж посмертный его успех и вовсе превзошел все возможные ожидания, так что скромная могила Марка Шагала и его второй жены Валентины Бродской (из семьи знаменитых табачных фабрикантов) на деревенском кладбище Сен-Поль-де-Ванса входит в число объектов обязательного посещения для всякого человека с законченным и даже незаконченным образованием. Это всем на берегу известно...

Гораздо менее известно, что на том же маленьком кладбище Сен-Поль-де-Ванса, в могиле семейства Лаффит похоронена уроженка города Киева СОФЬЯ ГРИГОРЬЕВНА ЛАФФИТ (1905–1979). После революции она эмигрировала в Берлин, а оттуда в Париж, где училась в Сорбонне и в Школе восточных языков, работала в Национальной библиотеке Франции и создавала там Славянский отдел, которым и руководила долгое время. Она была также вице-президентом Института славяноведения в Париже, написала несколько монографий о русских писателях и поэтах (Блоке, Толстом, Чехове, Ахматовой и Есенине), была награждена орденом Почетного легиона. В Париже Софья Григорьевна познакомилась с молодым сыном художника из Сен-Поль-де-Ванса Пьером Лаффитом и вышла за него замуж. Со временем ее муж стал сенатором от департамента Вар, одним из авторов и создателей здешнего «Латинского квартала в зарослях», некоего подобия американской Силиконовой долины, на Лазурном Берегу к северу от Антиба. Софья Григорьевна активно помогала мужу в его трудах, приглашая знаменитых русских гениев выступать в этом ривьерском очаге высокой учености и культуры. Безжалостный рак вдруг скрутил ее в расцвете лет, и сенатор Лаффит овдовел. Он и привел меня на здешнее кладбище, к семейной могиле Лаффитов, у которой мы с ним постояли молча в ослепительном сиянии осеннего дня...

А в его кабинете, в домике у автобусной остановки в лесу, где шофер объявляет в микрофон: «Площадь Софи Лаффит», – я увидел над письменным столом большой портрет его незабываемой русской жены. Собственно, и сама ведь здешняя Силиконовая долина носит ее имя: «София Антиполис». Когда посетите знаменитую могилу Шагала, отыщите рядом и семейную могилу Лаффитов...

От живописного горного гнезда художников Сен-Поль-де-Ванса, парящего в обрамлении старых стен и кипарисов над лимонными рощами и целым морем цветов, мы пешком (тут всего три-четыре километра) доберемся до столицы этого края, живописного городка Ванса,

климат которого считается столь целительным, что даже обитатели Ниццы выезжали когда-то сюда «на дачу». Городок сохранил средневековые дома и развалины, ворота и стены XIII века, кафедральный собор XI века и фонтаны, проглядывающие сквозь вереницы апельсиновых деревьев. Старинный Ванс (древнеримский Винитиум) был городом знаменитых епископов, два из которых канонизированы, один стал в XVI веке Папой, а еще один прославился как поэт и член Французской академии.

Что касается чудного климата и заботы о здоровье, то как ты его, здоровье, не береги, конец наступает даже самых знаменитых и осторожных пациентов, хотя бы и в райском Вансе. Здесь угасли в окружении сочувственных родственников и литературных собратьев знаменитый Дэвид Герберт Лоуренс (автор романа «Любовник леди Чаттерлей»), а также гениальный польский писатель Витольд Гомбрович. Последний здесь и похоронен. Впрочем, на скромном этом кладбище завещала похоронить себя со всей возможной скромностью и ярчайшая петербургско-парижская звезда, балерина и муза-вдохновительница русского «серебряного века» ИДА РУБИНШТЕЙН (1883–1960). Уставшая от жизни Ида просила начертать на своей надгробной плите лишь две французские буквы – I.R., но слава нагнала ее и за гробом, так что теперь там много чего написано, на этой могилке номер пять шестнадцатого участка... Да и хватило бы всего двух нерусских букв для прославления той, кого русская эмигрантская пресса называла не иначе как «божественной Идой»? Мне как-то попала в руки затертая тетрадка русской «Иллюстрированной газеты» за 1928 год. Газета сообщала, что Ида только что вернулась из триумфального турне по Италии. Репортер спросил ее, не пожелала ли она навестить самого Муссолини, на что «божественная Ида» сказала, что дуче «слишком занят. У него в день по пятьдесят свиданий, а она не привыкла быть пятьдесят первой». И русский читатель верил: нет, не привыкла. И хотя распорядок дня великого дуче мог создавать жесткие ограничения, для «божественной Иды» было сделано исключение.

Ида родилась на Украине в очень богатой семье, получила домашнее образование, говорила на четырех европейских языках, не считая русского, идиша и украинского. Впрочем, счастливое детство девочки Иды длилось недолго, она рано потеряла родителей. Сиротку взяла на воспитание богатая петербургская тетя, которая скоро убедилась, что, во-первых, девочка видит себя красавицей, а во-вторых, считает себя гениальной актрисой. И довольно рано Ида сумела убедить в этом весь мир, потому что была талантливой, трудолюбивой и упорной до одержимости. Она много училась драматическому мастерству – сперва у Юрия Озаровского, потом в Москве у Александра Ленского, потом балетному искусству у знаменитого Михаила Фокина, за которым поехала для этого в Италию. Первое ее сольное выступление не имело успеха, но вскоре она решилась сыграть библейскую Саломею в театре Комиссаржевской, а когда спектакль был запрещен, одна станцевала «Танец семи покрывал» и сорвала бешеные аплодисменты, скинув последнее из покрывал. При этом она в своем танце не кружилась до изнеможения, не была «резвой ножкой ножку», как описывал это занятие А.С.Пушкин... Учитель Иды Михаил Фокин сообщал, что Ида сделала как раз то, чего он от нее ожидал: «... большой силы впечатления она добивалась самыми экономными, минимальными средствами. Все выражалось одной позой, одним жестом, одним поворотом головы. Зато все было точно вычерчено, нарисовано. Каждая линия продумана и прочувствована <...> Какая сила выражения без всякого движения!»

Итак, Ида убедила в своем таланте не только публику, но и бывалого Фокина. И вскоре всех знатоков и профанов она смогла убедить в исключительности своей красоты. «Это была действительно красавица декоративного, ослепительного типа, – писал искусствовед Аким Волинский. – Жизнь на ее лице трепетала зрительно-нервная в вибрациях утонченной неги <...> Ни пятнышка, ни микроба банальности <...> Все окружавшие Иду Рубинштейн в тогдашних театральном-литературных кругах казались ее лакеями, даже Фокин и Бенуа...» Влюбленный Волинский путешествовал с Идой по Европе, влюбленный Лев Бакст придумывал для нее

костюмы, а в Париже она имела шумный успех в «Клеопатре» у Дягилева. Потом Ида танцевала на сцене Гранд-опера, еще позднее создала французскую драматическую труппу, снималась в кино, создала свой знаменитый «Балет Иды Рубинштейн», где работали у нее и Фокин, и Бакст, и Бронислава Нижинская. Для нее писали музыку Стравинский и Равель (в частности, сверхпопулярное «Болеро» последнего).

Ида поздно ушла со сцены. Она обратилась в католичество (как раньше крестилась в православие), а в кровавые годы Первой и Второй мировых войн была сестрой милосердия. И всегда, как многие русские красавицы в эмиграции, занималась благотворительностью. О ней часто писали в журналах, еще чаще художники рисовали ее портреты. Ида Рубинштейн, увековеченная на портрете Валентина Серова, конечно же обрела большую славу, чем чудная балерина в балете Сергея Дягилева...

Последние десятилетия своей жизни Ида Рубинштейн прожила в благословенном Вансе, где и похоронена. Металлическая дощечка, прикрепленная какими-то благожелателями к ее надгробной плите, упоминает о каких-то еще и других малоизвестных ее добрых делах из времен последней войны:

ИДА РУБИНШТЕЙН

1960

Ветераны стрелки-истребители группы «Альзас» своей покровительнице в годы войны

На кладбище в Вансе похоронен также известный художник АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГРИЩЕНКО (1883–1977). Он родился в семье служащего под Черниговом, рано осиротел, рос на попечении вдовой матушки с девятью сестрами и братьями. Из девяноста четырех лет своей жизни почти семьдесят он провел в Париже или на юге Франции и умер в ривьерском Вансе. Его картины охотно включают в каталоги русской и французской живописи, но он сам с определенностью считал себя украинским художником и с упорством примыкал ко всем украинским сообществам, будь то в Париже или в Нью-Йорке.

Учиться он начинал в черниговской семинарии, а продолжал в Полтаве. Потом в Киеве, Москве и Петербурге учился на биолога и на художника. За свой долгий век Грищенко немало поездил по свету, да и выставлялся не только в Париже, Страсбурге, Лиможе или Кань-сюр-Мер, но и за пределами Франции. Особенно тесно он связан был с Американским украинским институтом, при котором больше полвека тому назад основал Фонд Грищенко. Согласно завещанию художника, вся американская коллекция его картин была в 2006 году передана Национальному художественному музею в Киеве.

В молодые годы Грищенко учился живописи у Юона, Машкова, Кончаловского и других мастеров, с неизбежностью отдал дань всем «измам» «серебряного века», участвовал в многочисленных выставках «нового» искусства России («Свободного искусства», «Бубнового валета», «Мира искусства»), писал искусствоведческие статьи и манифесты, излагая в них идею «цветодинамос» – свою теорию о природе цветового восприятия (например, манифест «Цветодинамос и тектонический примитивизм», статья «Цветодинамос»). Впрочем, и мани-

фест, и статья эта появились уже на исходе блаженной вольницы «серебряного века», и как человек, тонко чувствующий веянье времени и заранее улавливающий сгущавшийся в условиях окрепшей диктатуры запах тюремной камеры, Грищенко уже в 1919 году двинулся «с милого севера в сторону южную» – через Киев и Севастополь в Константинополь. Конечно, он не только бежал, спасаясь от насильников, но и без конца работал, а в Константинополе сумел продать американцу-археологу 66 своих новых акварелей, что позволило ему уехать на полтора года на этюды в Грецию. В 1921 году он приехал в Марсель и на добрых 56 лет поселился во Франции. Став признанным мастером морских пейзажей, он продал 17 своих работ известному коллекционеру Барнсу, укрепив свое положение. Теперь он мог жениться, и ему отыскалась знатная французская невеста с красивым пейзажным именем Ли́ла (что значит сирень). Он жил с ней в самых замечательных, давно уже облюбованных художниками всего мира уголках французского Юга – сперва добрых пятнадцать лет в Кань-сюр-Мер, где так прозрачен раскаленный полуденный воздух, потом в Стране басков, в Сен-Жан-де-Люсе, потом в Оверни и в теплом, щадящем Вансе, где я долго искал его могилку на местном кладбище. Чтоб вам так долго не искать: ее номер тридцать четыре на пятом участке.

Помнится, в первый раз, устав ее искать и услышав неподалеку русскую речь, я обратился за помощью к незнакомым соотечественникам, украшавшим чью-то свежую могилу. Я приметил имя на временной дощечке недавно усопшего – Евгений Петриковский. Когда я стал рассказывать в Ницце об этой своей поездке в Ванс художнику Алексею Оболенскому, он пришел в необычайное волнение. «Это же был известный здешний коллекционер живописи, этот Петриковский!» – воскликнул Алексей Львович. Позднее я случайно нашел упоминание о Петриковском в последнем сочинении когда-то очень популярного автора (творца Штирлица) Юлиана Семенова. Уже в полузабытые времена, когда щели в «железном занавесе» были так редки и узки, этот лихой журналист, издатель, драматург и прозаик колесил на своей машине по Европе в поисках самых рискованных встреч и приключений, истинных и мнимых сокровищ. Так вот, в последней книге, написанной незадолго до его безвременной и вполне загадочной смерти на больничной койке (последовавшей буквально за час до возможного разоблачения им неких опасных тайн), Семенов цитировал свое совместное с бароном Фальц-Фейном (вместе с которым он искал по свету знаменитую «янтарную комнату») письмо в Министерство культуры СССР от 31 августа 1980 года. Прочитую и я это письмо, ибо, как обнаружилось, Министерство культуры и другие серьезные организации задолго до меня слышали о Петриковском, человеке, на свежую могилку которого я случайно набрел в Вансе. Вот что писал в нем почтенный лихтенштейнский барон фон Фальц-Фейн:

...я и мой друг Юлиан Семенов продолжили нашу работу по поиску, выявлению и охранению произведений отечественного искусства [тут от лица барона грамотно обозначена цель совместных странствий. – Б.Н.] На Лазурном берегу, в Вансе <...> мы посетили дом г-на Петриковского, где собрана уникальная коллекция русской живописи – Репин, Левитан, Саврасов, Степанов, Малявин, Сверчков, Пастернак, Федотов, Лансере.

Г-н Петриковский трудился всю жизнь, создав ферму куроводства, и на заработанные деньги смог купить свою коллекцию. Ныне он стар и тяжело болен, и нам пришлось вести переговоры о судьбе картин с его женою – немкой, которая выучила русский язык. Переговоры, которые мы провели, позволяют надеяться, что судьба полотен выдающихся русских живописцев находится под нашим контролем и мимо нас в будущем не пройдет.

Дочитав это письмо, я подумал, что счастливо отделался там, на кладбище, привязавшись со своими расспросами к удрученным родственникам... Ох уж эта моя врожденная экстравертность! Да и стоит ли на ночь читать ужастики про смерть бедного Юлиана Семенова, про его отравленного «совершенно секретного» замглавного, про его нового сотрудника Артема Боровика и целую вереницу «не до конца выясненных» обстоятельств. При таком скоплении случайных смертей и «невыясненных обстоятельств» легко понять авторов «Биографического словаря русского зарубежья», которые в статье о Евгении Карловиче Петриковском даже не упомянули о главном увлечении его жизни, о его «уникальной коллекции», и, конечно, о неизбежных страстях и опасностях, которые таит возня вокруг ценных коллекций в нынешнем мире. Даже о его куроводстве они не упомянули. Зато авторы словаря справедливо отметили, что **ЕВГЕНИЙ КАРЛОВИЧ ПЕТРИКОВСКИЙ** был меценат и благотворитель, жертвовал на нужды дома престарелых в Грассе, где было много русских обитателей, а также на нужды Союза русских инвалидов (а их после долгих невзгод прошлого века было предостаточно). Да и на организацию благотворительных концертов в пользу бедствующих соотечественников не жалел он ни сил, ни времени. Что же касается разведения кур, то этот промысел многих россиян из вполне высокого (и даже придворного) общества выручал беженцев в эмиграции, а в войну столь значительный приносил доход, что и на главное увлечение Е.К. Петриковского, коллекционирование живописи, покупку русских картин денег ему хватало... В своей последней книжке («Лицом к лицу») писатель Юлиан Семенов вполне идиллически описывает их с бароном Эдуардом Фальц-Фейном визит в дом Петриковского – потрясшую гостей коллекцию русской живописи, верную собаку хозяина, его супругу-немку, которую звали для простоты «мадам Петри», и еще бодрого в ту пору хозяина, который, если верить писателю, сам готов был снимать со стен бесценные полотна, раз уж выпала бесценная оказия немедля отослать их все на родину, в родной Киев.

Хозяйка против мужниных разорительных безумств якобы не возражала, но все же хотела для начала посоветоваться с дочкой. В письме, которое нагрянувшие в дом Петриковского искатели сокровищ адресовали по свежим следам в советское Министерство культуры, все представало, если помните, не так головокружительно. Напомню, что вдобавок к письму неугомонный Ю. Семенов успел тут же создать некий общественный «Комитет за честное отношение к русскому наследию», в который убедил вступить не только своего спутника-барона, но еще и писателя-коммуниста Джеймса Олдриджа, французского писателя Жоржа Сименона (автора четырех сотен криминальных романов, такого же, как сам Семенов, труженика и затейника), а также самого всемирно известного Марка Шагала. Понятно, что с наибольшим энтузиазмом воспринял это начинание сам барон Эдуард фон Фальц-Фейн. Он, кстати, надолго пережил всех попутчиков, набранных Семеновым в комитет (в том числе, и самого Семенова). Совсем недавно, отмечая свой сотый день рождения, барон сообщил корреспондентам, приглашенным им на празднование своего юбилея в княжество Лихтенштейн, что он еще способен регулярно заниматься спортом и любовью, что ему удалось отправить на родину (в рамках все того же «честного отношения к русскому наследию») около двух сотен произведений и что один из портретов даже сумел дойти до адресата, крымского музея в Алушке. О странствиях других отправленных предметов пока сообщается с меньшей определенностью. Наиболее надежным на этот счет мне показалось почти научное сообщение, появившееся в научном журнале «Биология» (раздел «История науки»), где было сказано, что упомянутый барон «помог возвратить на родину картины Айвазовского, рисунки Репина, Ларионова, Бенуа, часть которых снова потеряли в той же Аскании». Нельзя ли причислить коллекционерство к опасным профессиям, мой мирный читатель, мой спутник-паломник?

Одним из самых живописных уголков Лазурного Берега на пути из Ванса в Ниццу является парящий в высоте над берегом старинный центр городка Кань-сюр-Мер, так называемый

Верхний Кань, с его замком рода Гримальди. От замка, с площадей и улиц этого живописного Верхнего города открывается потрясающий вид на горы и море. Художники всего мира уже в начале прошлого века обожали Верхний Кань, писали здесь картины, селились близ замка. Один из проезжих иностранцев (американский писатель Генри Миллер) писал отсюда в письме на родину: «Художникам тут здорово. Прозрачнее воздух и представить себе трудно. Почти как в пустыне».

В 1927 году на одной из улочек, прилегающих к здешнему замку, поселился замечательный русский художник БОРИС ДМИТРИЕВИЧ ГРИГОРЬЕВ (1881–1939). До сих пор в названии этой виллы слышны имена русского художника и его супруги Эллы – «Бориселла».

Борис Дмитриевич Григорьев родился в большом, но далеко не самом живописном волжском городе Рыбинске. Молодая шведка родила его русскому чиновнику вне брака, так что до четырех лет мальчик считался безотцовщиной. Может, именно рыбинское сиротство и детские обиды наложили столь мрачный отпечаток на весьма непростой характер взрослого художника Григорьева, но, возможно, был этот характер платой за его редкостный талант. А талант у него был, по признанию современников, блистательный. Максим Горький, портрет которого так удался Григорьеву, написал, что художник Григорьев «талантлив удивительно». Учился молодой Григорьев в Строгановском училище в Москве, потом в Петербургской Академии художеств. Рано (с 1909 года) выставлялся на столичных выставках, был участником художественных экспериментов «серебряного века», близким к кругу отчаянного генерала-авангардиста Кульбина, завсегдатаем кабаре «Бродячая собака», а позднее вместе с Судейкиным и Яковлевым расписывал новое петроградское кабаре Пронина «Привал комедиантов»...

Григорьев рано прославился верностью рисунка, парадоксальным юмором, отчаянным трудолюбием, а побывав в 1913 году в Париже, привез с ходу прославившую его замечательную серию парижских пейзажей. Он писал замечательные портреты тогдашних знаменитостей, исполненные лукавого гротеска, почти карикатурные, но несколько не обижавшие модель, а передававшие жизненную роль, идею, литературу... Даром, что ли, многие из знатоков называли его живопись то «литературной», то «идейной», однако самого Григорьева не задевали эти звучащие для многих художников уничижительно определения. К письму и всякой «литературе» Григорьев питал истинную слабость и, получив какое-либо письмо от литератора, заваливал неосторожного корреспондента бесчисленными восторженно-сумбурными письмами, полными рассуждений о своей обостренной (как у всякого полукровки) «русскости». Вряд ли кому удалось одолеть в чтении весь «корпус» его переписки с А. Бенуа, М. Горьким, Е. Замятиным, Н. Евреиновым, Н. Рерихом, В. Каменским.

Борис Григорьев любил выпускать альбомы рисунков и живописи, сопровождаемых чужими и собственными текстами. В 1918 году вышли его альбом «Intimite» и знаменитый альбом «Расея», где предстала взбудораженная (и неприглаженная) северная (где-то близ Вытегры) деревенская Русь послереволюционного времени, зрелище отнюдь не слабое, скорее, устрашающее. Григорьев был тогда очень в моде. Большевицкая власть привлекла его к украшению столицы в первую годовщину Октябрьского переворота. Однако в самый разгар всех своих успехов, в 1919 году, Борис Дмитриевич Григорьев, посадив в лодку жену Эллу и четырехлетнего сына Кирилла, вдруг отчаянно погреб по глади Финского залива в сторону Финляндии.

После Финляндии были Берлин, Париж, Сантьяго, Нью-Йорк... Григорьев писал портреты, декорации, он имел бешеный успех, критика превозносила его мастерство, его «мудрую линию» (по словам художника, «ироническая гипербола делает линию мудрой»). Да он и сам писал о своем искусстве в письмах друзьям и коллегам без лишней скромности: «...сейчас я первый мастер на свете <...> я не боюсь любого конкурса, любого заказа, любой темы, любой величины и любой скорости». Новый альбом Григорьева «Лики России» выходил с текстами

на английском, французском и немецком. И вот, как я писал, в 1927 году Борис Григорьев купил виллу близ замка Гримальди в Старом городе Кань-сюр-Мер и назвал ее «Борисэлла».

Конечно, он хотел бы вернуться на родину, но – получив хоть какие-нибудь гарантии безопасности и уважения к таланту. К тридцатым годам, однако, художник успокоился: выпустили во Францию писателя Замятина, и тот, подолгу живя у Григорьева, успокоил его, что никаких гарантий «уважения к таланту» он в большевистской России не получит.

Григорьев выпускал новые альбомы, уплыл за океан, преподавал в Сантьяго, был деканом художественной академии в Нью-Йорке, а когда наконец вернулся на свою виллу на склоне горы близ замка Гримальди, его вдруг скрутил рак желудка. Он был похоронен на местном кладбище у замка. Потом в ту же могилу легла его вдова...

Через полвека после смерти Бориса Григорьева я набрел однажды на виллу «Борисэлла» и был приглашен в дом сыном художника Кириллом, доживавшим одиноко в совершенно пустом и нищем доме: все, что можно было продать, проесть (а главное, пропить), было им давно продано, и проедено, и пропито. В прежнем кабинете отца стоял на полке единственный уцелевший портрет, совсем небольшой, а на столе лежала единственная уцелевшая открытка, написанная рукой Горького. Сегодня вся семья художника вместе – слева от входа на кладбище...

Родины дальней цветок на могилы прославленной Ниццы

Кокад

Спустившись от стен замка к морю, отправимся на восток. Несмотря на краткость нашего путешествия (каких-нибудь восемь километров), мы успеем пересечь реку Вар, переместиться из департамента Вар в департамент Приморские Альпы, даже въехать в пределы самого многолюдного города Французской Ривьеры. Тут мы и остановимся, в западной части Ниццы, в районе Кокад, на месте бывшего местечка с тем же названием, где с позапрошлого века разместились второе по значимости во Франции обиталище наших усопших соотечественников, русское кладбище Кокад (или Николаевское кладбище). Первое описание его вышло в свет в Петербурге сто лет тому назад, и я не устою перед искушением (подобно известному ученому-некрополисту, выпустившему новое описание того же кладбища в 2012 году в Москве) процитировать здесь вступительное слово к тому старому справочнику, написанное протоиереем А.П. Мальцевым:

В недалеком расстоянии от города, в местности, называемой Кокад (1/2 часа езды в экипаже), находится устроенное в 1865 г. на пожертвования частных лиц, принадлежащее церкви, *православное кладбище*. По Высочайшему соизволению Императора Александра II кладбище названо Николаевским в память (скончавшегося в Ницце) Цесаревича Николая Александровича. В 1898 году оно увеличено покупкой нового значительного участка земли. Кладбище расположено уступами, в середине помещается *обширная часовня*. Благодаря обилию роскошной южной растительности, кладбище производит впечатление сада: перцовые, оливковые и кипарисные деревья перемежаются пальмами и другими южными растениями, но более всего самых разнообразных роз. Из массы зелени и цветов выступают различных форм белые мраморные памятники, некоторые из них устроены в виде православных часовен. С верхней террасы открывается величественная картина на безграничное лазурное море. Налево расстилается Ницца, где кипит жизнь. До 1865 г. православных хоронили на общем городском кладбище, на горе, называемой Chateau (по существовавшему на ней в прежнее время замку). Не оставивших средств заплатить за могилу опускали в общую могилу (*fosse commune*); с устройством же Николаевского кладбища все неимущие православные, не только русские, но и других национальностей, погребаются бесплатно на средства церкви в постоянных могилах. Допускается, кроме православных, погребение усопших русских подданных и других христианских исповеданий. Тела некоторых усопших перевезены не только из окрестностей Ниццы (Нуверес, Ментоны, Канн), но и из Пизы, Женевы, Парижа и даже Петербурга...

Так вдохновенно, хотя и чуток старомодно, описал это знаменитое обиталище мертвых серьезный автор протоиерей Мальцев, а чувствительная Вера Николаевна Бунина в январе 1932 года, вернувшись на снимаемую ими с Иваном Алексеевичем виллу в Грасс после похорон поэта и писателя Владимира Ладыженского, так рассказывала мужу об этом самом Кокаде:

Кладбище идет террасами. Дорожка замыкается церковью-часовней. Иконостас темный, дубовый <...> Служил священник Любимов. Был и хор. Похоронили так, как дай Бог всякому <...> А мне, Ваня, на Кокаде так нравится, что я бы не имела против лежать там.

Но супругам Буниным не суждено упокоиться на Кокаде. Вообще, на православном кладбище Кокада писателей похоронено сравнительно с Парижем совсем мало (даже и те, что жили в Ницце, не там похоронены), но раз уж речь зашла о писателях и поэтах, начнем с ГЕОРГИЯ ВИКТОРОВИЧА АДАМОВИЧА (1892–1972), человека в эмигрантских кругах широко известного. Он был поэт, но главную свою известность приобрел не стихами, а рецензиями в главной эмигрантской газете «Последние новости» и в журналах, редакторской работой (он возглавлял отделы поэзии в журналах), авторитетом у поэтической молодежи. Он был основателем Цеха поэтов, а затем и Второго цеха поэтов. И еще был знаменит знакомством и сотрудничеством с легендарным поэтом и мучеником Николаем Гумилевым. Отсвет гумилевской легендарности как бы падал на Адамовича до самой его кончины, на пути к которой он прошел не мало излучин и колебаний, вполне, впрочем, предсказуемых, ибо колебался чаще всего с линией моды, с ходом событий и с требованиями эмигрантской публики. При этом он всегда был во главе молодой поэзии, всюду успевал и трудился непрестанно.

Родился Адамович в Москве в дворянской семье (сестра его Татьяна Высоцкая прославилась позднее как балерина), учился в Санкт-Петербургском университете на историко-филологическом факультете и уже в последние годы русского «серебряного века» заявил о себе как о молодом вожде, наставнике и глашатае нового искусства. На Запад он уехал как раз вовремя. В 1922 году он уже был в Берлине, а через год в Париже, где сразу пришелся ко двору. Он был неплохо подготовлен к своей роли вождя эмигрантской поэтической молодежи, красноречив, деятелен и весьма умен. «Неглуп, но штампован», – записала при первом знакомстве с ним жена Вера Николаевна Бунина, имея в виду особый тип петербургских молодых людей «нетривиального поведения». Адамович был неоспоримым лидером молодых русских «монпарно», проводивших вечера на парижском бульваре Монпарнас, писавших стихи и картины, ежевечерне позволявших себе чашечку кофе или рюмку того-другого, но не всегда ужин... Адамович был их мэтр, основатель школы, которую они сами назвали «парижской нотой». Ближайшим его другом и возлюбленным (о чем писал среди прочих затравленный «нотой» молодой Сирин-Набоков) был талантливый Георгий Иванов, имевший также любимую жену, поэтессу Ирину Одоевцеву. Вдобавок ко всем литературным занятиям Адамович был страстным картежником и по вечерам проигрывал все заработанное за день. Помню, как однажды я разговорился возле Свято-Николаевской церкви в Ницце с симпатичным русским прихожанином этого храма, и он вдруг спросил у меня, не хочу ли я купить у него черновые тетради Адамовича. Тетради мне были не нужны, но я спросил из любопытства:

– Выигрыш в карты?

Собеседник удивленно подтвердил нехитрую мою догадку, а я вспомнил, что в Ницце у Адамовича жила тетушка, бывшая замужем за богатым англичанином. Окончательно проигравшись, Адамович приезжал к тетушке в Ниццу подкормиться и восстановить здоровье и смертельно скучал при этом по Монпарнасу... Сюда он и приехал доживать свои последние годы. Впрочем, Анна Ахматова рассказывала, что он еще водил ее однажды по Парижу в 1965 году; это было за семь лет до его смерти. В последние годы жизни Адамович еще выступал на несоветском радио «Свобода». В передаче он вдруг и похвалил нового классика Набокова, с которым так бешено враждовал в лучшие свои годы. Впрочем, станция «Свобода» пригодилась для заработка уже в самом конце пути, а после войны Адамович еще побывал ярим советским патриотом и написал восторженную книгу о Сталине. Бывший друг Адамовича Георгий Иванов объявил тогда этот поступок «концом Адамовича», однако уже и после смерти Иванова было очевидно, что Адамович успеет еще не раз изменить способ выживания. Он готов был

согласиться с Пушкиным в том, что «не продается вдохновенье», но что-то он все-таки должен был продавать, нищий эмигрантский литератор. Если и не рукопись, то хотя бы голос, мнение, нажитый авторитет. Многолетнюю власть в видной эмигрантской газете... Кое-чему Адамович, впрочем, оставался верен до конца жизни – своей любви к поэзии, пристрастию к литературным интригам и, конечно, к картам... Хорошо было Набокову, который играл так умеренно и не любил ресторанчиков с музычкой.

В 50-е годы невыносимую скуку Ниццы скрашивали Адамовичу беседы с известнейшим писателем русской эмиграции МАРКОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ АЛДАНОВЫМ (1886–1957). Алданов снисходительно относился к шалостям Адамовича и рад был разговорам о страстно обожаемой обоими литературе. Встречались они обычно в композиторском квартале, неподалеку от улицы Клемансо, где жил последние годы своей жизни с женой Татьяной Марковной быстро стареющий, но все еще неутомимый Марк Александрович.

Алданов (фамилию-псевдоним он себе соорудил из букв вполне симпатичной фамилии Ландау) был сыном богатого сахарозаводчика из Киева. Посмертно он разместился тоже не слишком далеко от Адамовича, в семейном склепе на французском Кокаде. Встречи и беседы с Адамовичем проходили в угловом кафе на скверике Моцарта. Часто проходя через этот сквер на пути к морю, я присаживаюсь за столик и размышляю, о чем они могли говорить. Конечно, о кумире Алданова, о котором он бесконечно и захлеб разговаривал с Буниным, Льве Николаевиче Толстом и его великом произведении «Война и мир». О фатализме истории, в котором, вслед за Толстым, убежден был и Алданов, об ее иррациональности, об исторических персонажах, о которых никто так хорошо и часто не писал, как Марк Алданов.

Алданов пользовался несравненной и бесспорной популярностью в эмиграции и как человек, и как писатель. Как писателя его упрекали (иногда вполне справедливо) только Георгий Иванов и Марина Цветаева, но думаю, что оба испытывали при этом раздраженную зависть к безупречной порядочности Марка Александровича. Адамович, преодолевая эту слабость, писал об Алданове как единственном русском европейце и последнем джентльмене эмиграции. Совершенно так же говорила мне об Алданове на девятом десятке своей жизни милая моя подруга Татьяна Алексеевна Осоргина-Бакунина. С изумлением рассказывала она, что, когда французское правительство предложило и Алданову возместить потерю его разграбленной немцами библиотеки, тот отказался брать деньги у правительства, в котором все эти благородные жесты исходили от поклонника Петена Франсуа Миттерана. Алданов вообще был брезглив и прятал руку при встрече с людьми «нерукопожатными». Думается, для скучающего Адамовича он делал исключение все из-за этой вот общей их страсти к литературе, но в карты, к сожалению для Адамовича, Алданов не играл. За карточным столом из своих врагов он мог встретить только Ходасевича.

После блестящего окончания гимназии во Львове Марк Алданов поступил сразу на два факультета Киевского университета: на юридический и физико-математический (по отделению химии). Уже до окончания университета он успел напечатать первую научную статью, потом работал в химической лаборатории в Париже. С началом Первой мировой войны вернулся на родину и занялся разработкой способов защиты от химического оружия. Конечно, он был противником войны и солидным ученым, знающим юристом, но страсть к литературе уже тогда брала верх, и в 1915 году он выпустил книгу о Толстом и Роллане. Конечно, он был «левый», социалист, но уже тогда оказался достаточно зрелым, чтобы не принять революцию и написать об этом «Армагеддон». В 1919 году он через Константинополь добирается до Парижа и здесь, вдобавок к своим украинским факультетам, заканчивает еще Школу социальных и экономических наук. В первые годы он отдает дань российским впечатлениям, пишет по-русски и по-французски книги «Ленин», «Две революции», «Огонь и дым», но продолжает усердно работать в области физической химии. Однако успевает и редакторствовать в журнале «Грядущее России». Год спустя он почти на два десятилетия становится сотрудником популярнейшей

газеты эмиграции «Последние новости» и ее популярнейшего литературного журнала «Современные записки». Два года он проводит в Берлине, где редактирует литературное приложение к газете «Дни», а уж потом на многие десятилетия (с перерывом на американские военные годы) до самой смерти остается во Франции.

Потрясающе плодовитый и безотказно работоспособный, Алданов создает тетралогию «Мыслитель» (исторические романы «Святая Елена, маленький остров», 1921 г., «Девятое термидора», 1923 г., «Чертов мост», 1925 г. и «Заговор», 1927 г.). Никогда не забуду первую из этих книг, взятую мною на дом в парижской Тургеневской библиотеке, активнейшим сотрудником которой был, конечно, и Алданов. Книга была, как и остальные книги этой серии, о великой и проклятой французской революции, а на первой ее странице я прочитал дарственную надпись: «Дорогому Ивану Алексеевичу от автора». Так началась моя парижская жизнь, с блестящей книги Алданова, подаренной блистательному Бунину. Бунин, кстати, читал все, что писал Алданов и с нетерпением ждал продолжения в каждом новом журнале. Став нобелевским лауреатом и получив право выдвижения на премию, Бунин шесть раз выдвигал Алданова, но ни Алданов, ни выдвинутый Солженицыным Набоков премии не получили.

После тетралогии о XVIII веке Алданов сел за трилогию о русской интеллигенции, о революции и изгнании: романы «Ключ» (1930), «Бегство» (1932), «Пещера» (1933). В 1950 году он написал роман «Истоки». Критика уже тогда находила блестящим эпизод убийства императора Александра II. Позднее появились «Начало конца», «Живи как хочешь» и «Самоубийство». В алдановских романах о таком важном периоде русской истории любой добросовестный критик отметит скрупулезную верность документам, огромную работу над архивами, фатализм, признание иррациональности потока жизни, тщательный и скептический анализ мотивов исторических фигур, удачу в создании многих литературных портретов – Наполеона, Бакунина, Муссолини и даже Ленина. Прозу Алданова ценили такие эстеты, как упомянутый уже Бунин, Ходасевич, Набоков.

Кроме романов Алданов написал множество биографических повестей – о Микеланджело, Байроне, Бетховене, Ломоносове – и несколько книг эссе, среди которых великолепная «Ульмская ночь. Философия случая» (1953). Кстати, он оказался не худшим из футурологов: верно предсказал исход «холодной войны», и с сожалением – распад Советского Союза. При всем этом он не переставал работать химиком, написал солидные труды, получившие доброжелательную оценку ученых: «Актинахимия» (1937) и «К вопросу о возможности новых концепций в химии» (1951).

Как многие русские люди двух последних столетий, мечтающие о братстве и терпимости, Алданов в эмиграции вступил в масонскую ложу, был одним из основателей ложи «Северная звезда» (можно вспомнить, что масонами были и Грибоедов, и Пушкин, и Карамзин...). В 1940 году Алданов, спасая жизнь, уплыл за океан, в Нью-Йорке участвовал в создании нового русского журнала, продолжал писать, как всегда, был активным общественным деятелем и благотворителем. Он вернулся во Францию в 1947-м и поселился в Ницце. Вероятно, здоровье его уже не выдерживало парижского ритма, писательского, редакторского труда и научного, безудержной общественной работы. Ведь до войны он входил в правление Парижского союза русских писателей и журналистов, заведовал литературным отделом газеты «Дни» и литературно-критическим отделом газеты «Возрождение», был членом редколлегии газеты «День русской культуры» и не пропускал дискуссий на воскресеньях Мережковских и молодежных собраниях журнала «Числа». Состоял членом Общества друзей русской книги, членом Общества Тургеневской библиотеки, Союза деятелей русского искусства и Общества помощи больным и нуждающимся русским студентам и так далее и так далее. Он всем был нужен, и к нему все прибегали за помощью. Понятно, что в Ницце, где не было почти ничего, кроме Исторического общества да театрального кружка, он с неизбежностью приходил на площадь Моцарта поболтать с Адамовичем, кстати, написавшем о нем восторженную книгу. «О, это был такой

благородный человек, – говорила мне об Алданове 90-летняя Татьяна Алексеевна Бакунина. – Я таких просто не видела». А уж она насмотрелась на благородных людей эмиграции и в окружении своего мужа Михаила Осоргина, и в своей библиотеке, главном прибежище читающего эмигрантского Парижа.

Похоронен Алданов не на православном, а на французском Кокаде.

Среди пишущих людей, погребенных на православном Кокаде, княгиня ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА БЕБУТОВА (1879–1952). При рождении она была Данилова, в первом браке Бебутова, во втором – Сологуб, в третьем стала Скроботовой. С начала XX века стала модной писательницей, но до этого выступала как актриса на сцене Александрийского театра и Литературно-художественного общества (под сценическими псевдонимами Гуриелли и Гурская), была прекрасной женщиной, обремененной многими талантами. Над стилем своих романов она не особенно мучилась: графы и графини выходили из экипажей, садились в автомобили и говорили приятные, всем знакомые слова. Уже заглавия ее произведений предупреждали читателя о предстоящих ему приятных волнениях: «Муки страсти», «Вампир. Роман из литературной жизни Петербурга», «Дочь падшей». Зато те, кто жаждали описаний красивой жизни, не были обмануты в своих ожиданиях: «В сияющие южным солнцем дни спортивная и фешенебельная Ницца переполняла этот модный уголок. <...> ОТЕЛЬ. Роскошный, фешенебельный, многоэтажный, на залитом солнцем морском берегу <...> Здесь – сердце ликующей Ниццы».

Недавно я взял почитать роман Бебутовой «Лазурный берег» в приходской библиотеке на рю Лоншан (в самом «сердце ликующей Ниццы»), и вот тут-то доселе чужая зависти душа моя вдруг потемнела от этой самой зависти: книжка была зачитана до дыр и замаслена прикосновением послеобеденных пальцев до полной неразличимости текста. Мои-то питерского издания книжечки в той же библиотеке сверкали нетронутой чистотой.

К могиле действительного статского советника ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЖЕМЧУЖНИКОВА (1830–1884) привел меня однажды один из любопытнейших людей в Ницце, смотритель кладбища Кокад ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВЕРЕВКИН (1930–2007), в ту пору для большинства из знакомых в Ницце просто Женя Веревкин. «Вот это, – сказал Женя, подводя меня к могиле, – это был тоже, как вы, писатель. Козьма Прутков. Да и я тоже, как вы, интересуюсь, разгадываю...»

Сообщение это я тогда, каюсь, воспринял скептически, поскольку Женя уже не раз подводил меня со своими кладбищенскими открытиями. И то правда, проверить эти сведения ему было нелегко, так как с библиотеками не только на Кокаде, но и в Ницце не просто. Но на сей раз Женя оказался прав: чиновник Министерства почт и телеграфа, действительный статский советник Владимир Жемчужников, похороненный в этой могиле, действительно был одним из авторов замечательных «Сочинений Козьмы Пруткова».

История эта началась в середине позапрошлого века, летом, на отдыхе, в блаженной усадебной глуши Орловской губернии. Молодые братья Жемчужниковы и их друг поэт Алексей Константинович Толстой, отдыхая у себя в имении, веселясь, загорая, плавая, балагуря, со смехом читая в журналах поэтические пиесы лишенных юмора знаменитостей, полные напыщенных размышлений и патриотических восторгов, – произведения Хомякова, Бенедиктова или Щербины, решили придумать своего собственного персонажа, некоего выпяренного поэта-философа, по главному занятию министерского чиновника, на досуге изрекающего всякие мудрые мысли, сочиняющего басни на манер Эзопа или дедушки Крылова, а может, также драмы или государственной важности трактаты. Так вот и появился на свет летом 1851 года высокомерный «директор Пробирной Палатки» Козьма Прутков (имя он, впрочем, получил лишь год спустя, сперва звался Кузьмой, как почтенный камердинер в их имении, потом стал Козьма, что звучало возвышенней).

С каждым годом коллективного творчества этот персонаж становился все реальней, надменной и требовательней. Он обрастал подробностями характера, а жизнь его отцов и созда-

телей (прежде всего Алексея и Владимира Жемчужниковых и Алексея Толстого) шла своим чередом. Самый молодой из них, Владимир Жемчужников (тот, что ныне лежит на Кокаде), выйдя из Кадетского корпуса, поступил в Петербургский университет, закончил там филологический факультет и уехал в далекий город Тобольск служить адъютантом у генерал-губернатора. Еще через год он ушел ополченцем на Крымскую войну, служил в Стрелковом Императорской Фамилии полку, а после войны директорствовал в частном пароходстве и много-много лет служил в разных министерствах и канцеляриях, в том числе возглавлял канцелярию в Министерстве почт и телеграфа. Он дослужился до звания действительного статского советника, но в российскую историю вошел не как высокий образец чиновника на государственной службе, а как один из авторов коллективных «Сочинений Козьмы Пруткова», в том числе как автор многих прославленных изречений этого мифического персонажа. Иные из этих афоризмов так органично вошли в русскую речь, что многие лица, их употребляющие, пребывают в полной уверенности, что это просто-напросто старинные перлы народной мудрости. Например, «никто не обнимет необъятного», «заткни фонтан, дай отдохнуть и фонтану», «зри в корень», «если хочешь быть счастливым, будь им» и еще и еще...

Уже в студенческие годы Владимира Жемчужникова соученики и родственники отмечали в его поведении недюжинный дар актерства, подражания, пародии, что сгодилось ему вскоре для его литературных упражнений. И если постоянные соавторы Владимира по «Козьме Пруткову» (брат-поэт Алексей Жемчужников и поэт Алексей Константинович Толстой) издавали в те же годы и другие книги, то Владимир Жемчужников был верен лишь своему главному герою, собрату-чиновнику, своей жертве-канцеляристу. Зато и главная заслуга в том, что имя этой горделивой канцелярской крысы стало в России мифическим, принадлежит в наибольшей степени труженику канцелярий и писателю Владимиру Жемчужникову, имя которого безмерно уступает в популярности имени героя. В потоке изречений Козьмы наряду с абсурдом и благоглупостями блистают иногда истинные сокровища здравого смысла, а иные рассуждения его (несмотря на неизбежную эволюцию чувства юмора) и нынче сохраняют свежесть. Скажем, рассуждение о «патриотическом предпочтении даже худшего родного лучшему чужестранному». Вот истинный патриотизм! Или взять суждение о специфике исконного нашего свободолубия: «Нет на свете государства свободнее нашего, которое, наслаждаясь либеральными политическими учреждениями, повинуетя вместе с тем малейшему указанию власти».

Имевшие шумный успех «Сочинения Козьмы Пруткова» были изданы двенадцать раз еще до революции. Их тогда уже охотно растащили на цитаты и в русской прозе, и в разговорной речи, о них много писали и после 1917 года, особенно в пору «оттепели». Критики видели место редкостного русского автора-насмешника где-то между Гоголем и Чеховым. А милый человек Владимир Михайлович Жемчужников бросил службу в канцелярии, оставил губительный петербургский климат и уехал хворать на Лазурный Берег Франции. Там он и помер, в теплой Ментоне, на пятьдесят пятом году жизни.

Из не слишком многочисленных русских писателей, похороненных на православном Кокаде, чаще других современники поминали добрым словом ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЛАДЫЖЕНСКОГО (1859–1932). Не то чтоб всем помнились или нравились его стихи (близкие по своим мотивам к стихам Надсона) или даже проза его, или публицистика (вполне серьезные, идущие в русле Толстого и педагога Ушинского), а просто человек он был благородный, деятельный и приятный (что не так уж часто встречается среди литературных гениев), посвятил свою жизнь добрым делам и в первую очередь народному просвещению.

Родился Ладыженский в дворянской семье, посещал знаменитое училище правоведения, а потом долго жил в своем пензенском имении Липяги, занимаясь литературой (первый псевдоним его и был Липягин) и бурной просветительской деятельностью в рамках земства (которого состоял гласным). Земское движение для русских интеллигентов было истинной кузницей гражданского общества. Ладыженский на свои деньги открывал сельские школы, фельд-

шерские пункты, библиотеки, сельские больницы, жертвовал на стипендии для крестьянских детей. Он и сам преподавал в открытой им школе, а также читал курс для народных учителей, издавал книги для народных школ. Он и сам много печатался, издавал стихи и прозу, писал в газеты. В Первую мировую войну был главным уполномоченным Красного Креста Земских союзов, пытался даже после революции и переворота продолжать свой самоотверженный труд просветителя, но успел вовремя эмигрировать. Жил под Парижем, занимался с детьми, одно время был воспитателем в Общежитии русских мальчиков. Потом переехал в Ниццу.

За свою жизнь он дружил со многими писателями, в том числе с Чеховым, Чириковым, Лесковым, Плещеевым. Был знаком с Л.Н. Толстым, общался с ним в Ясной Поляне, написал большую книгу, где много рассуждений о смерти, об отношении к ней святых старцев и самого Толстого.

В кратенькой дореволюционной автобиографии Ладыженский написал о себе:

Занимался земской деятельностью в Пензенской губ. Был 6 лет подряд членом губернской земской управы, работал по вопросам народного образования, несколько лет подряд был руководителем земских педагогических курсов для народных учителей.

Супруга Ивана Бунина записала в своем дневнике за 1932 год:

20 января. ...похороны В.Н. Ладыженского. <...> Он был нам настоящий друг и верный человек с редкими душевными качествами. Ни одной жалобы, ни одного стоны, а жизнь его была все последние годы очень трудная, даже тяжелая...

21 января. Вчера мы хоронили Влад. Ник. Ладыженского на кладбище Кокад. <...> ...похоронен он удивительно хорошо, даже в «фамильном» склепе. <...> Кладбище идет террасами. Дорожка замыкается церковью-часовней. Иконостас темный, дубовый <...> Служил священник Любимов. Был и хор. Похоронили так, как дай Бог всякому...

Дома нас ждал Ян (Иван Бунин. – *Б.Н.*). Мы ему все рассказали. <...> Я сказала, что мне на Кокаде так нравится, что я не имела бы против лежать там, а Ян сказал: «Нет, я предпочитаю кладбище в Пасси – идут трамваи, проходят люди...»

У Бунина были тогда в разгаре последняя любовь и ожидание Нобелевской премии. Ему было едва за шестьдесят, он жаловался на здоровье, но прожил еще больше двадцати лет, какой там Кокад?

На Кокаде похоронен переводчик и журналист, основатель одной из самых знаменитых в Европе на протяжении всей второй половины прошлого века эмигрантских газет («Русская мысль») **ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛАЗАРЕВСКИЙ** (1897–1953). Родился Лазаревский в Киеве, там учился на юридическом факультете, но кончить не успел. Уже тогда сотрудничал в газете «Киевлянин», а в пору Гражданской войны был при армии Деникина, входил в какую-то очень тайную разведорганизацию под названием «Азбука». Доводилось мне читать, что доносили тайные эти деятели на большевистские симпатии замечательной русской кинодивы Веры Холодной. Потом из той же «Азбуки» докладывали с чувством выполненного долга самому Деникину: «Уморили красную королеву». Впрочем, может статься, что сам будущий редактор-основатель «Русской мысли» к этому убийству не имел отношения. Дело темное. Известно только, что это делу Деникина никак не помогло, а недоучившийся журналист Лаза-

ревский эмигрировал и оказался в Праге. Там он и доучился, кончил юридический факультет университета.

Доучившись, Владимир Лазаревский перебрался в Париж и работал там в газете «Возрождение». Оказался очень активным деятелем и был в 1926 году избран председателем правления Общества по изучению проблем Лиги Наций. Занимался он также переводом русских писателей на французский язык и, если верить авторам биографического словаря «Русское зарубежье во Франции», был за это в 1928 году награжден орденом Французского Возрождения. Причастен он и к деятельности множества других общественных организаций. Остается лишь добавить, что был он женат и растил четырех усыновленных им детей.

Среди немногих литераторов, похороненных на русском Кокаде, эмигрантским читателям, особенно тем, кто читал вторую по популярности русскую газету «Возрождение», знаком был фельетонист, драматург и прозаик АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ РЕННИКОВ (настоящая его фамилия была СЕЛИТРЕННИКОВ, 1882–1957).

Ренников печатался во многих русских эмигрантских газетах, издал в изгнании сборник рассказов, несколько романов («Жизнь играет», «Зеленые дьяволы», «Кавказская рапсодия» и др.), а также сборник драматических произведений. Кроме многочисленных фельетонов, Андрей Митрофанович Ренников печатал также в «Возрождении» воспоминания о своей гимназической молодости и о первых годах эмиграции. Симпатичная супруга писателя ЛЮДМИЛА ВСЕВОЛОДОВНА, не страшась языковых трудностей, самоотверженно носила обе мужнины фамилии, представляясь как СЕЛИТРЕННИКОВА-РЕННИКОВА (1886–1950).

Большую часть насельников православного Кокада составляют все же не писатели, а бывшие воины, предприниматели, чиновники, священнослужители и разных занятий интеллигенты... Цвет русского офицерства. Даже на простое перечисление всех кокадских генералов (а среди них есть люди незаурядной храбрости, учености, великодушия) у нас не хватит места в книге, ибо на каждую букву алфавита мы найдем генерала, адмирала, военного инженера, военного теоретика: генералы Игельстром, Кардо-Сысоев, Киселевский, Козен, Кремков, Кречетов, Кучеров, Лаврентьев, Левашов, Лемновский, Меликов, Меллер-Закомельский, Миклашевский, Мошнин, Муратов, Петржицкий, Петров, Свечин... Разбить большевиков не смогли. Но служить им не захотели. Чем они только не занимались в эмиграции! Открывали гаражи, мастерские, бары, торговали чужими виллами, издавали журналы... В Ницце до сих пор помнят на бульваре Гамбетта генеральские гаражи, бары, конторы. Заботились о сбережении имен павших в бою сослуживцев... Генеральским женам удавалось пережить мужей. Шелест их голосов помнят стены старческих домов русского Красного Креста. Их имена собрал в своем очередном (на сей раз Кокадском) перечне Иван Грезин. Его новое (Кокадское) описание русских захоронений издано московским издательством «Старая Басманная» и начинается (без всякой неожиданности) с имени генеральской вдовы АБАЗА СОФЬИ СЕРГЕЕВНЫ (1856–1931). Родилась она в Санкт-Петербурге и приходилась внучкой знаменитому русскому архитектору О. Бовэ (автору московского Манежа). Генерал-лейтенант артиллерии Виктор Афанасьевич Абаза покинул наш лучший из миров и вторую свою жену Софью Сергеевну еще в конце позапрошлого века, так что Лазурному Берегу он мало известен и могилы его здесь не сыщешь. Впрочем, нелегко оказалось сыскать и могилу его вполне знаменитого сына ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА АБАЗА (1873–1954), прожившего последние десятилетия своей жизни на Лазурном Берегу и похороненного в Ницце. Виктор Викторович был довольно известный музыкант-балалаечник. Он окончил Императорское училище правоведения, с которым никогда не терял связи (уже и в эмиграции был членом Кассы правоведов), успел дослужиться до коллежского асессора, но главным увлечением его жизни была игра на балалайке. Еще в Петербурге он создал музыкальный кружок балалаечников-лицеистов, как утверждают, первый в своем

роде, а, уехав в эмиграцию, уже в 1920 году давал концерты в Париже и Ницце. А в 1949 году в Париже состоялся концерт, посвященный пятидесятилетию его творчества.

Похоронены на Кокаде и целые семьи военных, например Апрелевы. Старший из них, ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ АПРЕЛЕВ (1865–1934) был генерал-майором, а в Ницце возглавлял отделение Союза русских офицеров – участников войны. Конечно, всем бывшим офицерам Апрелевым приходилось осваивать и мирные профессии (мужчинам водить и чинить машины, женщинам вышивать). Про апрелевский гараж на некогда «русском бульваре» Гамбетта в Ницце мне рассказывали когда-то братья Ласкины, а нынче уж никто не расскажет.

Упокоились здесь и многие из тех семи сотен генералов и офицеров Генерального штаба, что выжили и оказались в изгнании. Как правило, бедствовали, доживали век на чужбине и писали воспоминания, вполне между собой сходные. Особо скажем о генерал-лейтенанте Генерального штаба МИХАИЛЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ ГРУЛЕВЕ (1857–1943), вышедшем из витебских мещан-евреев. Конечно, ни для кого не секрет, что были из числа крещеных евреев и в высоких чинах, и во дворе ласкаемые лица, вроде московского генерал-губернатора Гершельмана или петербургского коменданта Адельсона, «покорителя Кавказа» генерала Геймана или командующего одним из фронтов Первой мировой с малоеврейской фамилией Иванов. Но чтоб без предварительного крещения – редкий случай... Такие люди могли стать кавалерами Святого Георгия, героями России, но чтоб в офицеры или уж вовсе в генералы – мифическая история. Известно, что даже простой рекрут из евреев не мог поступить во флот, в гвардию, в юнкерское училище, стать писарем, интендантом, конвоиром, пограничником, попасть в крепостную артиллерию или в минную роту, а уж в офицеры ни-ни, только в унтер-офицеры «за храбрость». А названный нами выше Михаил Грулев дошел до генеральского чина еще и до Первой мировой войны. Конечно, попросили его в отставку под предлогом излишней его, типично генеральской, писучести (печатался он и в «Речи», и в «Утре России» и вообще имел «литературное направление» мысли). Предложили уйти в отставку «по болезни». В 1930 году в Париже Грулев издал «Записки генерала-еврея», где намекает, что все же ему припомнили невольный его изъян:

Всем известно было, какая это болезнь, хотя я ни с кем не делился своими переживаниями... Признаюсь, и самому мне больно было расстаться с Армией в такое время, когда умудренный боевым опытом я мог быть полезным своей Родине. Говорю это без лицемерной скромности, – по собственному сознанию и по отзывам других, в том числе и ближайших начальников. Но что делать! Под игом свирепствовавшего, рокового для России режима родина наша лишалась слуг поважнее и значительнее меня. <...> я выехал на постоянное жительство в Ниццу».

Вот такие генеральские мемуары. При всем нашем сочувствии к невзгодам патриота-генерала, не можем удержаться от мысли, что несказанно ему повезло: уехал в 1912 году, не был разбит в последовавших двух войнах, не бежал с нищенским чемоданом, не был расстрелян в чекистском подвале, как многие из тех высших военачальников (а набралось таких не меньше двадцати процентов былого комсостава), что пошли служить в Красную армию и честно служили... Ну а генерал Грулев успешно издал свои «Записки генерала-еврея» на нескольких языках, получил гонорар и поскольку не сильно нуждался, то пожертвовал свои деньги на покупку земли в Палестине для тех еврейских беженцев, что мечтали разводить сады-огороды и сеять хлеб (в странах рассеяния им это было запрещено законом). Генерал дожил до восьмидесятивосьмилетнего возраста и присоединился на Кокаде к другим не менее знаменитым, но менее удачливым сослуживцам.

Из военно-морского начальства следует непременно назвать адмирала СТЕПАНА АРКАДЬЕВИЧА ВОЕВОДСКОГО (1859–1937). Возглавлял он Николаевскую морскую академию, был директором Морского корпуса, членом Государственного совета, морским министром. В эмиграции он писал кое-что в пражский «Морской журнал», а в Ницце возглавлял Кают-компанию. В конце концов угас на курорте Виши и почит теперь рядом с женой Анной Михайловной Араповой (дочерью генерал-майора М. Арапова). А в одной из соседних могил перезахоронена умершая по дороге во Францию (в Константинополе) совсем молодая невестка адмирала, жена его сына Георгия Софья Кочубей (урожденная княжна Кочубей). Сам сын Георгий, выпускник Пажеского корпуса, еще до войны дослужился до звания полковника, стал георгиевским кавалером, добрался через Константинополь (где и овдовел) во Францию, работал в банке, а потом махнул за океан, в штат Иллинойс, где стал землевладельцем. Но к земле так и не прирос отставной полковник, завещал после смерти развеять свой прах с самолета...

Не надо думать, что все генеральские дети вышли в полковники и капитаны. Визит на православный Кокад не дает оснований для таких умозаключений. Вот, скажем, почит быллой петербуржец КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ ВОГАК (1887–1938), сын генерал-лейтенанта А.И. Вогака. К военной карьере генеральского сына не тянуло, а, напротив, тянуло его к математике, литературе, к театру. Закончив с золотой медалью Восьмую петербургскую гимназию, поступил он на физико-математический факультет университета, а года три спустя попросил перевести его на словесное отделение историко-философского факультета, курс которого он и прослушал к началу мировой войны. Увлечшись новыми течениями в театре, стал преподавать в студии Мейерхольда, так что и позднее, уже в лицее Александрино, прелестные русские лицеистки из Ниццы немало наслушались на его уроках об открытиях великого театрального чудотворца Всеволода Эмильевича. В той же Ницце Константин Вогак участвовал в заседаниях литературного кружка «Четверг», выступал с докладами о русской поэзии, с воспоминаниями о Гумилеве и Блоке, читал лекции о древнерусской литературе. Напомню, что русские искусствоведы и художники в эмиграции не давали угаснуть русской традиции иконописи, и даже в сонной Ницце существовало отделение общества «Икона» (созданного в 1927 году в Париже по инициативе В.П. Рябушинского). Просвещенный Константин Андреевич Вогак был в этом местном отделении товарищем председателя. Сотрудничал он и в Русской академической группе, успел написать два тома «Истории русской литературы». Писал он и стихи, вполне жалобные эмигрантские стихи об ушедшей молодости и былом питерском благополучии («ушли навсегда золотые года»), о перевернувшей всю жизнь русской катастрофе, о здешней скудной жизни и непрестанных трудах, даже о некой «несвободе» в свободной и солнечной Ницце.

Эти настроения были, увы, естественными, весьма типичными для эмигрантов и нередко приводили к печальным последствиям, подрывая силы физические и моральные, толкая на сомнительный путь. Тем более что русская жизнь там, за «железным занавесом», виделась смутно да вдобавок успешно (до неузнаваемости) приукрашивалась в среде эмиграции профессионалами Коминтерна. Противиться неведенью и полужнанию могли только такие талантливые упрямы, как В.В. Набоков, Георгий Иванов, Борис Зайцев... Стихам Константина Вогака эти уныние и «мутный туман неведения» присущи в удручающей степени:

Не спится мне, опять не спится.
Удушье, думы и тоска.
Опять Отчизна мутно снится,
И слышен зов издалека.
Но зов далек и так бесплоден,
Звучит упреком он во мне.
Я так устал и несвободен.

Я здесь в неволе. Я в тюрьме.
И не изгнанники помогут
Тебе, Отчизна, в горький час.
У нас и души изнемогут,
Как плоть изнемогла у нас.

Чтение этих ностальгических строк может объяснить, каким образом самые чувствительные из эмигрантов вдруг принимали решение вернуться с Лазурного Берега на встречу с самой реальной тюрьмой и колымским лагерем (как, скажем, было у художника Василия Шухаева и его супруги), а то и с подвальной чекистской пулей в затылок (как случилось с мужем Цветаевой Сергеем Эфроном или супругами Клепиниными). Ностальгия и мутные сны, как верно отмечает сам поэт К. Вогак, бывают бесплодны...

Впрочем, среди русских эмигрантов (в том числе и нынешних соседей Константина Вогака по приморскому Кокаду) нашлись стойкие люди, которые сумели успешно продолжить свои научные труды и общественную деятельность, реализовать свои способности, сохранить былой общественный темперамент. Таким был, например, этнограф НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВОРОБЬЕВ (1861–1950). Он окончил Московский университет и некоторое время трудился в Дальневосточном отделе Академии наук в Петербурге хранителем музея. Работа была престижная, интересная. Воробьев совершал экспедиции на Дальний Восток, собирал музыкальные инструменты и способствовал пополнению коллекций этнографического музея. Кроме того, он считался большим знатоком черноморского побережья и был в 1913 году одним из организаторов петербургской выставки «Русская Ривьера». В списке комитета выставки он представлен как член Императорского археологического общества. Николай Иванович успел издать каталог печатных работ о нашем Черноморье, но вскоре после знаменитой выставки (воистину золотые предвоенные годы России) грянула война, ученый служил военным санитаром, а потом разразилась революция. Воробьев понял, что ждет Россию. Он добрался до Ниццы, где, чтобы прокормиться, ему пришлось наняться сторожем (кстати, это и в нынешней эмиграции вполне традиционная мужская профессия). Работал Воробьев также в Управлении по делам русских беженцев в Ницце, но нашел время и для создания архива при русской церкви, а также для устройства ботанического сада субтропической флоры. К концу Второй мировой войны он заведовал архивом Общества сохранения русских культурных ценностей, а уж самые последние годы жизни провел в Русском доме в Ментоне.

На Кокаде был перезахоронен и русский ученый-географ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ВЕНЮКОВ (1832–1901). Этот уроженец Рязани был великий путешественник и труды свои начал рано. Окончив совсем молодым Кадетский корпус в чине прапорщика, он поступил в Академию Генерального штаба, потом слушал курс в Петербургском университете и, наконец, прибыл в качестве адъютанта на Дальний Восток. Генерал-губернатор Амурского края В. Муравьев, приметив и пыл, и знания юноши, взял его с собой на Амур, а потом поручил ему составление дальневосточных карт и анализ всей «военной статистики». В двадцать шесть лет Венюков отправился в первую свою экспедицию по реке Уссури. Прошел пешком 700 километров, составил карты и доложил генерал-губернатору собранные сведения об этом малоизвестном крае. Потом были у Венюкова путешествия на Кавказ, к Сихоте-Алиню, на берега Иссык-Куля, на Алтай, в Среднюю Азию, а позже – в Японию, Китай, Турцию, Северную Африку и, наконец, в Центральную Америку. Ученого путешественника неплохо знали и Невельской, и Семенов-Тяньшанский, и все Географическое общество. Написал он множество научных трудов, его именем названы селения и горные перевалы.

Правда, семьей обзавестись в дальних странствиях Венюков не успел и наследников не имел. В 1877 году уехал он в Париж, ушел в отставку в чине генерал-майора и даже отказался от высокой российской пенсии: «От пенсии я отказался, объяснив начальству, что считаю ее

обременением казны, когда пенсия дается человеку, не искалеченному на службе и способному трудиться, что справедливо было бы уничтожить пенсии, увеличить оклады служащим». Редкий порыв!

Сотни сочинений, в том числе газетных и журнальных статей, написаны были великим путешественником Венюковым. Умирая, всю собранную им богатую библиотеку он завещал селу, где родился (в Рязанской губернии), а также уссурийскому селу Венюково, а отложенные на старость деньги – на нужды народного образования. Мне довелось читать, что книги из его библиотеки до сих пор выдают читателям во Владивостоке. Прах его покоится на православном Кокаде.

Как заметил однажды Омар Хайам, «век просидел ты дома иль век провел в пути, конец один». Свиты Его Величества генерал-майор ВОЛКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1864–1934) странствовал все же меньше, чем генерал-майор М.И. Венюков, но конец настиг его в те же 69 лет. Впрочем, и на его долю выпали кое-какие путешествия. В 1890–1891 годах он совершил кругосветное путешествие, сопровождая Его Высочество великого князя Николая Александровича. Во время этой поездки он посетил среди прочих стран Грецию, Японию, Австрию и был по этому случаю награжден греческим, японским и австрийским орденами. Во время Гражданской войны генерал А.И. Деникин пригласил Волкова возглавить в Новороссийске гражданскую власть, и приглашение было принято. Но, как известно, власть Деникина продержалась недолго.

Видное место занимала в командовании русским флотом семья Пилкиных. ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЛКИН (1869–1950) был контр-адмиралом, сыном вице-адмирала. Его называли Пилкин Первый. Брат его АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЛКИН (1881–1960), которого звали Пилкин Второй, отличился храбростью во время Русско-японской войны, командовал эсминцем «Новик» во время Первой мировой войны, а с 1956 года был председателем Кают-компании русских морских офицеров в Ницце. Пилкин Первый накануне Февральской революции командовал бригадой крейсеров Балтийского флота, а потом возглавлял морские силы Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича. Всех Пилкиных с дочерьми и женами принял Кокад.

Иные из здешних морских офицеров были не только практики, но и теоретики мореплавания. Так, капитан 1-го ранга ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ СИВЕРС (1855–1931) напечатал в 1902 году работу «Главнейшие сведения по морскому международному праву, составленные для офицеров флота». Позднее он исполнял обязанности российского консула в Иокогаме и если что и писал о состоянии японского флота и армии, то сугубо секретно. Особенно ценными были его телеграммы, переданные через австрийского консула в Шанхае. Увы, вся эта переписка не помешала России позорно проиграть войну.

Напомню, что многие насельники живописного русского Кокада занимали высокое положение при дворе. Скажем, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ВОЛЖИН (1860–1933), член Государственного совета, гофмейстер двора Его Императорского Величества. Или князь ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ВОЛКОНСКИЙ (1868–1953), товарищ министра внутренних дел, товарищ председателя Третьей и Четвертой Государственной думы, егермейстер двора. Он, кстати, и в эмиграции был в правлении Общества монархистов-легитимистов, возглавлял комитет Российского общества Красного Креста, был директором Русского дома. Князь ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДОЛГОРУКОВ (1840–1910) был тайным советником, камергером, Радомским, а потом и Витебским губернатором. Таких имен во время паломничества на Кокад мы насчитаем еще немало. Скажем, свиты Его Императорского Величества генерал-майор князь АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ГАГАРИН (1857–1903) и еще множество князей, княгинь и княжон Гагариных. Например, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГАГАРИН (1879–1966) родился в Петербурге, окончил Николаевское инженерное училище и Николаевское кавалерийское училище, был поручиком Кавалергардского полка, адъютантом военного министра. Через

Константинополь добрался до Канн, где возглавил русскую эмигрантскую колонию, активно участвовал в деятельности общественных организаций на Лазурном Берегу, был церковным старостой.

Потомки Гагариных стали склоняться в эмигрантские годы в сторону искусства, выступали на сцене, пели, сочиняли. Во французском кинематографе прославились актриса Маша Мерил (Гагарина) и ее сестра, замечательный мастер монтажа княжна Елена Владимировна Гагарина.

На Кокаде широко представлены князья Голицыны, вообще едва ли не самое разветвленное аристократическое генеалогическое древо, чьи корни можно проследить до блиставшего в XIV веке великого литовского князя Гедимина, внук которого Патрикей, удельный князь Звенигородский, еще в самом начале XV века прибыл на службу к московскому правителю. Именем этого первого московского Голицына, кстати, назван был при рождении мой сверстник-парижанин (писатель, филолог, фанатик гольфа) Патрикей Голицын, который вместе с Жаком Ферраном подготовил «Генеалогию Голицыных».

Среди прочих Голицыных здесь лежит АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ГОЛИЦЫН (1885–1974), сын председателя Совета министров в 1916–1917 годах, сенатора и действительного тайного советника Николая Дмитриевича Голицына. Александр Николаевич был выпускником Александровского лицея, камер-юнкером, служил в Министерстве внутренних дел, а также в лейб-гвардии Стрелковом полку, участвовал в Гражданской войне, в Бредовском походе. А в эмиграции, поселившись под Тулоном, занимался благотворительностью. Прожил он полных девяносто лет.

Александр Николаевич был женат на княжне царской крови Марине Петровне Романовой, дочери великого князя Петра Николаевича Романова (того самого, что жил на бульваре Антибского мыса и погребен в крипте церкви Михаила Архангела в Каннах). В юности великая княжна брала уроки рисования у Д.Н. Кардовского, во время Первой мировой служила в военном госпитале, а эмигрировав, поселилась на Лазурном Берегу Франции (жила под Тулоном и у отца на бульваре Антибского мыса). Она содействовала постройке православной часовни близ ее дома и, как положено русской аристократке, занималась благотворительностью. Подобно отцу, она увлекалась историей архитектуры, а вдобавок собирала старинные провансальские баллады и рождественские песнопения, иллюстрировала их своими рисунками и готовила к изданию. Ей удалось выпустить в Париже книгу «Легенды крымских татар» с собственными цветными эстампами. В 50-е годы она была членом Дамского комитета при Кубанском объединении и пережила своего мужа на семь лет.

Многочисленные Голицыны, рассеявшись по белу свету, честно зарабатывали свой хлеб самыми разнообразными трудами – кто шофером, кто слесарем, кто чтением лекций по астрологии, кто пением в хоре, кто преподаванием филологии, кто руководством гольф-клубом...

Среди представителей видных аристократических семей, похороненных на Кокаде, нельзя не упомянуть графов Бобринских, ведущих свой род от императрицы Екатерины II и ее возлюбленного, графа Григория Орлова. Потомки императрицы и графа, по некоторым наблюдениям, выделялись своими языковыми способностями, склонностью к научным занятиям, литературным даром и многими другими завидными достоинствами. Скажем, граф АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОБРИНСКИЙ (1852–1927) возглавлял дворянство Санкт-Петербургской губернии, во время Русско-турецкой войны руководил санитарной службой армии, позднее был активным политическим деятелем, членом Третьей Государственной думы, председателем совета объединенного дворянства, членом Государственного совета, был также крупным предпринимателем, а в 1916 году министром земледелия. Вдобавок он был профессиональным археологом, возглавлял Императорскую археологическую комиссию, руководил раскопками возле Керчи и Киева (это он нашел золотой скифский гребень, который хранится в Эрмитаже) и написал много трудов по археологии, в частности выпустил трехтомный труд «Смела и ее

курганы». Как многие Бобринские (как и его прапрабабушка императрица Екатерина Великая), он любил сочинительство, писал стихи и прозу. В эмиграции стал одним из учредителей Клуба ревнителей русского прошлого.

Впервые приехав на этот берег в последней четверти минувшего века, я еще встречался с потомками того поколения изгнанников, обездоленного, израненного мировой войной и русской катастрофой. Помню, как в Ницце я разговорился (а потом и подружился) с библиотекарем в приходской русской библиотеке на улице Лоншан Ниной Владимировной Гейт. Она сказала, что девичья ее фамилия была Булгакова, и я пожаловался, что я много уже встречал Булгаковых во Франции, но не встречал таких, чтоб были в родстве с нашим прославленным писателем и его братом Николкой из «Дней Турбиных». Нина Владимировна сказала, что на этот раз мне повезло. Ее отец, Генерального штаба полковник ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ БУЛГАКОВ (1885–1962) был троюродным братом писателя. И как она сама теперь, отец в поздние годы жизни много времени отдавал библиотеке Русского инвалидного дома. А до Ниццы куда только не бросала его судьба. Окончил он Тифлисский кадетский корпус, потом артиллерийское училище, и молоденьким подпоручиком попал на Русско-японскую войну. Воевал, был ранен, награжден орденами Святого Станислава и Святой Анны. Потом – снова война, Первая мировая, он служил в артиллерии, уже полковником, вступил в Добровольческую армию, послан был с дипломатической миссией от Деникина в Париж, потом уж была эмиграция. Сперва семья жила в Константинополе, затем в Болгарии, позже в Югославии, в Сомборе, отец служил там в городском правлении, а потом уж Ницца...

Нине Владимировне было десять лет, когда они переехали во Францию. Одно из самых ярких ее воспоминаний относится к годам учебы в лицее Александрино в Ницце. Потом она училась в университете, сперва на факультете права, потом на русском факультете в университете Экс-ан-Прованса, работала в Ницце в суде, преподавала в лицеях, устраивала детские праздники, и вот – библиотека. Но самым памятным оставался лицей Александрино, где Нина и ее подружки цвели под августейшим покровительством великого князя Андрея Владимировича, шведского короля и принца Монако, в кругу благородных педагогов и рачительного Аркадия Николаевича Яхонтова и супруги его Аделаиды Яковлевны, получая истинно русское образование, тоскуя по незнакомой родине. Таки пели они в собственном «Гимне Александрины»:

Судьбы решеньем на чужбине
Пока расти нам суждено.
Родных полей, родной святыни
Нам и увидеть не дано.

Уже на рубеже нового века приезжала в Ниццу из Америки подружка Нины Владимировны по Александрино баронесса Уксуль, вот уж с кем повспоминали былую альма-матер, былых подружек. Кроме Нины Владимировны (которая прямо тут, на месте, вышла за англичанина и родила замечательных детей, среди которых о. Иоанн Гейт), все разлетелись пташки, все вышли в люди, далеко пошли. Дальше всех, конечно, сестрички Бетулинские, а из них – Анечка (по первому мужу Марли, по второму Смирнова), она и похоронена аж на Аляске, кто ж ее там помянет, если она только года не дожила до девяностолетия. А какую бурную жизнь прожила! Стала кавалером ордена Почетного легиона и других орденов. По приглашению президента Жака Ширака прилетала незадолго до смерти во Францию и была удостоена чести зажечь Вечный огонь под Триумфальной аркой, на Могиле неизвестного солдата. Во время Второй мировой она была в Англии, где работала в центре генерала де Голля «Свободная Франция». А в 1944 году, когда сам де Голль прибыл во Францию, Анна Марли уже разъезжала по всему миру с концертами и была известна как композитор всего французского

Сопротивления. Чтобы это лучше понять, надо проследить ее судьбу от самого порога лицея Александрино, что на вилле «Сен-Сир» в Ницце.

Семья Бетулинских добралась из России через Финляндию до Ментоны на Лазурном Берегу в 1922 году. Маленькая Анна занималась в лицее, в балетной школе, училась пению, а потом снова занялась балетом у Кшесинской и даже была солисткой балета в Монте-Карло, а в 1937 году на конкурсе красоты в Париже получила звание «вице-мисс Россия». В 1941 году она работала в центре де Голля в Лондоне и сочиняла песни, а в 1942 году она написала очень красивую и боевую музыку, для которой французский текст написали дядя с племянником, оба знаменитые писатели (Дрюон и Кессель). Это и была знаменитая песня, известная как «Песня партизан». «Свой талант вы превратили в оружие для Франции», – сказал ей генерал де Голль. Позже, выступая в Южной Америке, Анна познакомилась со своим вторым мужем Юрием Смирновым, они перебрались в США и получили американское гражданство.

Ну а мы с вами все время здесь, на Лазурном Берегу. Проходя по тропинкам кладбища Кокад, читаем на надгробьях смутно знакомые имена. Похоже, тут представлен весь царский двор, на живописном, мирном Кокаде.

Вот КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ГИРС (1864–1940). Родился он в Тегеране, был церемониймейстером Высочайшего Двора. И неудивительно. Гирсы знали все ритуалы, бывали послами в разных странах, а батюшка Константина Николаевича Николай Карлович Гирс был российским министром иностранных дел и женился на княжне Кантакузен (или Кантакузиной). Сын его Константин Николаевич остался холост, но сам министр вел жизнь бурную. После Кантакузен он женился на княжне УРУСОВОЙ АНАСТАСИИ ЛЕОНИДОВНЕ (1872–1924), которая тоже упокоилась на Кокаде.

Заговорив о князьях Урусовых, можно упомянуть, что они, подобно князьям Юсуповым, ведут свой род от участвовавших в каких-то военных затеях Руси ногайских властителей, а копая еще глубже – от любимца Тамерлана Едигея... Впрочем, еще глубже мы копать не станем. Напомним только, что здесь же на Кокаде похоронен УРУСОВ ЛЕВ ПАВЛОВИЧ (1839–1923), обер-церемониймейстер Высочайшего Двора, действительный статский советник и прочая, прочая. Что же касается княжон Урусовых, то они в девушках не засиделись и в законном браке успешно меняли фамилию Урусовых на ЕЛАГИНЫХ, ШЕЙНЫХ, ГРАБОВСКИХ, ШКОТ, ЛАЗАРЕВЫХ, ВОГАК, ТУМАНОВЫХ и прожили свою жизнь с достоинством. Взять, к примеру, камергерскую дочь ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ ШКОТ, урожденную княжну УРУСОВУ (1885–1961). С началом войны она окончила курсы сестер милосердия, была медсестрой и на Первой мировой, и на Гражданской. Была награждена Георгиевским крестом и тремя Георгиевскими медалями, а дни свои кончила в Доме военных инвалидов и похоронена была рядом со своим вторым мужем ДАНИЛОЙ ПЕТРОВИЧЕМ ШКОТОМ.

Впрочем, не для всякой беженской невесты нашелся суженый. Скажем, княжна НИНА АЛЕКСАНДРОВНА БАГРАТИОН-МУХРАНСКАЯ (1882–1972), дочь командира лейб-гвардии Конного полка генерал-майора князя АЛЕКСАНДРА ИРАКЛИЕВИЧА и его жены МАРИИ ДМИТРИЕВНЫ БАГРАТИОН-МУХРАНСКИХ (здесь же похороненной), так и осталась незамужней. Родилась она в Тифлисе, окончила в Петербурге Институт благородных девиц, состояла фрейлиной при императрице Марии Федоровне. Ее отец-генерал был зверски убит большевиками в Кисловодске, а вдове и дочери удалось бежать из Грузии в Ниццу, где княжна многие годы была председателем благотворительного общества, помогавшего русским и грузинским беженцам.

Как уже было сказано, на русском Кокаде почитает большое число придворных. Князь НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ (1823–1897) был действительным статским советником и занимал должность егермейстера двора (придворный чин, который изначально был связан с устройством царской охоты). Князь Николай Алексеевич родился в

Петербурге в семье генерал-адъютанта, окончил Пажеский корпус с чином подпоручика, служил в лейб-гвардии Гусарском полку, а позже во флоте в чине капитан-лейтенанта.

Похоронен здесь и патриарх видной эмигрантской семьи Вуич, сенатор ЭММАНУИЛ ИВАНОВИЧ ВУИЧ (1849–1930). Он служил прокурором в Москве, а в смутном 1905 году был директором Департамента полиции.

Кроме Голицыных, Гагариных или Лобановых-Ростовских, на Кокаде захоронено немалое число аристократов, стоявших на самых высоких ступенях лестницы тщеславия и гордившихся древностью своего рода или близостью к престолу. К примеру, граф ДМИТРИЙ КАРЛОВИЧ НЕССЕЛЬРОДЕ (1806–1891) был младшим советником российского Министерства иностранных дел и гофмейстером двора, но более памятен всем бывшим русским школьникам отец Дмитрия Карловича граф Карл Роберт Нессельроде (Карл Васильевич Нессельроде), действительный тайный советник, вице-канцлер, министр иностранных дел, член Государственного совета и кавалер множества российских, прусских и прочих орденов. Запомнился он нам со школы лишь тем, что ему была доверена цензура произведений Пушкина. Сын его печатал воспоминания об отце и прежних временах в еженедельнике «Еврейская трибуна», где служил секретарем редакции.

Граф ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ РАЕВСКИЙ (1883–1970) был церемониймейстером двора, а в эмиграции, в конце 50-х годов был избран в состав Родословной комиссии.

Герцогиня ЛЕЙХТЕНБЕРГСКАЯ, она же графиня БОГАРНЕ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА (1895–1969), была фрейлиной императрицы, век свой доживала в прелестном Большом-Мер близ Ниццы и упокоилась на Кокаде.

Последней же фрейлиной императрицы была ИВАНОВА-ЛУЦЕВИНА НИНА ИВАНОВНА, урожденная княжна Абамелек (1888–1986).

Впрочем, на дорожках приморского беломраморного Кокада встречаешь порой имена, которые никогда не попадали ни в дворцовые летописи, ни в судебные хроники, ни в спасительные анекдоты, а все же засели в русской памяти. Иногда даже не сразу вспомнишь, где встречал это имя. Что-то такое читал, что-то слышал. И вот остановишься у надгробной надписи под беззаботный птичий щебет и мало-помалу вспомнишь...

Гиршман. ГЕНРИЕТТА (ЕВГЕНИЯ) ЛЕОПОЛЬДОВНА ГИРШМАН (1885–1970). Конечно. Должен вспомнить. Многие вспомнят. Даже композитор Хренников и тот вспомнил, причем в самом неожиданном месте и не в самое подходящее, казалось бы, для воспоминаний время: в Америке в 60-е годы прошлого века. Композитор попал с делегацией советских музыкальных деятелей в США, и хозяева пригласили для удобства именитых гостей русскую переводчицу.

Приятная такая старушка, простая, русскоязычная, и композитор ее спросил, из каких она русских. Она же спросила его, помнит ли он такую картину, висит в Третьяковской галерее в Москве, портрет Генриетты Гиршман, и Тихон Николаевич ответил, что помнит и, как все, любит... Так вот, это она и есть. Заморская эта весть дошла до Москвы, и некоторые там вспомнили, как я теперь вспоминаю.

Генриетта родилась в Петербурге, в семье торговца и страстного коллекционера живописи Леопольда Леона, у которого было три дочери. Генриетта была самая красивая, умная и способная. Кончила гимназию, брала уроки живописи у Осипа Бразза, уезжала на два года в Германию, училась иностранным языкам и музыке. Мать у нее была хорошая пианистка, в доме часто устраивали музыкальные вечера, гости и сама хозяйка музицировали, вообще царил в семье культ искусства. Захаживали к ним знаменитости, например Сергей Дягилев. А когда исполнилось красавице Генриетте восемнадцать, посватался к ней московский предприниматель и тоже коллекционер Владимир Гиршман, и она вышла за него замуж и уехала в Москву. В одном доме с Леонами жил архитектор Бенуа, и со всеми Бенуа Леоны были в приятельских

отношениях. А художник и писатель Александр Бенуа рассуждал в старости о том, как могла красавица Генриетта пойти за такого не слишком красивого мужчину, коллекционера и владельца фабрики швейных иголок, и приходил к выводу, что все же оказался этот брак счастливым. Похоже, объединяла молодоженов общая страсть к искусству, и был этот невидный, но такой увлеченный красотой, серьезный и порядочный жених петербургской красавице мил и интересен. В Москве Генриетта продолжала занятия живописью у Архипова и Юона, музыкой у А. Книппер, но больше всего помогала мужу в его делах меценатства, в помощи начинающим художникам и Художественному театру Станиславского, в создании Общества свободной эстетики. Супруги помогали и Дягилеву в устройстве парижской выставки русской живописи в Париже в 1906 году и предоставили для нее своего Врубеля. Владимир и Генриетта были избраны почетными членами парижского Осеннего салона.

Дом Гиршманов в Мясницком проезде (как раз на том месте, где построили станцию метро «Красные ворота») стал истинным маяком московского «серебряного века», приютом, где царила гостеприимная красавица Генриетта. Проходили в этом доме первые заседания Общества свободной эстетики, бывал в нем весь цвет столичного искусства – Серов, Сомов, Бенуа, Добужинский, Лансере, Кустодиев, Брюсов, Бальмонт, Станиславский, Кусевицкий, Качалов и прочие. Особенно трогало жаркое гостеприимство этого дома приезжих петербуржцев. Константин Сомов, подробно описывавший в письмах сестре Анюте все перипетии холостой жизни, так рассказывал о своем приезде в Москву к Гиршманам:

Приняли очень радушно, поместили уютно в отдельной отдаленной комнате. <...> Хозяйка сегодня весь день в очаровательном розовом платье и серой с блестками шали, costume, в котором я ее, верно, буду писать. <...> Замечательно милая женщина Генриетта Леопольдовна: чем больше ее видишь, тем больше ее ценишь. Простая, правдивая, благожелательная, не гордая, и, что совсем странно при ее красоте, совсем не занята собой, никогда о себе не говорит.

На портрете, написанном Сомовым, Генриетта особенно красива и обольстительна. Но в прекрасных глазах ее боль, да это и неудивительно. В том 1910 году погиб ее ребенок...

Из трех знаменитых московских меценаток той поры (Евфимия Носова, Надежда Высоцкая и Генриетта Гиршман) самой образованной и красивой повсеместно признана была Генриетта. Нетрудно догадаться, что чуть не все гости этого дома в Мясницком (даже кавалеры несомненно «голубой» ориентации) влюблены были в прекрасную и щедрую хозяйку дома. А она с жаром отдавалась собиранию небольшой, но изысканной гиршмановской коллекции живописи и меценатской помощи самым привлекательным в ее доме людям – в первую очередь художникам. Понятно и то, что художники боролись за честь писать портреты хозяйки дома. Честь эта выпадала (притом неоднократно) Валентину Серову. А среди других – Константину Сомову, Филиппу Малявину, Зинаиде Серебряковой.

Немало времени отдали супруги Гиршман созданию Общества свободной эстетики, объединявшего на протяжении десятилетия художников, писателей, музыкантов, знатоков искусства и видных коллекционеров (Остроухова, Трояновского, Полякова, С. Морозова, Щербатова). В обществе читали лекции, устраивали вечера Блока, Брюсова, Белого, Кузмина, Вячеслава Иванова, Бальмонта, Сологуба, сюда приходили самые разнообразные представители русского художественного авангарда, вплоть до футуристов или лучистов.

За немалыми своими хлопотами хозяйки дома, жены и матери, меценатки и театралки Генриетта мало-помалу собственную живопись забросила, но зато вошла в историю русской живописи той фантастической эпохи как прославленная красавица модель, тонкая ценитель-

ница и меценатка. То были самые яркие годы ее жизни, да и не только ее. В начале 20-х годов всем «эстетическим свободам» подошел конец. В.О. Гиршман еще заседал в какой-то комиссии, хлопотал о передаче своего дома, а также о размещении коллекции своих национализированных картин и редкой мебели (уже разбредавшейся по кабинетам «более равных»), но уже было ясно, что надо бежать, спасая жизнь, и свою и семьи...

В парижском изгнании В.О. Гиршману еще удалось открыть антикварный магазин, а потом даже устраивать при нем скромные выставки для друзей-художников. Его магазин и галерея были парижским уголком прежней России, куда заходили побеседовать, побыть среди своих. В 1928 году Гиршманы отпраздновали в Париже свою серебряную свадьбу, и один из гостей (К. Сомов) писал, что никогда в жизни не видел столько цветов в одной квартире...

Мировой кризис 30-х годов окончательно разорил Гиршмана. В его магазинах еще появлялись друзья. Иногда, несмотря на все более строгие запреты Лубянки, заходили повидаться приезжавшие на гастроли мхатовцы, Генриетта еще вела свой «дамский альбом» стихов, рисунков, признаний в любви, подписанных всеми звездными именами русского и мирового искусства – Рахманинова, Шаляпина, Стравинского, Джойса, Горького, Дебюсси, Бальмонта (недавно этот альбом продан был на аукционе в США за 230 000 долларов). Кстати, самую серьезную запись сделал в этом альбоме приезжавший в Париж с театром (и первым нарушивший запреты Москвы) Константин Сергеевич Станиславский (по-семейному КАЭС). Слова эти были обращены не только к попавшим в нелегкое положение Гиршманам, но и к забывчивым потомкам:

Ваша роль в искусстве значительна. Для того, чтобы процветало искусство, нужны не только художники, но и меценаты. Вы <...> взяли на себя эту трудную роль и несли ее много лет, талантливо и умело. <...> История скажет о вас то, что не смогли сказать современники.

Сам современник Гиршманов К.С. Станиславский еще смог такое сказать, находясь за границей (он говорил также о «красивом деле меценатства»), но в пределах Советской России за такие словесные вольности и такие записи уже могли дать срок.

А старый друг, веселый Василий Качалов, вслед за своим режиссером сделал в альбоме Генриетты менее торжественную запись:

КАЭС

О меценатской Вашей пишет роли...
А я, давно влюбленный в Вас балбес,
Прошу любить меня легко, без боли,
Как буду радостно любить я Вас,
Пока не стукнет мой последний час.

Владимир Осипович Гиршман умер в 1936 году. Красавица Генриетта перебивалась как умела. Умела она и знала многое. Работала экономкой (то ли сестрой-хозяйкой) в детской колонии, открытой княгиней Палей... А в 1939 году она благоразумно уплыла из Европы за океан. Ее высокообразованный брат Павел (Поль) Леон, знавший множество языков и культуру Средневековья, поддерживавший ирландское самоопределение, друживший с великим Джойсом и работавший вместе с ним над корректурой «Поминок по Финнегану», остался в Париже, хлопотал о бумагах Джойса и был сожжен в печи нацистского крематория.

Генриетту пригрели в США друзья Кусевички. Она стала личным секретарем С. Кусевичко, возглавлявшего Бостонский филармонический оркестр, занималась музыкальным издательством, прессой, переводами. Вот тогда ее и повстречал московский композитор, не сразу узнавший в ней блистательную Генриетту со знаменитейшего портрета Серова...

Стоя среди птичьего щебета у этой могилы над морем, и я вспомнил мало-помалу, что это была моя землячка, дама московского «серебряного века». Она представляла здесь свой прославленный век и мой прославленный город в высоком и достойном обществе, хотя не столь авангардном или богемном.

А вот могила СОФИИ АНДРЕЕВНЫ АБЕЛЬ, урожденной графини ГОЛЕНИЩЕВОЙ-КУТУЗОВОЙ (1893–1973). Неподалеку – просто Голенищев, без титула, сын царско-сельского купца первой гильдии Симеона Голенищева; это замечательный коллекционер и ученый-египтолог ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ ГОЛЕНИЩЕВ (1856–1947). Закончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета, был хранителем египетских древностей в «Эрмитаже», а потом профессором Каирского университета, писал научные труды, жил в Каире, но ежегодно приезжал в Ниццу, где окончательно поселился уже в годы Второй мировой войны.

Из знакомых (можно сказать, исторических) имен внимание нашего кладбищенского паломника может задержать фамилия Горемыкина. Покойный приходился родным сыном тому самому Ивану Логиновичу Горемыкину, который был в России министром внутренних дел в 1895–1899 годах, а потом и Председателем Совета министров. Если верить энциклопедиям, он противился реформам и был ставленником Г. Распутина. Похороненный здесь его сын МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГОРЕМЫКИН (1879–1927) закончил Императорский лицей, был камергером и товарищем управляющего Крестьянского поземельного банка. На Кокаде похоронена и его сестра ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ГОРЕМЫКИНА, в замужестве баронесса МЕДЕМ (1872–1965). Ее матушка и сестра с мужем были убиты на даче в Сочи вскоре после большевистского переворота в России. Еще год спустя был расстрелян в Пятигорске арестованный большевиками в качестве заложника муж Татьяны Ивановны, бывший петроградский губернатор, тайный советник барон Николай Николаевич Медем. Вдова с тремя детьми уехала в эмиграцию, где и прошли последние сорок восемь лет ее жизни...

Следуя далее среди великого множества полковничьих, генеральских и адмиральских могил бывшего русского воинства, остановимся все же у могилы капитана второго ранга пилота СТАНИСЛАВА ФАДДЕВИЧА ДОРОЖИНСКОГО (1879–1960), ибо славный этот воин сумел все же дожить на блаженной Французской Ривьере до полных восьмидесяти лет, а в молодые годы был неутомимым в ратных трудах и в ученье, о чем говорят не только его ордена, но и список дипломов, перечисленных в надгробной надписи: диплом французского авиатора, диплом французского инженера и диплом французского медика. А главное, был этот бесстрашный Станислав первым авиатором русской армии и флота – первым в России морским летчиком. И Господь его хранил при неоднократных «падениях с неба», хотя и был этот русский летчик не православного, а «католического вероисповедания».

Родился Станислав Дорожинский в небольшом селе Волынской губернии, в семье потомственного дворянина Тадеуша (Фаддея) Дорожинского и Каролины Зефнер. Девятнадцати лет от роду он поступил на военную службу, в двадцать два года закончил Морской корпус и стал мичманом. Через три года окончил курс в учебном воздухоплавательном парке, да еще и прошел курс подводного плавания. В начале Первой мировой он уже был старшим офицером эскадренного миноносца «Лейтенант Шестаков», но не будем забегать вперед, ибо еще до этого случилось с молодым офицером и героем войны много всякого. Начать с того, что в 1909 году открылся в Севастополе частный аэроклуб, избрали председателя и отправили его для покупки самолета на родину воздухоплавания, во Францию. А для выполнения важ-

ной этой задачи придали в помощь председателю лейтенанта Дорожинского, которого сделали начальником воздухоплавательной команды. Во Франции лейтенант присмотрел двухместный самолет «Антуанетт-4», за который французы просили 12 000 твердых тогдашних рублей. Дорожинский поломал дорогую машину при посадке, а все же искусство его произвело на французов такое впечатление, что они 21 июня 1910 года выдали ему удостоверение пилота (№ 125). С этим удостоверением лейтенант вернулся в Севастополь, а в сентябре того же года под Севастополем (на Куликовом поле) и состоялся первый полет нашего самолета. В самом начале 1912 года лейтенант Дорожинский отправлен был в черноморскую службу связи и при этом его командир послал начальнику этой службы сопроводительную характеристику:

Исполнительный, находчивый и трудолюбивый лейтенант Дорожинский вместе с тем крайне скромн, скажу более – застенчив и, как часто бывает в подобных случаях, весьма самолюбив. Последнее, слитое с предыдущими качествами, стимулирует воина следовать по пути выполнения долга – так это понимаю я, а потому радуюсь, что первый авиатор русской армии и флота обладает такими высокими духовными качествами, которые я постараюсь охарактеризовать при составлении его аттестации.

Последнее падение (по общему числу совершенных им со смертельной опасностью – третье) не повлияло на твердость духа, оставило некоторые следы в его теле, рука плохо повинуется, голова временами болит и бок ноет.

В годы Первой мировой войны Станислав Дорожинский командовал бригадой Балтийской воздушной дивизии, произведен в чин капитана второго ранга, награжден орденом Св. Станислава 3-й степени, Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, а также медалями. После поражения белой армии он добрался до Франции и начал жизнь заново. Пошел снова учиться, закончил сельскохозяйственный колледж и медицинские курсы, устроил собственную ферму. Оказалось, что прославленный, израненный в войнах летчик обладает вполне мирным и безобидным характером. Большое впечатление произвели на него идеи вегетарьянцев об аморальности поедания живых существ. Заслуженный воин стал вегетарьянцем, да и знаменитая его французская ферма «Вега», лежавшая близ испанской границы, стала истинным центром вегетарьянской пропаганды. Героический фермер и сам выступал с докладами о нравственных основах вегетарьянства. Вдобавок герой-летчик увлекся живописью и брал уроки у знаменитого Константина Коровина. В общем, пожалуй, можно сказать, что вполне счастливо сложилась жизнь русского офицера, который в отличие от многих не поддался на посулы большевиков и не кончил свой век в подвале чека или в бараках Колымы, а умер в своей постели на Ривьере на восемьдесят втором году жизни. Правда, первый его брак с Неониллой Ивановной Кушнаревой распался, но он женился вторично на Софье Борисовне Курилло, которая пережила своего мужа на добрых семнадцать лет и похоронена была рядом с ним. Здесь же неподалеку упокоились его первая жена и дочь от первого брака Тамара Станиславовна. Из всей семьи лишь младший брат Станислава, тоже капитан второго ранга Карл Фаддеевич, участник Гражданской войны и член Морского собрания, похоронен далеко от моря, на знаменитом православном кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Как всякий провинциальный курортный город, Ницца полнится новыми и старыми легендами. По традиции, главную роль в них играют не новые русские миллионеры, энергично перестраивающие тесные для них старинные виллы на мысе Кап-Ферра, а некие бывшие русские владения на Ривьере и все те же более или менее великие князья (или их неведомые «морганатические» потомки). Впрочем, одно из не слишком старых надгробий на Кокаде словно

бы дает основание для новых интригующих легенд. На нем надпись «Е.К.Выс. кн. ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (1884–1962). Урожденная княжна Сербская. Замужем за Князем Императорской крови Иоанном Константиновичем».

Частенько проходя от дома к набережной по узкой и пестрящей вывесками недорогих отелей и харчевен с экзотической восточной пищей улице Паганини, я иногда вспоминаю сообщение старой (за 1962 год) эмигрантской газеты:

В небольшом отеле на улице Паганини несколько месяцев тому назад поселилась скромная дама – скромная по своей нетребовательности, простоте обращения с персоналом и снискавшая к себе глубочайшее уважение. <...> В ночь на 16 октября, почувствовав себя дурно, эта жилища отеля вызвала к себе ночного сторожа гостиницы и попросила его пригласить врача. Добиться ночного доктора в Ницце не так легко. Сторож вызвал карету «скорой помощи» госпиталя Святого Рока, и даму отвезли в больницу. Там, на больничной койке она скончалась. <...> Эта скромная нетребовательная дама была княгиня Елена Петровна Романова, вдова князя Иоанна Константиновича, сына великого князя Константина Константиновича и сестра сербского короля Александра. <...> Отдать последний долг умершей собралась вся свободная от работ русская колония в Ницце. На похороны прибыли сын покойной князь Всеволод Иоаннович и дочь маркиза Екатерина Ферос, а также бывший сербский король Петр Второй. <...> От имени президента республики был возложен венок.

Я углубляюсь в коридор узенькой улицы Паганини, пересекаю бульвар Гюго, выхожу к вечному морю и простору закатного неба, куда унеслась еще одна пылинка-душа... А почему он решил, этот репортер из эмигрантского листка, что достойная старая дама в дешевом отельчике, чуя надвигающийся конец этой грустной жизни, могла вести себя с гостиничной прислугой, убирающей ее комнатку, как-то по-другому, более надменно, «по-княжески»?

О, здесь каждый дом, как и каждая пядь Кокада могут рассказать немало причудливых историй. Вот в этом уголке захоронено сразу несколько генералов от инфантерии. Наиболее известным из них был НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕПАНЧИН (1857–1941). Родился Николай Алексеевич в семье адмирала, начальника Морского корпуса и Николаевской Морской академии. Н.А. Епанчин и сам на рубеже нового века стал директором Пажеского Его Величества корпуса и командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Учился в знаменитой петербургской гимназии Карла Мея, потом в Павловском училище, участвовал в Русско-турецкой войне, потом окончил Николаевскую академию Генерального штаба и долго еще служил и что-то возглавлял... На фронт Первой мировой войны он выступил во главе корпуса, побил немцев под Столупененом, но потом... Ставка обвинила его в том, что он самовольно начал отход под нажимом немцев, что корпус его был окружен и разбит. Ставка искала причины неудач и нашла виновного. Генерала отрешили от командования, вывели в запас, потом он скитался по русским городам, судился с начальством, смог доказать, что непричастен к гибели своего корпуса, но солдат оживить не смог. На Гражданской повоювать он не успел. С 1923 года генерал жил в Ницце, где-то еще преподавал, участвовал в заседаниях Исторического общества, много писал, оставил обширные воспоминания «На службе трех императоров», изданные после его смерти в России.

В той же могиле почти сорок лет спустя была похоронена дочь генерала Епанчина, вдова барона Александра Эдуардовича Фальц-Фейна, умершего в Германии в 1919 году, ВЕРА НИКОЛАЕВНА ФАЛЬЦ-ФЕЙН, урожденная ЕПАНЧИНА (1886–1977). Покойный муж Веры

Николаевны барон Фальц-Фейн был агроном и помогал брату в создании знаменитого природного парка Аскания-Нова в Херсонской губернии. Ныне стал широко известен в России и на Украине столетний сын Веры Николаевны Эдуард Александрович Фальц-Фейн (род. в 1912 г.), который заготовил для себя место на Кокаде близ матери. Это тот самый спутник писателя Юлиана Семенова, искавшего «янтарную комнату», о котором мы уже писали в связи с захоронением Е. Петриковского в Вансе, – бывший велосипедист и активный меценат, житель княжества Лихтенштейн, он приложил немало усилий для восстановления доброго имени Фальц-Фейнов и Епанчиных в России, а попутно способствовал также открытию музея Суворова у Чертова моста в Швейцарии и музея Екатерины II в немецком Цербсте.

А теперь обратимся к другим насельникам Кокада и другим историям. Ни один роман не может так растрогать чувствительное сердце посетителя кладбища Кокад, как неторопливое чтение собранных И.И. Грезиным документов, отражающих этапы жизненного пути здешних покойников. Вот могила вдовы контр-адмирала Георгия Авенировича Ивкова **ВЕРЫ КОНСТАНТИНОВНЫ ИВКОВОЙ** (урожденной **БАЛАНДИНОЙ**, 1884–1932). Ученый собрал документы, касающиеся не столько бедной Веры Константиновны, которой в законном браке пришлось прожить так недолго (хотя и ее жалобное прошение приложено), сколько самого бедного ее мужа, ее свекра, ужасов Русско-японской войны, да и прегрешений мирного времени...

Начать эту документальную историю можно с самого рождения ее будущего мужа контр-адмирала. Итак, 16.9.1863 года у капитана второго ранга Авенира Ивкова родился в городе Николаеве сын Георгий, крещен 29.9. Восприемниками были отставной генерал Евграф Плетенев и дочь генерал-майора Сергея Плетенева девица Матрона. Счастливым отец, год спустя произведенный в капитаны первого ранга (а при отставке и в контр-адмиралы), был героем Крымской войны, кавалером ордена Св. Георгия 4-й степени за храбрость, серебряной медали за оборону Севастополя, служил беспорочно 20 лет. Сын Авенира Ивкова Георгий Авенирович, согласно семейной традиции, воспитывался в Морском училище, в 1884 году произведен был в мичманы, в 1891 году в лейтенанты, а в 1904 году за отличие по службе в капитаны второго ранга. Следующее повышение ждало его в 1910 году, но за прошедшее до этого события время произошло немало всякого.

Тридцатилетний флотский офицер Г.А. Ивков женился на дочери контр-адмирала Федотова Надежде Александровне Федотовой, и в 1897 году у супругов родился сын Владимир, а в 1898 году – дочь Вера. С того же года Георгий Ивков стал служить старшим артиллерийским офицером на эскадренном броненосце «Сисой Великий». А в канун злосчастной войны с Японией начались у старшего артиллерийского офицера Г. Ивкова всякого рода неприятности:

Протокольным определением Рижского епархиального начальства от 16–27.1.1904, утвержденным Святейшим Правительствующим Синодом, как видно из указа оного от 7.4.1904 за № 3309, брак капитана 2-го ранга Георгия Авенировича Ивкова с женой его Надеждой Александровной, рожд. Федотовой <...> по причине нарушения им, Г. Ивковым, святости брака прелюбодеянием, расторгнут с осуждением на всегдашнее безбрачие.

В мае 1905 года эскадра русского Тихоокеанского флота потерпела страшное поражение в Корейском проливе у острова Цусима. После гибели броненосца «Сисой Великий» капитан второго ранга Г.А. Ивков был взят японцами в плен и освобожден лишь через семь месяцев. Историю пленения и всех страданий своего покойного мужа рассказала позднее с его слов вдова контр-адмирала в письме к морскому министру России, аккуратно приложив к важному для нее жалобному письму записки покойного («О том, как я попал в плен к японцам, и что

переживал ранее того» и еще «О том, как жилось мне в плену»). Поскольку у нас нет под рукой этих записок, предлагаю их пересказ из письма бедной вдовы:

...муж мой, не желая покинуть корабля, употребил все меры, чтобы помешать его сдаче, и сделал распоряжение открыть кингстоны, вследствие чего корабль затонул, а муж мой, очутившись в водовороте, получил сильный ушиб всплывшим обломком, от которого потерял сознание, и таким образом был взят в плен. Последствием этого ушиба явилась тяжелая душевная болезнь моего мужа, лишавшая его в продолжение двух лет трудоспособности...

По истечении этих двух лет Г.А. Ивков еще служил какое-то время во флоте, а в начале 1911 года даже был назначен заведовать мобилизационной частью в штабе Черноморского флота в Севастополе. В том же 1911 году ему было разрешено вступить в новый брак, о чем свидетельствуют документы, найденные в архиве И.И. Грезиним:

Согласно удостоверения Таврической духовной консистории от 6.4.1911, резолюцией епископа Феофана Таврического и Симферопольского от 3.4.1911 капитану 1-го ранга Ивкову, брак которого был расторгнут с осуждением на всегдашнее безбрачие с преданием церковной епитимии, разрешено вступить во второй законный брак с освобождением от епитимии ввиду прохождении таковой им, Ивковым, в течение пяти лет, что засвидетельствовано его духовником Священником Александром Мельниковым. 3.6.1911 вступил во второй законный брак с дочерью статского советника девицей Верой Константиновной Баландиной...

Вот тут бы и начинать новую счастливую жизнь, поторопиться до начала новых беспощадных войн – но не вышло: жизни осталось на доньшке. В октябре того же 1911 года отправлен был Г.А.Ивков «на излечение в психиатрическое отделение госпиталя с резко выраженными двигательными расстройствами в физической сфере, зрительными и слуховыми галлюцинациями и бредовыми идеями величия – в психической». К концу 1912 года был Г.А.Ивков произведен в контр-адмиралы с увольнением на пенсию. Вскоре родила новому контр-адмиралу новая его супруга нового сына, но толком порадоваться этому событию он не успел. К концу лета 1913 года умер моряк Георгий Ивков. А вдове его тоже не много перепало радостей. Маленький ее сын, сообщает она в письме, «страдает явлениями общего малокровия, причинами которого были те печальные условия, при которых он родился».

Про все эти «печальные условия» вдова объясняет в письме морскому министру России, прося его увеличить пенсию на троих контр-адмиральских детей от двух браков. С той же докукой как опекунша детей своих от первого брака обращается в министерство и первая жена Г.А.Ивкова, уже счастливо сменившая фамилию на Богомолову. Морское министерство, в свою очередь, просит Комитет о раненых ответить назойливым женщинам поубедительней, и вот уже заваленные просьбами чиновники письменно упрекают чужую жену и свежую вдову в том, что не указал в своих ходатайствах психический пациент Г.А. Ивков на имевшую у него место контузию при Цусиме, потому что контузия идет по особой статье, а если нет справки о контузии, тут совсем другой разговор в переводе на деньги... А на дворе уже вот-вот новая война, и на повестке дня у министерства новый патриотический подъем, так что министерствам не до вдов с их детьми, не до сирот с их малокровием.

Этот героический момент былого патриотического подъема непременно приходит в голову русскому паломнику у самой вершины горного кладбища Кокад. Сверху хорошо видно сверкающее внизу, за сочной листвой, за белыми надгробьями Средиземное море, бескрайний синий простор, прекрасный мир Божий... Вдохнешь глубоко, облегченно опустишь взгляд и тут увидишь впервые тяжкую надгробную плиту и смутно знакомое имя – Сазонов. Ну да, это он и есть, тот самый САЗОНОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1860–1927), выпускник Александровского лицея, гофмейстер двора, дипломат, некогда русский посол в Ватикане, в Лондоне, в США, а с 1910 по 1916 год министр иностранных дел России. Вот тогда-то они и грянули, как он их назвал в своих популярных мемуарах, «роковые часы России». И как ни крути, был он ко всем тогдашним безумным решениям ценою в миллионы украденных молодых жизней причастен.

Сообщаю о наличии на Кокаде этой могилы своим русским читателям доверительно и вполголоса, потому что услышат англичане или французы и повалят сюда неуважительно и шумно с бумажными салфетками, недогрызенными яблоками, потому что не чужой для страшной европейской истории этот маленький большой человек Сергей Дмитрич Сазонов, про него и в старой советской энциклопедии сказано, без затей: «Способствовал развязыванию Первой мировой войны». А у них же здесь, в Европе, в любой уважающей себя деревне, что в Англии, что во Франции, непременно стоит на площади каменный солдат в старомодной каске, с прижатым штыком и с надписью на пьедестале «Парням из нашей деревни». Это все про ту войну, где даже эти названные мной страны потеряли по полтора миллиона человек. Что ж тогда говорить о России или Германии... От цифр голова кружится: 38 государств мира поставили тогда под ружье 74 миллиона парней, из которых 10 миллионов было убито, а 20 искалечено, да еще десяток миллионов оказались в плену, иные так и пропали без вести. А уж что в результате этого потрясения получила моя родина, сами знаете... И что же заурядный рязанский дворянин Сергей Сазонов виноват во всем этом всемирном смертоубийстве? Отвечу по возможности сдержанно, но и дворянина Сазонова не стану отмазывать по причине патриотического сочувствия. Скажем так: был причастен, как верно отметила энциклопедия, «способствовал». Мог бы, наверно, и не способствовать. Однако напомним, кто он был такой, этот серый человечек, хотя и гофмейстер двора, Сергей Дмитриевич Сазонов.

Родился он в 1860 году в Рязанской губернии, семья была состоятельная, со связями, учиться его отдали в Императорский Александровский лицей. Лицей он одолел, так что образование среднее получил, но не более. Дальше учиться не стал, пошел служить. Служил в разных посольствах – при папском дворе в Ватикане, в Лондоне, чуть не тридцать лет ходил в секретарях, вполне серый был и незаметный, хотя исполнительный. Только под пятьдесят сделали его за океаном посланником, в США. Потом стал товарищем министра иностранных дел в Петербурге, тут уж пришлось ему докладывать государю, на которого смог произвести впечатление человека до смерти преданного. Государь его запомнил: вот такой мог бы и за блестящим министром Извольским приглядывать, за этим надо приглядывать, больно умен. А под шестьдесят выпала службе Сазонову удача: послали Извольского послом в Париж, куда он давно хотел. Тут государь и назначил министром преданного трудягу Сазонова. Эх, кабы знать, где поскользнешься...

Так что с 1910 года министром иностранных дел великой России был Сазонов. Никаких своих идей у Сазонова не было, идеи были обычные, патриотические, и государю они были приятны: ведущая роль Российского государства в мировой политике, историческая миссия России, национальная исключительность, расширение недостаточных русских владений (с самого 1905 года не расширялись, а много чего стоило бы прибрать к рукам, взять хотя бы Галицию, Буковину, Восточную Пруссию, земли по Неману, Константинополь и проливы, ох как нужны нам проливы...). Обо всем этом следовало как бы интимно говорить в Париже и в Лондоне, укрепляя связи Сердечного Согласия... Конечно, без войны, понятное дело, не обойтись, но

пока нужно время для строительства флота, турки вон строят... В общем, обычная дипломатическая возня, связи, козни, все знакомо было Сазонову до мелочи. И вот на четвертом году деятельности Сазонова где-то там, на другом краю Европы двадцатилетний сербский студент по заданию террористической группы «Молодая Босния» убил на улице Сараева австрийского престолонаследника эрц-герцога Франца Фердинанда. И жену его убил студент, как настоящий патриот. Имя свое прославил...

Вена вручила Сербии ультиматум. Сербия в основном приняла его, но австрийцы намерены были действовать решительно. Германия решила поддержать своего австрийского союзника. Роковые дни. Что скажет великая Россия там, в восточных даях? Очень умные люди были нужны, провидцы, гуманисты. Любопытно, что умные люди, горевшие патриотическим духом, у России были. Скажем, тот же Кривошеин... Но и он всей опасности неосторожных решений не понял.

А министр Сазонов, он что? Как скажут. Он всю азбуку знает. Сербы – славянские братья. Лозунг давно в ходу: славянское братство. Славянский мир. Сербы, хорваты, словенцы. Милые братья малороссы, братушки белоруссы. Вот еще и болгары есть. Тоже братья... Министр Сазонов вместе с начальником генштаба Янушкевичем отправился на прием к государю. Сазонов настаивал на объявлении всеобщей мобилизации. Государь колебался. В конце концов Вильгельм II заверял его, что все в порядке. Не чужой человек кайзер, близкий родственник. Сазонов убеждал, настаивал. Пришел его час...

Война спасительна. Франция, Англия с нами, есть секретное соглашение, все проблемы будут решены. И вся Россия встанет на защиту братьев-славян. Будет единство народа и трона.

Государь колебался. Наконец сдался.

Выйдя от государя, Сазонов предлагает Янушкевичу выбросить все телефоны. Вдруг во дворце передумают, начнут звонить об отмене мобилизации. А так, жребий брошен...

Так что всеобщая мобилизация имени Сазонова – это была катастрофа. Но вот, выжил Сазонов. Не свихнулся. Видно, крепок был его патриотический дух. Хотя и государя с семьей подставил, и всю Россию, и всю Европу. Страшная вещь – патриотический дух, малая грамотность при решении геополитических проблем, слабая вера в Бога. А что мобилизацию эту не Сын Божий придумал, в этом я просто уверен. Запах серы пополз по земле... До провинции он еще не успел дойти, а петербургская чернь уже громила витрины немецких лавок в едином патриотическом подъеме, сплотившись вокруг немецкого своего государя, немецкой государыни и невинных немецких деток – четырех великих княжон и мальчонки-наследника.

Столица была в счастливом угаре. На заседании Думы все фракции, левые, правые, все заодно, все в экстазе! Суровый Сазонов рыдает от счастья... Кто видел рыдающего Сазонова? Самый счастливый день его жизни... Наш щит будет на вратах Царграда.

19 июля (1 августа) Германия объявила войну России. Формально Германия объявила войну первой, это маленькая дипломатическая победа Сазонова, но кого этим обманешь? Он ведь уже объявил о всеобщей мобилизации. 21 июля Германия объявила войну Франции. 22 июля Великобритания объявила войну Германии. 16 октября Турция вступила в войну на стороне Германии.

Народное единение вылилось тогда в Петербурге в разгром немецких лавок, переименование «бурга» в «град», потом в революцию, в путч, в убийство царской семьи, в истребление крестьянства и профессионалов всех отраслей, в негативную селекцию общества...

Историки дружно говорят, что виновны в начале войны и кайзер Вильгельм II, и император Франц-Иосиф, и царь Николай II (он расплатился за всех), и президент Мильеран, и министры Бетман-Гольвег, фон Гетсендорф, и Янушкевич, и, конечно, Сергей Сазонов...

Министра Сазонова весть о русской революции застала на пути в Лондон. В 1916 году государь собрался заключить сепаратный мир с немцами, так что Сазонову пришлось уйти в отставку. Вот ему и предложили пост российского посла в Великобритании. Но до посольства

в Лондоне он не успел добраться. В Петрограде все переменялось в одночасье. Потом Сазонов предлагал свои услуги профессионального дипломата Колчаку и Деникину, но они обошлись без него. Он осел в Ницце. Писал мемуары. Печатал какие-то статейки в «Иллюстрированной России», где главные полосы занимали красотки и кинозвезды. Жить в общем-то было не на что. Да и незачем. Жена, выбравшись на Запад, не поехала к нему в Ниццу. Да он и не прожил слишком уж долго. Похоронен был, впрочем, солидно, близ генерала Юденича. Разглядев надгробье его могилы, самые любопытные из туристов спрашивают у гида или смотрителя кладбища: «Это что? Тот самый Сазонов, который...» Услышав в ответ, что тот самый, который «способствовал», качают головой: ну и ну...

Документы обитателей Кокада, изданные ученым некропологом Иваном Грезиним, затрагивают разнообразнейшие проблемы, с которыми сталкивались погребенные соотечественники при жизни. Взять, к примеру, прошение на Высочайшее имя, отправленное еще в 1885 году перезахороненной здесь через сорок лет (точнее, в 1923 году) княгиней ИТАЛИЙСКОЙ, графиней СУВОРОВОЙ-РЫМНИКСКОЙ, урожденной фон ДРЕЙЕР ЕЛИЗАВЕТОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ, сестрой Надежды Александровны фон Дрейер, которая, в свою очередь, была морганатической супругой великого князя Николая Константиновича:

В 1864 году я выходила замуж и только два года из 20-ти лет моего замужества жила в одном доме со своим мужем. Несколько раз я хотела развестись с ним, но желание покойного Государя не тревожить старика Суворова таким скандалом заставило меня покорно повиноваться разойтись с мужем миролюбно. Теперь же прошу Вашего Императорского Величества приказать выдать мне бессрочный вид на жительство в России и за границей. Князь хочет заставить меня жить с ним после 18-ти лет свободы и в противном случае хочет, чтобы я ему дала развод, чтоб жениться на какой-то барышне. Жениться князь не должен, ни лета, ни здоровье не позволяют ему этого, а чтоб мне не быть постоянно под его угрозой, припадаю к стопам Вашим и убедительно прошу исполнить мою просьбу.

Двенадцатого декабря 1885 года государь повелеть соизволил: «выдать отдельный вид на повсеместное в Империи жительство без обозначения срока и с правом на выезд за границу».

Столь же милостивое решение получила в 1904 году княгиня КАНТАКУЗЕН (урожденная НИКОЛАЕВА) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (1868–1950), бывшая внебрачной дочерью великого князя Николая Николаевича Старшего, замужем за князем Михаилом Михайловичем Кантакузеном, генерал-лейтенантом, адъютантом ее отца:

...по ходатайству Вел. Кн. Сергея Михайловича последовало соизволение на пожалование ей ежегодного пособия в размере одной тысячи рублей в месяц сроком на 5 лет, из Кабинета Е.И.В.

Похороненный на Кокаде СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ КАНШИН (1863–1944) был российским генеральным консулом в Ницце в 1906–1917 годах. Согласно документу

...окончил курс наук в Императорском Московском университете по юридическому факультету со званием действительного студента, о чем имеет свидетельство от 19.XI.1887.

10 февраля 1889 г. определен в службу в канцелярию Московского губернатора канцелярским чиновником.

24 ноября 1892 г. назначен секретарем и драгоманом Консульства в Японии.

4 апреля 1896 г. назначен вторым секретарем Миссии в Берне.

С 19 мая по 24 декабря 1904 г. <...> управлял Генеральным консульством в Марокко.

21 июля 1906 г. перемещен консулом в Ниццу.

...награжден орденом Св. Владимира 4 ст. 7 февраля 1917 г.

Письмо Каншина на имя чиновника сербского Министерства иностранных дел Персиани 10.3.1928, Nice, 28, rue Verdi:

В прошлом году я встретился здесь с князем Арсением Александровичем Карагеоргиевичем, с которым у меня уже давно (со времени отбывания нами с ним воинской повинности в Петербурге) установились дружеские отношения. В разговоре с ним я объяснил ему наше (русских) теперь трудное и ненормальное положение в Европе, где мы лишены всякой поддержки и защиты и являемся даже лицами, лишенными советскими властями всякого подданства. Вместе с этим я заявлял ему, что я очень желал бы получить сербское подданство ввиду того обстоятельства, что нация эта является родственной нам по происхождению, культуре и религии. Князь Арсений Александрович обещал мне помочь в этом деле и надеялся, что ему удастся устроить это дело без того, чтобы я обязан был прожить в стране, на месте, известное время...

Письмо длинное и слегка напоминает шуточные стихи петербургского поэта ЛОЛО (Мунштейна), который вместе с женой, актрисой Ильнарской долго жил эмигрантом в Ницце и здесь же умер в 1947 году (об этих супругах мы подробнее расскажем дальше):

Я жил в Европе вполне культурно
(Ко мне на помощь друзья пришли).
Я жил недурно и спорил бурно
О злых проблемах родной земли.

...Я думал, сгинут враги лихие!
Мне луч спасенья сиял вдали...
Теперь погас он! Прощай, Россия —
Хочу быть сыном чужой земли!

... Смеюсь сквозь слезы безумным смехом,
Кричу: довольно лежать в пыли!
Хочу быть сербом, хочу быть чехом,
Хочу быть сыном чужой земли!

Как видите, бывший императорский генеральный консул и бывший любимец петербургских читателей поэт-юморист в равной мере ощутили под солнцем Ривьеры свое эмигрантское бесправие. Кстати, упомянутый в письме Каншина принц Сербский Арсен Карагеоргиевич был

в России генерал-майором русской службы. Его сын, князь НИКОЛАЙ КАРАГЕОРГИЕВИЧ (1895–1933) похоронен на Кокаде вместе с супругой своей АВРОРОЙ ПАВЛОВНОЙ, урожденной ДЕМИДОВОЙ, а по второму браку пфальцграфиней ДИ НОГЕРА (1873–1904).

Надо отметить, что бывших дипломатов всех рангов на Кокаде великое множество. Скажем, статский советник ГЕННАДИЙ ГЕННАДИЕВИЧ КАРЦОВ (1869–1947), награжденный всеми возможными орденами и в разные страны командированный, или действительный статский советник КАРЦОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1857–1931), служивший секретарем Генерального консульства в Константинополе, затем в Мосуле и в Ведине, написавший затем воспоминания о внешней политике как стимуле народного хозяйства.

Бурную жизнь прожил ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ КРУПЕНСКИЙ (1868–1945). В 1889 году он с золотой медалью окончил Императорский Александровский лицей, а десять лет спустя, будучи уже вполне зрелым дипломатом, участвовал в обороне российской миссии в Пекине. Уцелев в этой стычке, он был позднее советником в русских посольствах в Китае, в Вашингтоне, в Вене и, наконец (в 1916 году), русским послом в Японии.

Кстати, и бывший русский консул в Японии АР-ТУР-КАРЛ ЮЛЬЕВИЧ ЛАНДЕЗЕН (1874–1935) похоронен в семейном склепе неподалеку от посла. Он закончил китайско-маньчжурско-монгольское отделение восточного факультета Санкт-Петербургского университета и служил воспитателем в пансионе знаменитого частного училища Я. Гуревича (оно и в сегодняшнем Петербурге высоко держит марку). В 1902 году он стал студентом Российской миссии в Пекине, а уже потом консулом в Японии. По всем известным причинам карьера молодого русского дипломата завершилась до срока.

Гораздо реже, чем военачальники, чиновники высокого ранга и дипломаты, встречаются на Кокаде, скажем, астрономы. Но и они есть, к примеру, КЛЕЙБЕР ИОСИФ АНДРЕЕВИЧ (1863–1892), магистр астрономии, приват-доцент Санкт-Петербургского университета, для поступления в который ему, между прочим (возможно, как лютеранину), понадобилось свидетельство о благонадежности. Еще мальчиком будущий астроном выучил три европейских языка, а на математическом отделении университета был удостоен серебряной медали за работу «О методе взаимных поляр», а потом и золотой за сочинение «Астрономическая теория падающих звезд». По окончании Клейбер был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. Как сообщает на основе сохранившегося документа И. Грезин,

Министр народного просвещения 31.3.1887 г. допустил магистранта к чтению лекций о приложении математической теории вероятностей к исследованию общественных явлений в качестве приват-доцента (в новом учебном году). Вступительная лекция «Предмет теории вероятностей и ее методы» была назначена на 7.9.1887 г. Министр народного просвещения 18.1.1888, «ввиду полученных Министерством сведений о приват-доценте С.-Петербургского университета Иосифе Клейбере» просит попечителя С.-Петербургского учебного округа сделать распоряжение о прекращении чтения им лекций.

Потом обнаружилось, что не все потеряно, и Клейбер «распоряжением министра от 29.8.1889 допущен к чтению лекций по курсу “Способ наименьших квадратов” с осени 1889 г.». Выяснилось, очевидно, что наименьшее зло все же не в приложении новых теорий, а просто в наименьших квадратах. Умер Клейбер совсем молодым в Ницце, куда приехал лечиться от чахотки.

Но конечно, не все постояльцы Кокада так себя при жизни мучили науками, как астроном Клейбер. Вот полковнику КЛИМОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ (1884–1930) из Уральского

казачьего войска и вовсе мало довелось учиться, а воевал казак хорошо, да и в эмиграции не пал духом, сколько народу кормил свежей курочкой...

Родом был Климов из станицы Глининской, вступил совсем молодым в 3-й Уральский казачий полк, ушел рядовым на Первую мировую, а вернулся уже есаулом. В 1918 году он был избран председателем Военного комитета Уральского казачьего войска, занимал в годы Гражданской войны всяческие руководящие должности, а когда казацкие силы были сильно потрепаны, совершил с остатками войска переход от Гурьева до форта Александровск, а оттуда еще дальше, аж в Месопотамию. Летом 1920 года он воевал в казачьей Персидской дивизии, был в ней начальником всей кавалерии. Позднее жил в Чехословакии, потом перебрался во Францию. И вот оказался на Ривьере, под Грассом. Здесь и развернулись его мирные казачьи таланты. Он создал образцовое куроводческое хозяйство и много бы чего еще мог совершить, но судьба судила иначе. Недоглядел за куроводческими хлопотами нагноение старой раны на ноге. Не ходил казак к врачам. Вот знаменитый его сосед по Грассу Иван Бунин никогда б не допустил такого. Всех врачей в округе обходил внимательный к здоровью писатель, самых знаменитых, уже и оставивших практику, вроде Бреза. От всех получал консультацию и успокоение. И денег за консультацию почитающие Толстого и Достоевского французские, русские, еврейские врачи, конечно, не хотели брать... А героический воин и куровод Климов упустил время, умер на больничной койке от гангрены сорока шести лет от роду.

Врачи тоже лежат на Кокаде рядом со своими пациентами. И знатные среди них были специалисты! Вот замечательный хирург, доктор медицины АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ КОЖИН (1870–1931), консультант по хирургии Санкт-Петербургского Николаевского морского госпиталя.

Еще приметное имя – княжна ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА КОЛЬЦОВА-МАСАЛЬСКАЯ (1851–1941). Ольга родилась в петербургской семье князя Н.А. Кольцова-Масальского и его второй жены Е.А. Ноинской. Девушка воспитывалась в Санкт-Петербургском институте благородных девиц ордена Св. Екатерины. Но матушка Ольги умерла, когда ей было 11 лет, и отец женился в третий раз. Ольга замуж не вышла, по слабости здоровья двадцати шести лет уехала в Ниццу и больше в Россию не возвращалась. Писала акварели, жила потихоньку. Ей было уже за сорок, когда в Петербурге умер отец, и все его обширное наследство (большое имение в Калужской области и второе в Псковской) перешли к Ольгиному родному брату Николаю, который был беззаботный кирасир и холостяк и о сестре думал мало, так что ей пришлось трудно. Об этих ее трудностях сироты, лишенной наследства, с сочувствием писал в ответ на какой-то запрос, то ли жалобу русский консул из Ниццы еще в 1904 году, сообщая, что княжна «принуждена зарабатывать средства к жизни уроками и живописью. Сильная конкуренция и собственная болезненность лишали ее часто возможности работать и заставляли неоднократно обращаться в местное Русское Благотворительство, ограниченные средства которого позволяли выдавать ей небольшое пособие».

Со времени написания этого письма княжна прожила в Ницце еще чуть не четыре десятка лет, писала акварели, давала уроки русского языка, а иногда и обедала в столовой удешевленных обедов в красивом зале при русской церкви на рю Лоншан, где нынче размещается читальня приходской библиотеки.

В годы Второй мировой войны в преклонных годах умерла в Ницце МАРИЯ АРСЕНЬЕВНА ЛЕМАН, урожденная КАРАМЫШЕВА (1856–1942). Родилась она в Луге, была воспитанницей Императорского воспитательного общества благородных девиц, училась в Мариинском институте, была инспектрисой сиротского института Императора Николая I и Александровского сиротского женского профессионального училища. В прелестную девятнадцатилетнюю Марусю Карамышеву влюбился молодой поэт Семен Надсон, живший неподалеку от их лужской усадьбы. В ранних его стихах мелькает романтический ее силуэт...

Из многочисленных представителей рода Коцебу, похороненных на Кокаде в семейном склепе и в близлежащих могилах, в памяти поколения остались граф ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ КОЦЕБУ (1884–1966), полковник лейб-гвардии Уланского полка, бывший комендант царско-сельского дворца, а также полковник АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ КОЦЕБУ (1876–1945), адъютант великого князя Николая Николаевича, а в 1915 году адъютант главнокомандующего Кавказской армии.

Из похороненных на Кокаде представителей княжеского рода Кочубеев в Ницце особенно часто поминают княгиню ЕЛИЗАВЕТУ ВАСИЛЬЕВНУ КОЧУБЕЙ (1821–1897). Эта «краса черкасских дочерей» по-кочубеевски широким жестом подарила городу Ницце свой роскошный дворец, в котором разместился Музей изящных искусств Жюль Шере. Конечно, чтобы заполнить таких размеров и роскоши музей произведениями искусства, провинциальной Ницце нужна по меньшей мере еще одна столь же богатая и щедрая княгиня, а богатые князья нынче в диковину, Кочубей тем более...

Представители княжеского рода Кропоткиных, похороненные на Кокаде, были главным образом офицерами, гусарами, драгунами, из Кадетского корпуса выходили в кавалерийские училища, сражались против большевиков, женились на барышнях Гагариных, Бибиковых, Галаховых, Щербатовых... Всех превзошел ротмистр СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КРОПОТКИН (1853–1931), который женился четыре раза, в последний раз на княжне ЕВГЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ ГАГАРИНОЙ (1871–1952), но в мирную эмигрантскую жизнь, пожалуй, удачнее прочих вписался выпускник Пажеского корпуса, полковник лейб-гвардии Уланского полка князь ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ КРОПОТКИН (1878–1943), который по примеру казака Климова занялся на Лазурном Берегу разведением кур.

В истории российской дипломатии видную роль сыграл старинный княжеский род, один из вполне симпатичных представителей которого похоронен на Кокаде. Речь идет о роде князей Куракиных, потомков литовского великого князя Гедимина. Первый из них приехал в Москву в начале XV века и сразу породнился с царем. А соратник и свояк Петра Великого Борис Иванович Куракин, женатый на Лопухиной, был первым настоящим заграничным послом империи. Покоящийся же на Кокаде АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ КУРАКИН (1875–1941) был государственным деятелем, членом Второй думы, церемониймейстером двора, видным землевладельцем Орловской губернии. Родился он в Санкт-Петербурге, учился на юридическом факультете Харьковского университета, служил в лейб-гвардии Преображенском полку, был предводителем дворянства у себя в Малоархангельском уезде Орловской губернии, где имел 5000 десятин земли, и немало хлопотал о проблемах сельскохозяйственной общины. Сблизился с семьей соседа по имению, бывшего французского беженца, ставшего русским генералом (генерал Сергей Олив), и женился на его старшей дочери Софье. Ну а потом были война, в годы которой он был уполномоченным Российского общества Красного Креста, были революция и большевистский переворот. В первый раз его арестовали в 1920-м, выпустили в 1922-м, снова арестовали в 1923-м, он отбывал ссылку в Усть-Сысольске и в Вятке, прожил в Вятке до 1932 года, перебрался ближе к Москве, в Тарусу. Работал старшим бухгалтером женской вышивальной артели. В 1933 году князя А.Б. Куракина снова арестовали.

О дальнейшей судьбе князя мне со слов его дочери рассказала Мария Борисовна Авриль, которая работала с Анной Александровной Куракиной в Национальной библиотеке Франции.

– Ну и что с князем произошло в тридцать третьем году? – спросил я. – Отчего он не был расстрелян?

– Вы представить себе не можете! – В голосе Марии Борисовны звучало несомненное удивление. – Они их всех продали... И Александра Борисовича, и Софью Сергеевну, и дочку, и бабушку. А еще продали одну икону и два портрета Боровиковского. Продали во Францию. Вы можете себе представить?

– Могу, – сказал я уныло. – Гитлер продавал живых евреев. Позднее свободный Вьетнам продавал, свободная Куба... До сих пор террористы торгуют...

Куракины уехали в Ниццу. Родители занимались общественной работой. Дочь выучилась на библиотекаря. Князь давал бедным соотечественникам бесплатные юридические консультации. Он прожил на свободе недолго. Туберкулез его добил.

Одними из немногих лично мне знакомых нынешних обитателей русского Кокада я мог бы назвать двух братьев: ЮРИЯ БОРИСОВИЧА ЛАСКИНА-РОСТОВСКОГО (1909–2000) и Николая Борисовича. Мы впервые разговорились с ними в читальном зале приходской библиотеки в Ницце на рю Лоншан, и мне было очень интересно познакомиться и побеседовать с братьями, так много знавшими и помнившими о былой жизни русской Ниццы. Собственно, беседовал со мной, все мне объяснял и показывал, гуляя по Ницце, Юрий Борисович. Младший брат, как правило, не раскрывал в его присутствии рта и только смотрел на старшего восхищенно. Между тем именно Николай Борисович представился мне как бывший журналист, тогда как Юрий (или Георгий) Борисович был просто торговцем, или, как он говорил, генеральным агентом торговой компании. Жил Юрий Борисович неподалеку от моего дома в Северной Ницце, и, когда мы проходили вместе с ним по улице Малоссена или по «самому русскому» некогда бульвару Гамбетта, Юрий Борисович говорил вполголоса, как бы вспоминая: «Вот здесь был бар князя Вяземского... А тут гараж генерал-майора Апрелева... Собственно, они работали вместе с моим отцом...»

Иногда Юрий Борисович рассказывал мне историю из мифических, легендарных времен, когда у ростовского князя были сыновья и дочери со сказочными именами Лобан, Касатка, Ласка... Вот, мол, и бродят теперь по южному берегу Франции княжеские потомки с именами Лобановых-Ростовских, Касаткиных-Ростовских, Ласкиных-Ростовских. Когда я вернулся в Ниццу, дописав в Шампани свою книгу о Лазурном Береге, Юрий Борисович уже упокоился на Кокаде, в семейной могиле, где были похоронены его отец и мать.

Отец братьев БОРИС ГАВРИЛОВИЧ ЛАСКИН-РОСТОВСКИЙ (1887–1968) родился в Харькове, в семье коллежского советника, учителя русского языка и словесности Гаврилы Александровича Ласкина. Вот откуда, возможно, и у сына его, подпоручика, и у знакомого мне некогда внука было такое поэтическое воображение. Борис Гаврилович закончил перед самой Великой войной юридический факультет Московского университета. Окончив юрфак, Борис Гаврилович стал служить земским начальником Первого участка Порховского уезда Псковской губернии. Но тут разразилась Первая мировая. В 1916 году Борис Гаврилович окончил ускоренные курсы при Пажемском корпусе прапорщиком, был зачислен в гвардейскую артиллерию, но по здоровью на фронт не попал. Еще до окончания университетского курса, не предвидя, как и большинство россиян, будущих крутых перемен, Борис Гаврилович озаботился официальным признанием своего дворянского происхождения. Дворянское звание по заслугам получил некогда его дед, действительный статский советник Александр Яковлевич Ласкин, покинувший наш мир в 1884 году. Услуги дворянина Б.Г. Ласкина сгодились вскоре после революции 1917 года недолговечному Временному правительству, о чем сообщает на основании документов И.И. Грезин: «При Временном правительстве, будучи в чине подпоручика, был прикомандирован к посольству в С.А.С.Ш., где занимался секретной шифровальной работой».

Правительство было свергнуто, ехать с семьей посольскому секретчику и дворянину в пылающую Россию было не только бессмысленно, но и опасно, и они поплыли в теплую Ниццу, где было безопасно, но голодно. Вот тут и пришлось искать подпоручику способы прокорма семьи, потому что сбережений хватило ненадолго. В пору этих поисков и пришла на ум отцу семейства мысль о поддержке, которую могло бы оказать громкое имя. Великий князь Кирилл Владимирович, кстати, был в то время неподалеку от Ниццы и вполне благорасположен, а он как наследник престола многое мог подтвердить. Тогда-то подпоручик Б.Г. Ласкин и

стал, вероятно, Ласкиным-Ростовским, как бы прямым потомком Рюриковичей, и этой перемене имени может только посочувствовать всякий человек, наблюдавший попытки новых эмигрантов сохранить достоинство в условиях отчаянного падения их социального уровня в чужой стране. Автор этих строк впервые наблюдал это забавное явление на русском пляже в заокеанском Массачусетсе, где, представляясь новичку, еще не успевшему в первый раз опробовать ногой температуру воды, кто-нибудь уже протягивал дружелюбно руку, представляясь:

– Бескин... (или Брискин). Из Харькова. Инженер... – А потом вдруг прибавлял, доверительно глядя в глаза: – Главный инженер...

Автор далек от какой-нибудь жестокой насмешки или низкородного злорадства. Вот, скажем, и добродушный владыка митрополит Евлогий любил рассказывать вполне сходную эмигрантскую историю про трех старушек, которые вспоминают своих покойных мужей: «Мой муж был генерал, говорит первая, а мой был адъютант, говорит вторая, а мой был... начинает третья, терзая бедную память, но подруги немедленно ей напоминают, что она таки не была замужем, осталась в девушках...»

Что касается вполне к генеалогической сфере равнодушного автора этой книги, то он бы вообще не стал касаться звания и громкой фамилии спутника былых своих прогулок по Ницце, но добросовестное отношение к трудам знатоков генеалогии и некрополистики (в первую очередь А.А. Шумкова, выступавшего на конференции в Пскове с сообщением «Порховский дворянин Борис Гаврилович Ласкин и его род», и, конечно, исследователя Кокада И.И. Грезина) не позволяет пройти мимо их находок.

Так, И.И. Грезин в своей книге о Кокаде дважды дает сноску к двойной фамилии Ласкин-Ростовский, настаивая на неправомерности ее употребления: «Двойная фамилия – плод мистификации. Настоящая фамилия – Ласкин / Laskine (см. Примечание...». В примечании же ученый так пишет о поступке Б.Г. Ласкина:

В эмиграции самовольно и без каких-либо исторических оснований стал называть себя «князем Ласкиным-Ростовским», что нашло отражение и в надписях на памятниках. Семья Ласкиных происходит из архангельских купцов, известных с середины XVIII века. Даже если допустить, что они действительно потомки Рюрика и происходят от ростовских князей, то следует отметить, что в Российской Империи за ними никто этого никогда не признавал, и в Правительствующий Сенат за признанием титула никто из них никогда не обращался.

То есть первым дворянство получил Александр Яковлевич Ласкин (1812–1884), а уж его внук обратился за тем же в XX веке. Ну а я гулял с его правнуком по Ницце в последний год треклятого XX века, и он рассказывал мне о скудной их эмигрантской юности в этой некогда великокняжеской Ницце. Помню, мы остановились на авеню Оранж близ бульвара Гамбетта, и Юрий Борисович сказал мне жалобно:

– Вот тут бывали танцы у младороссов. Громкая музыка. Девушки... Но отец не велел нам с братом сюда ходить.

Я похвалил осторожность их батюшки Борис Гаврилыча. Секретчик из посольства, он наверняка догадывался, что на таких балах бывают не только девушки, но и профессиональные сеятели ностальгии, выполнявшие свой долг. Впрочем, куда от них денешься. И куда было деться от взаимных подозрений в униженной оголодавшей межвоенной эмиграции.

Кстати, о голоде...

Братьев Ласкиных я впервые повстречал в приходской библиотеке Ниццы, что на рю Лоншан. Перечитывал эмигрантские воспоминания генерала Масловского, который заведовал

этой библиотекой до самого 1963 года. Прочитал про «столовую удешевленных обедов», поднял глаза от рукописи (полвека спустя все еще рукописи!), увидел двух братьев Ласкиных, скучавших над листом «Русской мысли», и спросил, мало надеясь на ответ:

– И где ж она была в Ницце, эта замечательная столовая удешевленных обедов?

Но в ответ старший из братьев, Юрий Борисович, которому было уже лет девяносто, постучал через лист «Русской мысли» по столешнице и сказал с большим одушевлением:

– Вот здесь мы и обедали, за этим самым столом.

Растроганный таким впечатляющим путешествием во времени, я спросил, глядя на братьев, на золоченые корешки книг, на бывший обеденный стол:

– И вкусные были обеды?

– Да, вкусные. Сытные. И суп. И десерт... – с чувством припоминал Юрий Борисович.

– Да еще и удешевленные... И кто же это придумал?

– Маркиз Меронвиль де Сен-Клер, – торжественно сказал Юрий Борисович, и я удивился еще больше:

– Маркиз? Француз?

– Вообще-то он говорил по-русски, – неуверенно сказал Юрий Борисович. – Но жил в Ницце. На бульваре Гюго у него была вилла.

С того дня прошло много лет, и я нашел на Кокаде могилу маркиза Меранвиля де Сен-Клера (почему-то надгробье без дат жизни и смерти). За эти годы и сам Юрий Борисович перебрался к родителям на Кокад, а я узнал кое-какие подробности про Меранвиля и Меранвилей, но история «удешевленных обедов» по-прежнему казалась мне и трогательной, и удивительной, равно связанной с историей Франции и России, где время от времени происходят революции, от которых людям приходится бежать. И всегда находится в небезгрешной человеческой душе (хоть русской, хоть французской, хоть какой) уголок для доброты и энергия для добрых дел.

Так вот, КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ МЕРАНВИЛЬ ДЕ СЕН-КЛЕР, бежавший некогда из Архангельска в Ниццу и упокоенный на Кокаде... Начну с того, что самый первый из Меранвилей, появившийся в России, тоже был беженец. Он бежал в Россию от кровавой французской революции и от кумира свободолюбивой французской нации самозванца Буонапарте. Принят он был в России вполне ласково, удостоен в 1813 году русского гражданства и восстановлен в дворянском звании, вскоре вступил в гвардию и пошел воевать против французского супостата, а к 1817 году Андре Меранвиль был произведен в чин поручика. Теперь он смог жениться на майорской дочери, девице Смородинской, в связи с чем теща, майорша Настасья Смородинская, подарила французскому зятю небольшое поместье в Касимове с двумя десятками крепостных, так что стал Меранвиль Андрей Степанович (так он велел себя звать отныне) обычным касимовским помещиком. И ста лет не прошло, как рассеялось меранвиль-сен-клеровское племя по всей необъятной стране, аж до самых дальних восточных берегов России. И все верно служили новой своей родине, главным образом по военной части, даже и на видных постах, хотя иногда, впрочем, и на вполне скромных. Был, к примеру, один из Меранвилей простым железнодорожным кассиром на дальневосточной станции, хотя в тех же краях начальником всей полиции Уссурийской железной дороги был другой Меранвиль, жандармский полковник Андрей Николаевич Меранвиль де Сен-Клер (вся грудь в орденах). Еще дальше пошел по службе родной его брат Константин Николаевич, тоже бывший полковником корпуса жандармов и адъютантом в высочайшей петербургской инстанции. Вот об этом Меранвиле, похороненном на Кокаде, у нас и пойдет главным образом речь. Супруга его Ольга, происходившая из знатной семьи Лопатиных, была не только собой хороша, но и предприимчива, склонна к умножению недвижимости, уже владела домом на Невском проспекте столицы и к тому же двумя квартирами (на Большой Конюшенной и на набережной Мойки), но, поскольку аппетит

приходит во время еды, мечтала о новых приобретениях. Супруг ее старался всеми силами этим ее честолюбивым мечтам споспешествовать, даже и не вполне надеясь на свое немалое жалованье, однако горячее это стремление привело к одному весьма печальному (а может, в конечном счете, наоборот, к неожиданно спасительному) вполне уголовному происшествию...

Случилось так, что умер один старый и весьма богатый отставной генерал по фамилии Попов, оставивший после себя весьма внушительное имение, а также двух взрослых сыновей Павла и Юрия, причем Павел успел еще при жизни отца рассердить генерала своевольной своей женитьбой и был по отцовскому завещанию лишен всякого наследства. Однако мягко-сердечный Юрий все же не оставил брата нищим, выделил ему немалую толику состояния (150 000 наличными рублями и еще 360 000 рублей заемными письмами), после чего уехал в город Париж, где лечил у французского медика свои слабые нервы. Однако брату Павлу такая доля наследства показалась недостаточной, и задумал он правдами-неправдами выжать из хворого брата хотя бы еще мильон-другой. Для осуществления этого коварного плана понадобилась Павлу помощь какой ни то устрашающей, бесцеремонной фигуры. Именно такой и показалась ему фигура жандармского полковника Константина Меранвиль де Сен-Клера, которому он предложил 60 000 неслабых тогдашних рублей за осуществление хотя и не слишком трудной, но и не вполне чистоплотной операции. Самое печальное было в том, что этот представитель славного французского рода и работник не менее славных силовых органов не устоял перед соблазном, а сразу отправился в Париж, разыскал там бывшего на исцелении Юрия и пригрозил ему якобы назревшими карами (вплоть до конфискации имущества) со стороны жандармерии и Императорской Главной Квартиры за несправедливый якобы раздел наследства. Испуганный Юрий обещал немедленно дать брату еще полмиллиона, а потом еще и еще. К тому и шло, однако каким-то образом слухи о преступном и грязном поступке жандармского полковника просочились наверх, и, как ни была слаба русская юстиция, она взяла да и привлекла Меранвиля к ответу. Судили его весной 1897 года в Петербурге, и, лишенный «всех званий и привилегий», К.Н. Меранвиль отправился в ссылку в город Архангельск. После Петербурга и Парижа северный климат и деревянные тротуары города привели разжалованного жандарма в отчаяние, и решил он бежать. Выпросив у властей отпуск из ссылки для поездки в Киев к больной якобы матушке, многоопытный жандармский полковник подделал чужой паспорт и, прихватив что было, сбежал из Киева во Францию, где и поселился в Ницце. История эта наделала тогда немало шуму в русской печати. Писали о ней все, кому не лень. Один начинающий журналист с юридическим образованием по фамилии Ульянов упрекал тогда в своей заметке русское правосудие в мягкости и беспечности: разве можно так близко ссылать, да чтоб еще и сбежать могли. Конечно, никто тогда не обратил внимания на яростного молодого человека, еще и не имевшего серьезного опыта ни в юстиции, ни в журналистике, а напрасно. Можно сказать, проморгали восходящую звезду, потому что когда этот молодой человек стал во главе всей России, то доказал, что у него репрессии могут быть куда круче, чем при проклятом царском режиме. А эту забытую ничтожную заметку верноподданные Ульянова разыскали и напечатали в шикарном многотомном собрании сочинений...

Однако вернемся к нашему беженцу. Бежал он, скорей всего, не с пустыми карманами, так что поселился на собственной вилле в самой роскошной части Ниццы (на бульваре Виктора Гюго). Помаленьку он окреп, оправился от уголовных невзгод и лет через семь отправил на Высочайшее Имя в Петербург прошение о «помиловании измученному и исстрадавшемуся человеку». Прощение не вдавалось в суть случившегося, но написано было очень трогательно, с упором на сострадание и возвращение кое-какого имущества.

Почти десять лет назад меня постигло величайшее бедствие... я был осужден и приговорен к лишению всех лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке на житье в Архангельскую губернию. Ужас

постигшего меня приговора, ссылка и пребывание в г. Архангельске в качестве ссыльного уничтожили мое здоровье. Последствием моего болезненного состояния явилось то, что я самовольно покинул отечество...

К прощению жуликоватый полковник приложил старую справку от киевского врача о том, что пребывание в захудалом Архангельске опасно для цветущей жизни молодого полковника.

Министерство юстиции, получив этот эпистолярный шедевр, проявило гуманность к бывшему коллеге. И правда, не повезло человеку, у людей все путем, а он попался. И как столичному человеку в портовом Архангельске, где, как поет Александр Городницкий, «мостовые скрипят как половицы»? А потому предложило Министерство юстиции освободить беднягу «от пребывания в ссылке» (где его уже восемь лет как не было), но «без восстановления в правах имущества».

В общем с имуществом номер не вышел, но здоровье у беженца точно поправилось, опасности для жизни больше не было: полковник прожил еще пятьдесят лет на вилле «Баки» в благодатном ривьерском климате. Но и еще кое-что новое и приятное случилось с бессовестным, казалось, русским жандармом французского происхождения. Прошло лет двадцать, и пришли в Россию революция и большевистский путч, вроде тех, от которых бежал когда-то из Франции в Россию Андре Меранвиль, да что там, еще похлеще. И вот стали появляться в Ницце испуганные, измученные, все потерявшие, кроме жизни, русские беженцы. Да еще из таких, к кому в былые времена полковник не попал бы и в переднюю: министры, гофмейстеры, великие князья, крупные заводчики, фрейлины императрицы... Иных из них даже видел когда-то полковник Меранвиль де Сен-Клер, но издали. И тут что-то дрогнуло в груди стареющего русского француза. Появилось нечто, совсем непохожее на бывшее жлобство. Стал Константин Николаевич Меранвиль де Сен-Клер одним из самых активных деятелей русской благотворительности, одним из главных энтузиастов взаимопомощи и прокормления русских бедолаг. «Удешевленные обеды» на рю Лоншан были среди его главных забот. Имя его совсем по-новому зазвучало в разговорах, в эмигрантской переписке. О личности его любой мог сказать: светлая. А что раньше было – никто и вспомнить не мог. Да и какое кому дело? Кто ж и при каком режиме не брал в России лишнего...

А вот пожалеть ближнего, это не всякий мог.

И, глядя издали, можем сказать: умер в Ницце уважаемый, оплаканный многими русский маркиз-соотечественник. Из тех же Меранвилей, которые после прихода к власти соратников журналиста Ульянова остались в России, мало кто уцелел. И того, что был революционер-меньшевик, а потом стал большевик и возглавлял народную власть в Белгороде (Леонид Александрович Меранвиль), и того, что был станционный кассир, а потом глубоким стариком прятался в деревне (Сергей Николаевич Меранвиль), и разных прочих потомков Андре Меранвиля – всех почти поставили к стенке во имя негативной селекции населения и усиления народного испуга.

Говоря о служителях муз из числа покойных русских эмигрантов всех «волн», можно заметить, что они и в «старое доброе время» во множестве посещали волшебный этот берег, даже подолгу на нем жили, но умирать уезжали обычно поближе к семье, к друзьям, к привычному окружению – кто в Москву и Петербург, а позднее – в Париж, в Берлин, в Прагу, а кто и в Нью-Йорк. Впрочем, были среди них и такие, кто нашел упокоение на живописном Кокаде. Вот, скажем, ЛУКОМСКИЙ ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ (1884–1952). Замечательный был художник – акварелист, график, художественный критик и знаток архитектуры, историк, краевед, плодовитый журналист и писатель... Родился он в обедневшей дворянской семье в Калуге, чуть не с девяти лет учился рисованию, а с девятнадцати изучал архитектуру в Казани и в

Санкт-Петербургской Академии художеств и получил звание архитектора. Однако он не прекращал учиться, занимался классической литературой в Румянцевской библиотеке, историей в Историческом музее, прикладным искусством в Строгановском училище. И конечно, странствовал без усталости по старинным городам России, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, где оживали под его пером, резцом и кистью старинные шедевры архитектуры. Он рано сблизился с «Миром искусства» и с журналом «Аполлон», в 1909 году в салоне Маковского прошла его первая выставка, потом уж их было много, и в России, и за границей.

Старинная архитектура, старые города Европы были его страстью, он создавал серии пастелей, акварелей, рисунков, а позднее издал двадцать две книги про церкви, жилища, синагоги («Старый Париж», «Старая Казань», «Старая Варшава», «Старый Киев»...). Он не чурался службы, работал в комиссиях по сбережению художественного наследия. Начинать эту работу в Петербурге, продолжал в 1918 году в Киеве, но с приходом Добровольческой армии, опасаясь подвергнуться репрессиям как «советский служащий», уехал дальше на юг, потом в Константинополь, потом в Берлин, а с 1925 года до конца своих дней (больше четверти века) жил во Франции. При этом он много раз выставлялся дома (еще и в 1928 году его выставляли в Казани), получил несколько высоких французских наград, очень много писал, печатался в русских эмигрантских изданиях, а часто и во французских художественных журналах. Работы его найдешь и во французских музеях. Такой вот замечательный был художник, историк искусства, знаток архитектуры, писатель-труженик.

Другой, пожалуй, еще более известный русский художник, похороненный на Кокаде, – ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ МАЛЯВИН (1869–1940). Удивительный живописец, и жизнь у него была удивительной... До самой преждевременной (семидесяти с небольшим лет) его смерти казалось: вот счастливчик, баловень судьбы. Родился он в уральской глуши, в селе Казанка, по сравнению с которым и Бузулук, и Тоцкое Оренбургской области были маяки просвещения. Когда юный крестьянский сын Филипп Малявин запросил из Петербурга у сельского схода разрешение поступить «в учебное заведение по науке живописи», 169 односельчан поставили на «временном увольнительном договоре» свою корявую подпись, но из них 162 не умели читать. Учебным заведением, куда он поступал, была не больше не меньше как Санкт-Петербургская Академия художеств, но еще до нее побывал сельский паренек на берегу Эгейского моря... Впрочем, начну по порядку.

Родился Филипп в многодетной крестьянской семье, так что неотступная детская мечта была, понятное дело, наесться досыта. Однажды, в зрелые годы, приехав в шведский город для устройства выставки своих картин, вспомнил художник за столом гостиничного ресторана «Савой» бывшее деревенское застолье, вспомнил и записал: «...когда ешь хлеб, нельзя крошки терять – грех! Говорить нельзя – грех, а смеяться и подавно, иначе по лбу получишь ложкой!»

Вторая была с детства мечта – рисовать. Откуда берется у ребенка такая мечта? Между прочим, на другом конце Российской империи, в польско-еврейском местечке Смиловичи, у соседей моей бабушки, многодетных и нищих Сутиных, был такой же вот сын-подросток: только б ему рисовать весь день (и тоже, между прочим, стал звездой Парижа, и тоже умер под немцем в военный год).

Юный Филипп Малявин рисовал чем попало и где попало, а когда было ему шестнадцать, приехал к ним в Казанку один русский монах из монастыря на греческом Афоне. От него Филипп и услышал об иконописном занятии, отпросился у отца в дальнюю дорогу. С тем монахом и уехал. Как кормились дорогой, понятное дело: пели, просили подаяния. А все же добрались, увидели теплое Эгейское море. Из двадцати монастырей Афона монастырь Святого Пантелеимона, под сень которого вступил юный Филипп, был к концу XIX века и «самым русским» (с 1875 года и службы велись в нем на русском, и настоятель был русским), и одним из самых многолюдных (до тысячи монахов). Обучение иконописи у юноши шло быстро, но

копировать годами одни и те же иконы на продажу было ему скучновато. Иногда, впрочем, писал Филипп для себя морские пейзажи, а иногда и в его копиях икон прорывались не поощряемые оригинальность, размах, красочное буйство.

Режим в монастыре Святого Пантелеймона был строгим, но молодому иноку повезло с наставником. Отец Гавриил был добр к нему, не позволял зачахнуть его здоровью в келье. А потом и вовсе случилось чудо. Вытребовал к себе инок в Бузулук воинский начальник, потому что пришел срок Филиппу служить в армии. Посмотрел бузулукский воинский начальник на странного призывника Малявина, спросил у него, чем он, длинноволосый инок, там, в Греции, занимается, и всего-то попросил... намалевать для его супружеской спальни на полотне почтовую тройку, ну и отпустил волосатого юношу обратно за границу, едва просохла «почтовая тройка» на полотне. Бывали же на Руси такие бескорыстные чудачки...

А на седьмом году иноческого послушания произошло с Малявиным на этом знаменитом чудесах Афоне новое чудо. Приехал туда поработать знаменитый в ту пору в России скульптор Владимир Беклемишев, академик, ректор Академии художеств, не то чтоб впечатляющий скульптор, но, что для нашей с вами истории важнее, человек хороший, добрый, отзывчивый и с чутьем настоящим. Попал он в монастыре Святого Пантелеймона в цех, где писали иконы на продажу, увидел малявинские ни на кого не похожие копии (потом еще показал ему инок маленький морской пейзаж), и понял петербургский гость: талант не спрячешь! Забрал этот влиятельный и богатый скульптор Малявина с собой в Петербург, поселил у себя дома и стал готовить его к поступлению в академию. Инок во всем благодетеля слушался, но неглупый хозяин дома заметил, что послушание у афонского инок «наружное», что склонен он к задумчивости, «до всего доходит сам», своим умом, а учиться очень хочет, хоть никогда еще толком и не учился. Позднее он так и написал о своем постояльце: «Все жадно его интересовало, и особенно поражало все то, что он узнавал из области науки».

Наконец пришел из далекой Казанки «Временный увольнительный приговор...» общины, и двадцатитрехлетний иконописец смог поступить в Академию художеств. Учился у Верещагина, у Чистякова, у Венига, а через два года пришел в академию И.Е. Репин и взял Малявина к себе. Учился Филипп вместе с Грабарем, Сомовым, Остроумовой-Лебедевой и написал всех троих соучеников портреты, которые и купил для своей галереи знаменитый Третьяков. Портреты Малявин и впрямь написал прекрасные, однако близко ни с кем из однокашников не сходился и вообще производил в студенческой толпе странное впечатление. Вот как рассказывала об этом острая умом Анна Остроумова-Лебедева:

Мое внимание было зацеплено странной фигурой. Юноша в необычной одежде. Похоже на монашеский подрясник. На голове шапочка, вроде скуфейки. Низко надвинутая на глаза. Из-под нее висят длинные волосы до плеч. <...> Простецкое лицо. <...> Перед началом занятий он, ни с кем не здороваясь, с опущенными глазами, прошел к своему месту и тихонько стал развертывать свои рисунки. Потом, оглянувшись кругом, он торопливо перекрестился, что-то бормоча про себя, перекрестил рисунок и принялся за работу.

Так что кое-кого и удивило, что знаменитый Репин выбрал это чудище себе в ученики (как удивляло многих тогда на парижской окраине, что «тосканский принц» Модильяни выбрал из толпы местечковой молодежи это пугало Сутина и взял его себе в собутыльники).

Замечено было, что и темы картин у этой деревенщины были странными и однообразными. Сперва – крестьянские девушки, потом, когда девушки созрели, пошли бабы: «Баба» (1904), «Две бабы» (1905), дальше «Три бабы» и, в порядке уточнения, «Две девки»...

Известность к странному художнику пришла совсем скоро. Уже и критика отмечала в его картинах «звучный цвет», монументальность, стихийность характеров, декоративность... Позднее «малявинские бабы» и вообще вошли в искусствоведческий и разговорный обиход.

Конкурсная (на звание художника) картина Малявина «Смех» наделала шума. Академическая комиссия пришла в ужас, студенту грозил провал. Репин, который отстоял своего ученика, так рассказывал об этом:

По поводу академических выпусков теперь была у нас бурная баталия из-за Малявина. Этот неукротимый, блестящий талант совсем ослепил наших академиков. Старички потеряли последние крохи зрения, а вместе с этим и последние крохи своего авторитета у молодежи.

И художественная молодежь, и пресса поддержали малявинское буйство красок, хотя влиятельный Стасов крыл этот «Смех» почем зря. Но уже было кому вступить за молодого художника и кроме Репина. В отчете о новой художественной выставке журналист-искусствовед (из первых в России) Александр Бенуа лихо написал в газетном обзоре: «Самое главное явление на выставке <...> картина г. Малявина. Слава Богу, на ней можно вздохнуть, вот наконец талант...»

А когда повезли «Смех» в Париж на выставку, он там получил золотую медаль. Теперь много что приходило в Париж из рвавшейся вперед культурной России, где грянул «серебряный век». Малявин стал одной из звезд на его небосклоне.

На выставке «Мира искусств» Малявин показал картину «Вихрь». Тут уж пришла слава. Вдобавок репутация провидца. В воздухе пахло вихрями, бурей и тревожным (то ли праздничным) разливом крови на портретах победоносных малявинских пейзажников.

Тридцати семи лет от роду не сильно грамотный Малявин был избран в Академию художеств и отправлен за ее счет в трехлетнее заграничное путешествие. Щедрость тогдашней растущей России была неповторима и несравненна...

Правда, новая долгожданная картина Малявина («Семейный портрет») большого успеха не имела, но критика привычно отметила растущее умение художника.

Малявин уехал с семьей в Рязань, работал сосредоточенно, размышлял над смыслом происходившего, а когда переехал в Москву, чтобы подготовить свою выставку, в России уже водворилась новая власть. Поскольку он принял ее спокойно и задумчиво, она встретила этого как бы певца трудового крестьянства благосклонно. Малявину разрешили ходить в Кремль и даже в квартиру самого труженика Ленина, чтобы подвинуть знаменитого портретиста на сотворение его образа, что Малявин и осуществил. Впрочем, задумчивость не покинула недавнего инока. В 1922 году этот признанный благонадежным крестьянский сын уехал с семьей для организации своей выставки в Париже, да там и остался, подтвердив наблюдение Беклемишева, что завезенный им некогда в столицу инок человек думающий, себе на уме.

Во Франции Малявин ухитрялся живописью кормить семью, конечно, часто повторялся, писал ожидаемых от него «малявинских баб» и новые портреты знаменитостей (балерины Балашовой, певицы-патриотки, агента НКВД Надежды Плевицкой), устраивал новые выставки в различных европейских столицах, а постоянно жил в Ницце. Картины его больше не поражали русскую публику, а кое-кто из бывших его русских поклонников (например, певец Шаляпин) даже поговаривал, что краски его потускнели, словно бы полиняли. Однако художник продолжал работать, и картины его продавались неплохо. Но вот к постаревшему русскому мастеру из Ниццы подкралась беда. Семидесятилетие застало его в Брюсселе, где он готовил свою новую выставку. Когда немцы пришли в Бельгию, бдительные нацистские силовики схватили старика, который ничего не мог им объяснить не только по-немецки, но и ни на каком

из языков, кроме подозрительного русского. Позднее приехало более грамотное начальство и знаменитого художника, во всем разобравшись, выпустили из кутузки. Он был болен, испуган и, ни с кем не советуясь, упрямо пошел пешком в Ниццу. Добравшись до Лазурного Берега, он слег почти сразу и больше уже не встал...

В одной могиле с великим отцом лежит дочь художника ЗОЯ ФИЛИППОВНА МАЛЯВИНА. Она была замужем за художником Леонардом Бенатовым (Леоном Буниatianом, уроженцем нынешней турецкой Армении), который поселился в Париже, близ Монпарнаса, по соседству со знаменитыми русскими художниками Юрием Анненковым, Зинаидой Серебряковой и Павлом Мансуровым. Бенатов гордился дружбой с универсальным гением Юрием Анненковым, но больше всего, судя по мемуарным записям последнего, он гордился своей редкой коллекцией работ Филиппа Малявина, оставшейся ему от его первого брака.

Вообще, как вы, может, заметили, семейная жизнь художников редко складывается просто, о чем неоспоримо свидетельствуют, в частности, документы, собранные И.И. Грезинным. Взгляните хотя бы на документы о жизни ЮЛИИ ПАВЛОВНЫ МАКОВСКОЙ, урожденной ЛЕТКОВОЙ (1858–1954). Вот выписка из метрической книги, из которой явствует, что «11.11.1866 года повенчаны были класный художник Константин Егоров Маковский и артистка Императорских С.-Петербургских театров драматической труппы девица Елена Тимофеевна Черкасова...». Семь лет спустя Елена Маковская-Черкасова умерла в Египте в возрасте 25 лет и была похоронена на кладбище греческого прихода Александрии. Овдовевший художник через два года вступил в брак с семнадцатилетней Юлией Павловной Летковой и состоял в этом браке довольно долго, но, как следует из утвержденного Св. Синодом 10.6.1898 за № 3317 «определение епархиального начальства»: «брак коллежского советника профессора живописи Императорской Академии художеств Константина Георгиева Маковского с женою его Юлией Павловной Маковской <...> по причине нарушения Константином Георгиевым Маковским супружеской верности расторгнут с дозволением истице, как первоначальной и имеющей еще не старые годы, согласно ее желанию, вступить в новый брак с другим беспрепятственным к тому лицом, и с осуждением ответчика, Константина Маковского, на всегдашнее безбрачие».

Легко догадаться, что не старый еще (59 лет) ответчик запрета не послушался и не далее как в июле 1898 года «вступил в третий брак и был повенчан в церкви Рождества Христова Чесменской военной богадельни Императора Николая I с дочерью статского советника девицей Марией Алексеевной Матафиной», имевшей от роду 29 лет, но в брак вступавшей впервые. В архиве нашелся и документ, объяснявший столь мирное разрешение конфликта художника с «епархиальным начальством» и Синодом: «31.1.1900 г. последовало Высочайшее повеление о том, чтобы дело о браке Маковского в Синоде было секретно приостановлено».

В утешение Юлии Павловне Маковской, дожившей в Ницце до 96 лет, можно напомнить, что рожденная в браке дочь ее Елизавета стала вполне знаменитой художницей, а сын стал поэтом, издателем, искусствоведом, историком русского «серебряного века».

Как же нам, не задержавшись, пройти мимо могилы художника, кавказского князя, правнука абхазского правителя Чачбы, друга Максимилиана Волошина и всего «Мира искусства», всех дягилевцев и всего Коктебеля, всего «Аполлона», всего театрального Петербурга в «серебряном веке»... Ему выпала долгая жизнь, сто лет, чуть не сорок тысяч дней прожил он в нашем лучшем из миров, но до дня одного нелегкого свидания не хватило ему всего пяти дней... Князь Шервашидзе-Чачба был первым профессиональным художником небольшого (всего их тысяч двести во всем мире, абхазов) народа, живущего на столь завидном прибрежье Черного моря, что редкий из нас, москвичей, помнится, не стремился в эти упоительные субтропики погреться на солнце, поплескаться в теплом море. Итак, мы у могилы князя

АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА ШЕРВАШИДЗЕ (1867–1968), рожденного в Феодосии, а последние десятилетия своей долгой жизни жившего в Каннах и Монако. Иногда его фамилию пишут просто как Шервашидзе, иногда с учетом великокняжеских корней – Шервашидзе-Чачба... Прадед художника великий князь Чачба был правителем гордой маленькой Абхазии.

Уже и в начале прошлого века появление столь экзотического потомка черноморского правителя в среде начинающих русских художников на захолустном бретонском берегу производило странное впечатление. Вспоминаются рассказы Александра Николаевича Бенуа об их жизни в деревне Примель, что в Финистере. Бенуа с молодой женой и племянником добрался туда поработать на пленэре, и в эту бретонскую глушь приезжали погостить знаменитейшие персонажи русского «серебряного века» – Дягилев, Бальмонт, Рябушинский, Кругликова... Вот как писал об этом А.Н. Бенуа в своей мемуарной книге:

...из самых первых, кто последовал за нами в Примель, был наш новый знакомый, необычайно милый и прелестный человек – художник, князь Александр Константинович Шервашидзе. <...> Предки его были, как говорят, даже царями Абхазии, но Александр Константинович, хоть и был очень породист с виду, обладал весьма скудными средствами, вел жизнь более чем скромную. Он был женат на особе прекрасных качеств, умной и образованной <...> и он и она были настоящими бедняками. Относился он, во всяком случае, к Екатерине Васильевне, если без каких-либо особых проявлений нежности, то все же с обязательной вежливостью.

Все подметил Бенуа – и доброту, и чудаковатость князя, и его вежливость с порядочной, очень образованной, но не слишком любимой женой, и нервность («он был очень добр, но в то же время нелепо вспылчив»). Но главное, что удивило и насмешило работающего художника Бенуа из итало-немецко-французско-русской семьи, было то, что кавказский аристократ, по мнению Бенуа, был «классически ленив»:

Из всех моих знакомых художников он был, несмотря на подлинную даровитость, наименее продуктивным <...> и не слишком борющимся со своей трудно одолимой склонностью к «far niente», к ничегонеделанию.

По признанию Бенуа, эта непостижимая лень не мешала князю «быть всегда опрятно одетым, отличаться большой воздержанностью в пище и питье». Воздержанность эта в значительной мере была связана с бедностью. В бретонском Примеле он снял для своей семьи уютную пристройку, где, по свидетельству того же Бенуа, «пол был из битой земли, а обстановка состояла всего только из деревянной кровати и из рукомойника, висевшего на веревочке...». Молодая супруга Бенуа огорчилась, что князь так скудно питается, но он уклонялся от всех приглашений на обед «из какой-то преувеличенной деликатности и гордости».

Мы с вами не усмотрим в деликатности князя никакого преувеличения. В конце концов, одним обедом всю семью ему было не прокормить, а честная и высокообразованная супруга его Екатерина была, как и он сам, сирота и не имела заработка. Ее воспитал кузен знаменитого Саввы Мамонтова. Видя блестящие способности сиротки, супруги Мамонтовы долго учили ее в различных русских школах, потом она занималась в парижской Сорбонне и для заработка позировала художникам. Учившийся тогда живописи молодой Шервашидзе так долго и внимательно писал портрет Екатерины («Портрет Екатерины Падалка», 1906 г.), что кончилось это венчанием в Петербурге. Первым у супругов Шервашидзе родился сынок Мишенька, но он

умер маленьким. Потом родились сынок Костя, а в 1911 году и дочка Русудана, но в тот самый год в семье и произошли крупные перемены. Во-первых, как истинный кавказец князь предпочитал сыновей дочерям, во-вторых, к этому времени ученая жена успела наскучить столичному сценографу и портретисту, каким сделался к тому времени князь Александр Шервашидзе, и, в-третьих, после оформления спектакля в Старинном театре князь все дальше углублялся в свой роман с яркой актрисой Натальей Бутковской, которая не только играла на сцене, но была и неплохим режиссером и вообще театральным деятелем. Активным деятелем и престижным театральным художником стал к тому времени и сам Шервашидзе, так что остроумное наблюдение о лениности князя, сделанное в Бретани А.Н. Бенуа, вряд ли поможет нам понять, как за десяток лет в Петербурге Шервашидзе успел оформить четыре десятка спектаклей для императорских театров (таких, как «Фауст», «Тристан и Изольда», «Гамлет», «Ромео и Джульетта» и пр.). При этом он успевал руководить одной из художественно-декоративных мастерских, участвовать в конкурсе юбилейных медалей (и победить), многократно выставлять свои эскизы и портреты в салонах, писать обзоры и рецензии для лучших художественных журналов России... Классической ленью тут не пахло. Новая супруга была ему сотрудницей, зачастую руководительницей (режиссером спектаклей), прежнюю он отправил с детьми в свою родную Феодосию...

Весной 1917 года Шервашидзе стал главным художником государственных театров, на театральных афишах столицы бесконечно повторялось его имя, но уже в начале 1918 года он благоразумно переехал в Сухуми, где они с женой открыли художественную школу для детей, втянулись в культурное строительство. Он хлопотал о создании письменности для абхазского народа, но хлопотал недолго. Он и здесь вовремя учуял запах кровопролития и решил уехать. Провожали его по-хорошему. Сам миниатюрный и глухой лидер абхазских большевиков Лакоба проводил его в путь, пока не слишком далекий. Шервашидзе уехал с женой к другу Максиму Волошину в Коктебель. Там он виделся в последний раз с собственными детьми, жившими в Феодосии. Дальше путь лежал в Варшаву, в Лондон и, наконец, в Париж. Остаток своей долгой жизни он провел во Франции и Монако. Работал много, писал декорации для русского балета, преподавал в Театральной школе и в Русском институте теории искусств, возглавлял всякие объединения, в том числе общество «Мир искусства», работал у Дягилева и в других балетных театрах, оформлял книги, выставлял свою живопись, а с 1940 года поселился в Монте-Карло. Жил полновесной творческой жизнью в этом сравнительно мирном уголке Европы. Иногда, не слишком регулярно, доходили вести с черноморского побережья. С трудом выжили его первая жена и дети в Гражданскую войну. Потом семью сослали в деревню под Вологдой. Позднее они смогли вернуться на юг. Сын Костя осуществил свою мечту, стал помощником капитана на судне, женился, но в 1938 году был (как и сотни тысяч других строителей коммунизма) на всякий случай расстрелян. В 1936 году выдвигенец глухого Лакобы товарищ Берия пригласил благодетеля на дружеский ужин и до досыта накормил цианистым калием. Потом в России была война, в которой гениальный Сталин победил, завалив нацистскую армию русскими трупами (в пропорции семь русских к одному немцу). Весь мир был восхищен этими гениями самопожертвования, Сталиным, Жуковым... Конечно, детали сталинского национального строительства не доходили до Французской Ривьеры. Ну кто мог там знать, что на избежавшем военных разрушений берегу близ Сухуми, как и повсюду на Кавказе, депортируют малые народы, показавшиеся Москве подозрительными, что из Абхазии в ходе операции «Волна» (1949 год) десятками тысяч выселяют мирных греков, в числе которых оказались и молодые родственники Шервашидзе...

В 1948 году художника настигла беда. Александр Шервашидзе потерял свою верную жену и соратницу Наталью Бутковскую. Они прожили вместе чуть не сорок лет. Когда она умерла, ему был 81 год, он оставался в добром здравии, хотя работать ему становилось все труднее. Последней его работой стал балет «Шахерезада».

Художник, остро ощущая одиночество, стал искать новую жену. Свободных невест после войны было много. И.И. Грезин напечатал документ 1951 года, свидетельствующий о подготовке Александра Шервашидзе к женитьбе на девице Беатрисе Бюрк. Брак этот отчего-то сорвался. Поиски невесты продолжались до середины 50-х годов (он был уже на середине девятого десятка), когда художник встретил в Монте-Карло недавно вернувшуюся из США молодую русскую эмигрантку Анну Степановну Сорину. Должен признаться, стоя над ее могилкой, что мы знаем о ее жизни совсем немного, гораздо меньше, чем о ее муже, знаменитом художнике Савелии Сорине, которого она только что похоронила в Нью-Йорке. Он был намного старше ее, влюблен, очастливлен, трогательно добр... Но прожили они в браке только пять лет. Он умер в 1953 году. Анна продала их нью-йоркский особняк и улетела в Монако. Там она купила виллу, которая носила вполне грузинское имя «Сулико», и взяла к себе в дом князя Александра Шервашидзе. Об этом мы можем догадаться, несмотря на уклончивые недомолвки посетившей Монте-Карло в 1968 году дочери художника и на все небрежные описания конца его жизни, оставленные искусствоведами. Известно лишь то, что по каким-то причинам художник А. Шервашидзе удочерил милую русскую вдову, поселившуюся в Монте-Карло на своей вилле. Может закрасься мысль, что у нее были без этого удочерения какие-то трудности с оформлением дома. Франция вполне бюрократическая страна... Но уточним, что вдова поселилась не во Франции и что у нее уже были какие-то отношения с принцессой Монако Грейс Келли.

Я думаю, что князь Шервашидзе (иные из потомков писали свое имя Шарвашидзе) просто предпринял удочерение вместо брачной волокиты. Или он стеснялся объявить о новом, позднем браке. Или просто ревновал ее к удачливому портретисту, первому мужу Анны, и хотел, чтобы она во что бы то ни стало приняла его славное княжеское имя. Все это лишь гипотезы. Мы ведь и сейчас мало знаем о том, что происходило в Монте-Карло в те далекие пятидесятые годы, когда на вилле «Сулико» поселился почти всеми забытый на родине абхазский князь Александр Шервашидзе. Но вот в 1956 году кое-что новое произошло... Ветер «оттепели» долетел до прекрасного города Тбилиси, и кое-что изменилось в культурной жизни. Например, страшное слово «эмигрант» уже можно было произносить без оскорбительных эпитетов. Это привело к тому, что в Тбилиси вышел новый грузинский журнал, в котором местный искусствовед Пиринишвили написал о художнике Александре Шервашидзе: был вот у нас такой человек, первый профессиональный художник Абхазии, потомок князей Чачба, который писал портреты и театральные декорации, да только сгинул где-то на чужбине и так будет со всяким, кто оставит родину... Года через два какими-то путями, может через парижскую племянницу Александра Шервашидзе, этот номер журнала дошел до Лазурного Берега и привел девяностолетнего героя очерка в немалое возбуждение. Это была весть из другого, уже мало знакомого мира, и в ней было признание его места, его заслуг, его ценности и каких-то необорванных связей, незаконченного пути. Девяностолетний мастер взбодрился и написал грузинскому искусствоведа вполне молодое, не лишнее юмора письмо, в котором не только благодарил за высокое признание своего творчества, но и вносил как бы незначительную поправку в биографические сведения, содержащиеся в очерке: «Исправляю небольшую неточность. Я еще жив, к моему удивлению, не болею и живу совершенно один... Все, что имею, готов отдать для музея в Тбилиси и Сухуми...»

Конечно, это было сенсационное сообщение для всего Тбилиси, всей Абхазии, всех знатоков искусства и художников, этакое чудо воскресения из мертвых. Но из всех людей по ту сторону границы самое большое потрясение пережила при этой новости молодая красивая женщина по имени Русудан. Она считала себя круглой сиротой: двадцать лет назад погиб в застенке ее милый брат Константин, уже три года как умерла ее матушка, почти сорок лет прошло с ее последних счастливых встреч с отцом на коктебельском пляже близ дома русского поэта Волошина... С ее знаменитым отцом! Так он жив, он где-то во Франции, в мифических

Каннах, но все же на этом свете, на котором им с мамой так трудно было выжить, брошенным, а милый брат Костя и вовсе... Она думала об отце так часто, особенно в эти последние годы круглого сиротства, и вот произошло чудо. В ее жизни появилась великая цель: она должна увидеть отца. Завязалась переписка, произошли события необычайной важности: отец прислал пятьсот работ для Сухумской картинной галереи и Тбилисского государственного музея искусств. Отец просил не обидеть при дележе абхазский Сухуми, и Сухуми не был вовсе уж обойден. Конечно, как всегда, десяток работ затерли где-то между адресами, они прилипли к чьим-то загребушим рукам, но оставшиеся все же попали в музей. Шервашидзе писал теперь письма на родину, отвечал на письма дочери. Да, конечно, он хотел бы приехать в Сухуми. Он неплохо себя чувствует. Но он одинок. Ни с кем не общается. К кисти давно не прикасался... А на историческую родину прилететь ему хочется. Только лететь он хотел бы не через Париж, не через Тбилиси, а прямо в Сухуми. Не надо никаких торжеств, утомительных приемов. Полет он выдержит: здоровье у него абхазское. Вот только визу бы кто-нибудь сделал. Да и чертовски дорого стоит. Вот это большое письмо к ней он отправил по телеграфу, стоило тыщу франков... Почему по телеграфу? И как может быть беден человек, отсылающий задаром полтысячи бесценных работ?

Шервашидзе написал вскоре, что в 1959 году ему пришлось выехать из Канн, его приютили какие-то друзья из Монте-Карло. Но ведь не было никаких друзей... Да, была «удочеренная» Анна Степановна Шервашидзе. У нее и живет...

Русудана билась как рыба об лед. Было за что. Щель в «железном занавесе», отделявшем советскую империю от несоветского мира, становилась шире. Иным счастливицам уже удавалось выезжать на Запад «по приглашению». Бедная дочь художника собирала бумаги, пытаясь поехать во Францию к родному отцу. Она мечтала когда-то стать художницей, не потянула сирота, выучилась на чертежницу.

На переписку с отцом и хлопоты ушло десять лет. За это время он разок все же полежал в больнице, а когда вышел, ему было уже девяносто девять. Где он жил? Пишут искусствоведы, что в каком-то якобы «пансионе принцессы Грейс Келли». А может, слово «пансион» легкомысленно переведено из более поздних переговоров Анны Степановны с принцем Монако о пенсии... Думаю, что жил старый художник в своей комнате на вилле Анны Степановны. И думаю, что предстоящая встреча с брошенной дочерью его тревожила. В старости многих угнетает чувство своей вины, реальной или придуманной. Шервашидзе как-то написал дочери, что он вот жил, ничего не замечая в мире, кроме своего искусства, кроме театра и декораций. То есть ничего, стало быть, не знал о муках жены и детей, оставленных в России, о своем расстрелянном сыне, об истребленных петербургских друзьях, об убитых Тициане Табидзе, Паоло Яшвили, Важе Пшавеле, о Несторе Лакобе...

Князь Шервашидзе был умный, осторожный человек. В 1946 году, когда просоветским эмигрантам щедро давали советские паспорта, князь отказался, предпочел остаться эмигрантом. Об этом он напомнил французским властям в 1951 году, овдовев и собираясь вступить в брак с девицей Бюрк.

Русудана добралась до Парижа по приглашению родственников 25 августа 1968 года. По молчанию встречавших ее на Северном вокзале родных она догадалась, что отца уже нет. Он умер 20 августа ста с лишним лет от роду.

Она постояла на Кокаде, на его могилке, посидела в его комнате в Монте-Карло и уехала домой. Написала отчет о своей поездке. Все как положено. Ничего лишнего. Да, он был патриот. Любил свою маленькую родину больше всего на свете. Любил сына...

Через пять лет после смерти Александра Шервашидзе Анне Степановне удалось поговорить лично с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой. Сообщают, что встретила вдова Сорина эту полномочную даму на каком-то приеме, то ли в советском посольстве, то ли на выставке, то ли на концерте, встретила и даже успела рассказать о том, что ее покойный муж

Савелий Сорин был большой патриот, любил Россию всем сердцем, хотел подарить родине большую коллекцию бесценных портретов своей кисти и даже оговорил это в своем завещании.

Иногда историю этого знакомства излагают даже более легко и светски. Скажем, в Интернете можно найти такой рассказ дочери покойной Е.А. Фурцевой Светланы:

Маме моей близка была Анна Степановна Сорина, знаток музыки, очень образованная изысканная дама, вдова Савелия Сорина, знаменитого на Западе художника, уехавшего из России в 1919. Она жила в Монако, летала на все концерты Большого в Европе, описывала их маме в письмах. Они познакомились в Милане, на гастролях Большого, и мама пригласила ее в Москву, а потом купила ей путевку в Дом актера, то ли в Сочи, то ли еще куда, Анна говорила, что после смерти Сорина никто о ней так не заботился.

В 1973 году Анна Степановна привезла в Москву двадцать знаменитейших соринских портретов (в том числе портреты Шаляпина, Сомова, Судейкина, Бенуа, Фокина, Баланчина). Еще через год она передала в дар Музею искусств Грузии соринские портреты знаменитых грузинских красавиц (Мелиты Чолокашвили, Элисо Дадиани и других). Впрочем, портрет славной красавицы Мери Эристойой-Шервашидзе Анна Степановна все же оставила у себя. О красоте этой девушки ходило немало романтических историй. Передавали, например, как император однажды строго выговаривал юной фрейлине за опоздание на дворцовую панихиду: «Грешно, мадемуазель, быть такой... красивой».

Надо сказать, принц Монако Ренье III был не в восторге от щедрости, проявленной госпожой Сориной, точнее, уже княгиней Шервашидзе. А нрав у принца был крутой. В конце концов, объяснял он, произведения искусства должны оставаться в стране, которая тебя приютила. Княгиня возразила, что эти произведения написаны были мужем еще в Америке и во Франции, то есть за границей четырехкилометрового княжества, и покойный муж завещал их своей социалистической родине. Но в общем-то ссориться с великой родиной Сорина крошечному Монако было не к лицу. К тому же вдовая княгиня находилась под особым покровительством принцессы Грейс Келли. Короче, удалось в княжеском дворце договориться, что княгиня Шервашидзе будет получать пансион до самой своей смерти, но оставшиеся портреты славного Сорина более не будет раздавать без удержу. Портрет блистательной красавицы Мери Эристойой (угасшей в парижском старческом доме 97 лет от роду и чуть не до самой смерти боготворимой былыми поклонниками) в конце концов перекочевал во дворец принца Ренье. Если верить легенде, портрет висел в спальне Грейс Келли, и, просыпаясь, принцесса долго-долго на него смотрела. Потом садилась к зеркалу: что не так? Пока все так...

А между тем пришло время Стране Советов собирать «разбросанные камни». Их, эти живые драгоценности, разбрасывали по свету полными сил и таланта, но собирали уже символически, в виде праха и старых гробов. Свозили их со всех концов света, в том числе из привычной Ниццы. Увезли Герцена, а в 1985 году дошла очередь и до потомка великого князя Келешбея Чачбы, художника Александра Шервашидзе-Чачбы, которого еще при его недолгой жизни в Сухуми (в 1918-м) самые убежденные из абхазских монархистов прочили в правители Абхазии. Инициатива перезахоронения, похоже, исходила от дочери художника Русуданы, упоминавшей в своем рассказе о поездке в Монте-Карло и мимолетный свой визит к «вдове Сорина».

Проблемы, которые возникают даже при самых патриотических проектах, вроде переноса покойников, оказались и на сей раз материальными, и Русудана обратилась за помощью в Монако, к той же «чужой вдове». На одно из ответных писем Анны Степановны в Абхазию я наткнулся совсем недавно, читая удивительные «Семейные мемуары фрейлины императрицы

Бобо Мейендорф». В предисловии к этим мемуарам некто Г.Д. Шарвашидзе цитирует письмо, присланное из Монако в Сухуми в январе 1979 года А.С. Сориной-Шервашидзе и затрагивающее историю смерти художника, визит его дочери и проблемы предстоящего перемещения праха:

Александр Шарвашидзе жил у меня, болел у меня, я за ним ухаживала и похоронила его на русском кладбище, купив ему могилу – его дочь приехала ко мне, чтобы поехать на могилу своего отца. Я ее приняла как родную, она забрала все оставшиеся вещи и рисунки, не дав мне даже маленького рисунка на память. Ее проживание у меня ей ничего не стоило, и она была принята как родная. Уехав, она меня даже не поблагодарила. Теперь же она захотела перевезти его прах на его родину, но хотела это мне поручить. Он похоронен на русском кладбище, но могила его куплена мною, а переносить его прах – это уже дело ее или же Вашего правительства.

В конце концов правительство маленькой курортной, столь любимой некогда всеми нами Абхазии наскребло денег, увезло князя-художника в Сухуми, перезахоронило близ Национального музея. А еще через пяток лет привезли сюда, в пустую кокадскую могилу, под памятник, поставленный русскими земляками, АННУ СТЕПАНОВУ СОРИНУ-ШЕРВАШИДЗЕ (ах, как хороша она была в Нью-Йорке в 1943-м и потом уже навечно, на портрете Сорина). Надпись на памятнике сообщает, что была она ветераном медицинской службы США и почетной гражданкой Франции, что умерла она в Монако в 1991 году, что была приемной дочерью князя Александра Константиновича Шервашидзе, а также, что в первом браке была замужем за художником Савелием Абрамовичем Сориным (1878–1953), а во втором браке – за сыном художника Александра Константиновича Шервашидзе. Что там был за сын у князя в середине пятидесятых, разве не расстреляли его в 1938-м? Такая вот лукавая посмертная шутка. Добросовестный Иван Грезин, не желая брать лишнего на душу, отсылает нас в своей постраничной сноске к замечательному биографическому словарю «Художники русского зарубежья» (авторы Либкин, Махров и Северюхин). Там же сказано, между прочим, и про старческий дом, где художник якобы доживал последние годы жизни. Хотел я свериться у милейшего Кирилла Васильевича Махрова, который никогда мне в консультации не отказывал, позвонил и узнал, что кавалер многих орденов, добрый Кирилл Васильевич недавно умер, чуть не дожив до девяноста лет.

Неужели так и останется эта могила одной из самых загадочных могил Кокада с таинственной одинокой вдовой?

Не надо думать, что с отбытием праха знаменитого князя-художника на свою беспокойную родину вовсе оскудела талантами кладбищенская земля райского Кокада. По-прежнему покоится в своей могиле профессор живописи, создатель исторических полотен ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ЯКОБИ (1836–1902). В свое время весьма популярны были в России такие его картины, как «Ледяной дом», «Костюмированное утро при дворе императрицы Анны Иоанновны», «Привал арестантов». Всероссийской популярности его «костюмных» картин немало способствовала инициатива журнала «Нива», придумавшего высылать всякому новому своему подписчику в качестве подарка репродукцию с картины знаменитого Якоби. Было и второе обстоятельство, вдруг напомнившее имя художника Якоби многочисленным поклонникам писателя Антона Чехова. В 1900 году Антон Павлович грелся в зимней Ницце на солнышке, жил в русском пансионе на рю Гуно, ездил в Болье в гости к историку Максиму Ковалевскому. От заграничной курортной скуки спасали его беседы с тем же Ковалевским и, конечно, с Якоби, доживавшим свои сорок лет добровольного изгнания. Чехов во всех письмах поминает язв-

тельного остроумца Якоби, с которым виделся чуть не каждый день. С чеховскими упоминаниями легче войти в историю, чем с любым «Привалом арестантов» на стене Третьяковки.

На Кокаде покоится дама, чья жизненная история вполне может стать сюжетом романтической повести о славе и бедствиях художников. Звали ее ЖОЗЕФИНА ИОСИФОВНА ФРИЧЕРО, урожденная КОБЕРВЕЙН (1825–1893).

Родилась она на Украине, и кое-какие из обстоятельств ее рождения я изложу чуть позже, не настаивая, впрочем, на их стопроцентной надежности, но пока – два слова о знаменитом носителе этого славного имени – Фричеро. Сравнительно недавно одну из центральных улиц Ниццы переименовали из Вашингтонской в улицу Фричеро (Фрисеро). Чем не угодил Ницце Вашингтон и чем угодил Фричеро? Угадать просто. Во-первых, американских названий в Ницце хватает. Но, как всякому европейцу известно, недотепы американцы только на то и годятся, чтоб над ними подшучивать. Француз пошутит над вкусом американца, потом с аппетитом съест гамбургер в «Макдоналдсе» и пойдет в кино на американский фильм... Так вот, жил в позапрошлом веке в небольшой и мало кому на свете известной, принадлежавшей тогда Сардинии, Ницце молодой живописец и гравер Жозеф Фричеро. Писал портреты и пользовался скромным успехом. Во всяком случае, на хлеб, сыр, оливки и вино кое-как зарабатывал. Привели раз к Жозефу заказчика, молодого русского князя. Позировать для портрета. Русских было тогда в Ницце еще мало, куда меньше, чем англичан. Но конечно, попадались русские князья. Симпатичный художник очень быстро и не утомив модель сляпал портрет молодого князя. В процессе позирования князь рассказал художнику петербургский анекдот, а художник князю – свой, провинциальный, про кюре и служанку. Богатый русский князь и веселый художник друг другу понравились. А главное, князь сам себе на портрете понравился. Спросил, сколько должен за работу, и обещал обязательно заплатить. Как только деньги придут: он здесь уже всему берегу должен. Что-то они все не идут, деньги. В ходе дружеской беседы князя с молодым художником некая внехудожественная деталь княжеского рассказа о петербургской жизни дала новый поворот не только разговору, но и самой судьбе артиста. Князь удивился, что Жозеф с таким талантом в этой захудалой Ницце работает за гроши. Да за такое творчество в городе на Неве, где он, между прочим, вхож в царский дворец, кучу денег отвалить могут.

После этого, вертя в руках кисть, стал молодой Жозеф более критически оценивать свое здешнее положение и после волнительных раздумий двинулся в дальнее странствие, через Стамбул, Одессу, Киев, Москву в сказочный Санкт-Петербург, город твердого рубля и благочестивой монархии. Прием Жозефу в Петербурге оказали сказочный. Чуть не в самом Зимнем дворце отвели ему комнатку для студии и потекли к нему позировать при дворе обитавшие господа, дамы и юные женские существа, чтоб увидеть свое отражение в мировом искусстве. А он что вдобавок придумал, пылкий итальянец: уроки рисования при дворе. Тут-то и пришли к нему учиться юные, до изумленья прелестные существа женского пола. И он со своею молодой южной наружностью и колонковой кистью в руке царил среди них, как романтический принц. Шепот, легкое дыханье, трели соловья! Дальше, как можно без труда догадаться, появилась и принцесса-ученица с кисточкой в тонких пальцах и влюбленностью в блестящих голубых глазах. Звали ее Юзия Кобервейн. Известно было, что ее отец имеет отношение к тайной полиции, но, с другой стороны, поговаривали, что на самом деле девочку эту внебрачно произвела на свет придворная дама шведского Карла IV фрекен Анна Мария Шарлотта де Рутенскельд. Романтическая дружба этой шведки с молодым русским наследником долго служила пищей для разговоров в обществе, но столь важное событие, как рождение внебрачного ребенка от сами знаете кого, не могло быть пущено на самотек, так что шведская гражданка была поспешно и интимно выдана замуж за надежного служилого человека: «Кто у нас там в тайном наблюдении еще неженатый? Осип Васильич? Да нет, по форме пишете – Кобервейн Иосиф Венцеславович. Полячишка, что ли?» Для важных родов брюхатую шведку-фрейлину

повезли в Киевскую губернию, в Белую Церковь, где в огромном имении обреталась прославленная графиня Браницкая, матушка уже хорошо известной нам графини Елизаветы Воронцовой, в прошлом близкая подруга и наперсница самой императрицы Екатерины Великой. Нетрудно догадаться, что рождение и устройство придворных внебрачных младенцев (побочных или, как уважительно говорят французы, «натуральных») – уж это она умела организовать как никто другой. Смиренно признавая, что к случаю с разродившейся в Белой Церкви шведской фрейлиной, выданной наспех за сыщика, причастен будущий император Николай I, историки скромно уточняют, что случилось это все же до декабря 1825 года, а значит, в пору своего легкомысленного увлечения шведской дамой Их Величество были всего только Их Высочеством. Но они не могут отрицать, что великий князь был счастливо женат на прусской принцессе аж с 1817 года, и супруги имели уже не каких-то «натуральных», а в браке зачатых детей. Остается добавить, что «натуральная» дочка произрастала при дворе и была, по всеобщему мнению, очаровательна. Некоторые знатоки творчества Л.Н. Толстого полагают, что именно рассказами об этой ее романтической прелести (а может, и о дальнейших трудностях ее судьбы) навеяны иные из женских образов великого писателя. Я, признаться, и сам наткнулся недавно на рассказ Льва Николаевича («За что?») о синеглазой худенькой польской девочке, влюбившейся в молодого участника польского восстания и уехавшей к нему в Сибирь. Кончается рассказ довольно неожиданным упоминанием о том самом императоре, который имел отношение к нашей Юзе Фричеро:

Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе <...> И люди в звездах и в золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы.

Однако вернемся к нашему романтическому сардинскому художнику. Последовало брачное предложение. Его, конечно, обсудили при дворе и, скорее всего, в самом дворце. И художник получил согласие. Увез гравер и портретист Жозеф Фричеро нашу Юзечку в Европу. Дорогой, аккуратно под Новый год (1849-й), обвенчались в Марселе. Поселились в Ницце. Государь разрешил жить в казенном российском помещении. Жилье, известное дело, самая дорогая вещь. А вино да фрукты-овощи на базаре в Ницце и сейчас не дороги, а тогда полкопейки. И все же за расходами на семью поспевать кисти художника было трудно. Поступали, конечно, деньги из Петербурга, но никак семья не укладывалась. А когда в 1855 году помер Николай Павлович, а год спустя Юзина матушка Шарлотта Рутенскельд, то и помещение казенное попросили освободить.

В 1856 году, по осени вдовая и хворающая уже государыня императрица Александра Федоровна решила посетить в целях лечения благодатную Ниццу, и мадам Фричеро, жена художника, стала ей присматривать виллу близ моря. Лучшая вилла там была, по общему мнению, у господина Авигодора, финансиста и главы еврейской общины города. В октябре приплыла государыня в Вильфранш на сардинском корабле и в сопровождении сардинской гвардии приехала на виллу, где на террасе виллы была освящена домашняя церковь. В декабре государыня, Юзя с семьей и другие члены русских семей Ниццы (их тогда было всего три десятка) отслужили службу по покойному императору, можно сказать, Юзиному царственному папе. Прогуливаясь с Александрой Федоровной по будущему бульвару Императрицы к морю (позднее переименованному в Сталинградский бульвар), смогла Юзечка поговорить о здоровье и прочих жизненных тяготах. Тогда и заложила государыня первый камень в постройку русской

православной церкви на улице Лоншан. После отбытия высокой гостыи мадам Фричеро уехала в Париж, где теперь учились ее дети, а в мае 1860 года, как сообщает документ, разысканный И.И.Грезиным, «последовало Высочайшее повеление производить жене художника Жозефине Фричеро из Кабинета Его Величества ежегодно 350 рублей серебром на воспитание сыновей ее Александра и Николая по месту жительства в Ницце». Когда Александр поступил в Российскую морскую службу и был принят юнкером на фрегат «Генерал-адмирал», «госпожа Фричеро обратилась вследствие сего с Верноподданнейшей просьбой о Всемилостивейшем оставлении ей означенного пособия на воспитание, вместо Александра, другого ее сына, Михаила Фричеро. <...> Государь Император на сию просьбу Высочайше соизволил». И далее все в таком стиле. А детей все больше, и художник творит не покладая рук: «с 1850 по 1856 г. включительно, куплено у художника Фричеро с Высочайшего разрешения, разных картин и рисунков, всего на сумму 4300 рублей».

Давно помер государь Николай I, а кабинет все платит да платит за грехи молодости... И то правда, если на одно искусство надеяться, сколько детей удастся прокормить карандашом и кистью?

А вот и могилы второго, третьего и четвертого поколения внуков, правнуков и праправнуков Жозефа и Жозефины: Александр, Эммануил, Николай, снова Николай, Эммануил Николаевич, он же Эдуард-Франсуа-Ксавьер. Этот последний мне лично знаком по его душе-раздирающей переписке с его приемным сыном Никола. Инженер-строитель ЭММАНУИЛ НИКОЛАЕВИЧ ФРИЧЕРО (1880–1959) родился в Ницце, позднее жил в Петербурге, имел русское подданство, учиться уезжал в Лондон, где и женился на доброй девушке Шарлотте, с которой и приехал в Петербург. Но тут грянула революция. На счастье, вовремя бежали в Брюссель, где русскому инженеру-эмигранту Н.Фричеро удалось устроиться в бельгийскую компанию, со временем возглавить строительную контору и купить для семьи просторный дом в престижном районе Брюсселя. Он был солидный инженер, знал языки, хорошо говорил по-русски, был русским патриотом и болел душой за русские беды. Он помогал русским беженцам находить работу в своей компании, а когда погиб за границей генерал Врангель, инженер Фричеро взял к себе в семью осиротевших детей генерала. А вскоре с супругами Фричеро связалась из Варшавы княгиня Любимова, посвятившая себя помощи русским беженцам, и рассказала об одной из новых трагедий русского изгнания. После долгого подполья сумел бежать с семьей из Петрограда последний комендант Петропавловской крепости барон Сталь фон Гольштейн и, добравшись до Вильны, умер от всех тягот и унижений бегства, а вскоре умерла и совсем еще молодая жена, близкая подруга княгини. Остались со стареющей русской няней трое сирот без средств к существованию. Инженер Фричеро горячо откликнулся на призыв о помощи, и вскоре две малолетних дочки покойного барона и пятилетний Никола влились в многодетную брюссельскую семью. Никола стал любимцем инженера, он успешно учился в художественной школе и в архитектурной академии. Но сыном он оказался строптивым, трудновоспитуемым. Честному, работающему, жертвенному отцу-подвижнику было нелегко понять и принять артистические и нравственные искания сына, человеческую его ненадежность... Из кошмара преследований Никола вышел с глубокой детской травмой – кто мог разгадать его обиды на вдруг бросивших его маяться в этом мире родителей, на всех взрослых?

Прошел десяток лет скитаний художника по странам Северной Африки и Европы, терзаний, нужды и загулов, прежде чем Никола вдруг начал писать (уже в разгаре войны, в Ницце и Париже) мрачные и непостижимые для его семьи абстракции. Через десять лет напряженного труда Никола, так и не понятый полузабытым любящим отцом, покончил с собой, бросившись с крыши прибрежного дома в Антибе. Он был совсем еще молодой.

А через четыре года после этой леденящей душу истории умер в родной своей Ницце его бедный отец... А теперь человеку, который захотел бы купить хоть небольшую абстракцию

Никола де Сталя фон Гольштейна, пришлось бы четверть века откладывать все свои деньги на такую покупку.

Под алтарем кладбищенской церкви на Кокаде погребен митрофорный протоиерей, настоятель Русской церкви в Ницце с 1887 по 1918 год СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ ЛЮБИМОВ (1851–1918). Родился он в Ораниенбауме, окончил курс Петербургской Духовной академии со степенью кандидата богословия, начинал как законоучитель в лицее родного города, потом был диаконом в придворной церкви и законоучителем в Штутгарте, духовником императрицы Марии Федоровны, хлопотал о сооружении собора в Ницце и был его первым настоятелем. Опубликовано любопытное прошение о. Сергия Любимова (написанное в июне 1906 года) о дополнительном содержании, где есть сведения о печальных переменах, которые принес райской Ницце прошлый век:

В последнее время Ницца приняла вид большого города, что в связи с уничтожением прежде украшавших ее садов отвлекает наиболее достаточных приезжих <...> в окрестности, расположенные за пределами прихода, а среди прихожан является ежегодно значительно больше в сравнении с прежним временем бедных, больных и нуждающихся в помощи. <...> Вследствие же большого наплыва лиц неимущих я вынужден как настоятель церкви ежегодно издерживать на устройство больных, лечение их и на пособия бедным значительные суммы из собственных средств...

Можно добавить, что уничтожение садов продолжалось в Ницце в течение прошлого века, пока все не вырубали.

На Кокаде похоронен и рожденный в Штутгарте сын о. Сергия Любимова ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ЛЮБИМОВ (1879–1956), окончивший в Петербурге Императорское училище правоведения, живший в Ницце с 1919 года, в 1926 году принявший сан священника, а в 1950 году бывший уже митрофорным протоиереем, до самой смерти своей исполнявший обязанности настоятеля собора в Ницце.

Иные из русских изгнанников, похороненных на Кокаде, доживали на Лазурном Берегу после долгих странствий по свету, практически в результате нового изгнания. Нашли здесь последний приют супруги Люцерновы. ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ ЛЮЦЕРНОВ (1898–1976) родился в Петербурге, учился в Институте инженеров путей сообщения, кончил школу прапорщиков по Адмиралтейству, участвовал в Первой мировой войне, потом и в Гражданской: командовал судном, вместе с русской эскадрой эвакуировался в Бизерту, жил под Тунисом, работал землемером. Участвовал Петр Дмитриевич и во Второй мировой войне в рядах французской армии. А в 1967-м пришлось переехать в Ниццу. Вместе с мужем-моряком странствовала его супруга ЛЮЦЕРНОВА (урожденная КРАСНОПОЛЬСКАЯ) ВЕРА МИХАЙЛОВНА (1896–1981). Она была врач и работала во время войны в госпитале в Севастополе. Поселившись в пригороде Туниса Мегрине, супруги Люцерновы много времени отдавали общественной работе в русской колонии. Бывший моряк и землемер входил в Союз взаимопомощи русских эмигрантов, устраивал благотворительные вечера и концерты, детские спектакли. Его супруга преподавала в приходской Четверговой школе, входила в Дамский комитет при церкви, устраивала благотворительные распродажи, пожертвовала свои сбережения на строительство церкви Воскресения Христова в Тунисе.

Неподалеку от супругов Люцерновых покоится рядом со своей супругой избежавший всех смертей на войне георгиевский кавалер контр-адмирал НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ МАКСИМОВ (1880–1961). Окончив Морской корпус, он воевал на Русско-японской войне:

участвовал в отражении минных атак, был командиром батареи и командиром десантной роты на эскадренном миноносце «Пересвет», участвовал в тушении пожара в Порт-Артуре под огнем японских батарей. Был награжден орденом Св. Анны (точнее, двумя) с надписью «За храбрость». Немало было эпизодов его храбрости, немало и орденов. А 20 декабря 1904 года он «был Императорской японской армией взят в плен в Порт-Артуре при его капитуляции. Находился в плену до 4.2.1905».

Потом была новая война. В 1914-м он командовал эскадренным миноносцем «Бдительный». Снова был награжден «за самоотвержение, мужество, а также за усиленные труды в обстановке военного времени». Так до самой отставки в 1917 году.

Во Франции служил сторожем на вилле. Встречался с боевыми друзьями в Кают-компании... Кто там считал его ордена и раны?

Между прочим, председательствовал в Кают-компании в Ницце бывший морской министр России, бывший начальник Николаевской морской академии, бывший директор Морского корпуса, бывший член Государственного совета адмирал СТЕПАН АРКАДЬЕВИЧ ВОЕВОДСКИЙ (1859–1937), вдобавок ко всем прочим званиям и бывшим должностям имевший самые разнообразные ордена, в том числе и французский орден Почетного легиона. Он умер в Виши, но был привезен на Кокад, чтобы лечь рядом с почившей ранее супругой АННОЙ МИХАЙЛОВНОЙ ВОЕВОДСКОЙ, урожденной АРАПОВОЙ (1869–1923). Восемнадцать лет от роду она была повенчана с лейтенантом флота Степаном (тогда еще Стефаном) Воеводским и прожила с ним до конца свой недолгой жизни.

В семейном склепе финского рода фон Маннергеймов захоронены граф КАРЛ ЭРИК ФОН МАННЕРГЕЙМ (1898–1995). Граф носил имя своего знаменитого предка. В XX веке стал очень знаменит Густав Маннергейм, маршал и президент Финляндии (а может, и ее спаситель). До революции он был генерал-лейтенантом русской армии. Бывшая (до 1919 г.) жена Густава Маннергейма Анастасия Николаевна Арапова и его дочери довольно скоро поселились отдельно от деятельного финского родителя в Париже и в Ницце, и жена была похоронена позднее на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

На Кокаде похоронены и потомки знаменитого полководца XIX века, маршала Франции Иоахима Мюрата, сподвижника Наполеона, участвовавшего во всех наполеоновских походах и заработавшего этой ратной службой звания принца, короля Неаполя, великого герцога и еще и еще (в том числе и руку сестры императора Каролины). В 1815 году Иоахим Мюрат был арестован и расстрелян при попытке вернуть себе власть в Неаполе, а потомки его рассеялись по Франции и России, но иные из них упокоились на Кокаде. Скажем, принцесса АНТУАНЕТТА КАРОЛИНА ЕКАТЕРИНА МЮРАТ (1879–1954), которая родилась в том же самом менгрельском городке Гори (и в том же самом году), что и сын сапожника Сосо Джу-гашвили. Ее родителями были Его Высочество принц Ахилл Мюрат и Ее Высочество Саломея Мюрат (урожденная княжна Дадиани). Здесь же похоронены и родной брат принцессы Мюрат генерал-майор русской армии (был ранен на Русско-японской войне) принц НАПОЛЕОН АХИЛЛОВИЧ МЮРАТ (1872–1943). Похоронен здесь и бывший офицер русского флота Его Высочество принц ЛУИ-НАПОЛЕОН МЮРАТ (1851–1912), сочетавшийся браком в Одессе с похороненной ныне здесь же принцессой ЕВДОКИЕЙ МЮРАТ (урожденной Евдокией Михайловной Сомовой). Их сын, принц МИШЕЛЬ ШАРЛЬ АНН ИОАХИМ (по-русски просто МИХАИЛ ЛЮДВИГОВИЧ МЮРАТ (1887–1941), родившийся в Александровке, умер в оккупированном Париже и был перевезен на Кокад.

Понятно, что скопление принцев и принцесс Мюрат на окраине Ниццы не может не заинтересовать французских посетителей кладбища, и все же одной из наиболее посещаемых могил на Кокаде является могила баронессы АДЫ (АННЫ) ФЕДОРОВНЫ ФОН МАНТЕЙФЕЛЬ, урожденной АПРАКСИНОЙ (1849–1914). Она жила в Ницце и основала в городе школу для

глухонемых. С самого 1914 года ее могилу и посещают ученицы этой школы, которые вовсе не глухи к голосу памяти и благодарности.

Неподалеку от баронессы похоронен полковник лейб-гвардии Конной артиллерии барон **ЮРИЙ РИЧАРДОВИЧ ФОН МЕВЕС** (1891–1927). Он был сыном генерал-лейтенанта, воспитывался в Пажемском корпусе, выпущен был в лейб-гвардии Конную артиллерию, воевал на фронтах Первой мировой войны, потом одним из первых записался в Добровольческую армию. А умер в эмиграции, в Ницце молодым еще человеком.

Среди семи десятков генералов, похороненных на Кокаде, отметим генерала от инфантерии **АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКОГО** (1844–1928), который, едва выйдя в 1862 году из Николаевского кавалерийского училища, принимал участие в военных кампаниях 1863, 1864, 1870, 1871, 1873, 1875–1878 годов, занимая при этом должности то командира батальона, то командира полка. С 1880 года он был уже командиром бригады, потом командиром пехотной дивизии, наконец, командиром корпуса. Доводилось ему также побывать прибалтийским генерал-губернатором и членом Государственного совета. В 1912 году, в Высочайшем рескрипте, обращенном императором к генералу в связи с пятидесятилетним юбилеем его офицерской службы, были перечислены многочисленные воинские заслуги:

Участвуя в усмирении Польского мятежа 1863 года, в военных действиях в Средней Азии и в Восточной войне 1876–1877 гг., Вы оказали ряд боевых отличий...

Далее, после описания всех войн и подвигов генерала, государь так обращается к верному слуге отечества:

Высоко ценя верность долгу, проявленную Вами как на войне, так и при борьбе со смутою и кровью запечатленную, Я в сегодняшний день пятидесятилетия Вашей доблестной службы пожаловал Вам препровождаемые при сем бриллиантовые знаки ордена Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского.

Пребываю вам неизменно благосклонный...

А вот могила генерал-майора **ИЛЬИ МИХАЙЛОВИЧА МИКЛАШЕВСКОГО** (1877–1961). Вступив на военную службу по окончании Императорского Александровского лицея, он за два года Русско-японской войны награжден был шестью орденами, потом сражался на Первой мировой войне в Кавалергардском полку, в Добровольческой армии, командовал отдельной кавалерийской бригадой, был ранен, эвакуирован...

Как мы видели, далеко не всем похороненным на Кокаде изгнанникам пришлось сражаться на поле брани или довелось возноситься в высокие дворцовые сферы. Иные занимались вещами более приземленными и тоже вполне полезными для родины. К примеру, **ПЕТР ПЕТРОВИЧ МИГУЛИН** (1870–1948) был всего-навсего статским советником, ординарным профессором Петербургского университета по кафедре финансового права, то есть экономистом и юристом, а российская экономика, надо напомнить, переживала на рубеже позапрошлого и прошлого столетий дотоле не слыханное бурное развитие. При этом теория финансового права, которой посвятил себя профессор Мигулин, была мало разработана и даже не выделена как особая дисциплина. Этим занялся профессор Мигулин.

Родился он в Харькове, окончил юридический факультет Харьковского университета, был оставлен при университете, занимался финансовым правом и был уже двадцати семи лет от роду допущен к чтению лекций по кафедре торгового права. В тридцать лет от роду защитил

он диссертацию в Казани и получил ученую степень магистра финансового права. Еще через год после публичной защиты диссертации «Русский государственный кредит» он утвержден был в докторской степени. Теория финансового права более была разработана на Западе, чем у нас, и профессор Мигулин неоднократно выезжал в страны Европы, чаще всего во Францию. В конце 1911 года ученый стал ординарным профессором в Петербургском университете, однако вступительная его лекция «была сорвана криками и шумом многочисленных студентов», которых, вероятно, в ту пору меньше интересовали научный анализ доходов и расходов государства, финансовые правовые акты и базовые правовые категории, чем политические страсти, кипевшие в стране. Обескураженный профессор уехал в отпуск к родителям в Харьков, но и вернувшись в столицу, лекций читать не стал. Именным высочайшим указом он был назначен членом Совета министра финансов, а в университете теперь заведовал Статистическим кабинетом. На 1917 год он предложил университету курс на тему «Война и финансы», но вскоре он был уволен согласно собственному прошению. Он еще издавал какое-то время на родине журнал «Новый экономист», но в 1920 году оказался в Париже. Здесь он вошел во Франко-бельгийскую ассоциацию профессоров-экономистов, выступал с докладами в Ницце, одно время был директором русской гимназии, изучал экономическое развитие России. Кстати, издали, из Парижа оно и было виднее. После массового истребления в Советской России самого трудолюбивого и успешного русского, украинского и прочего многонационального крестьянства профессор Мигулин, возглавлявший одно из отделений в эмигрантском кружке «К познанию России», активно работавший также в «Русской академической группе» и других эмигрантских объединениях, подвел итоги сталинской экономической политики в научном исследовании «Русская аграрная проблема и сельскохозяйственная катастрофа в Советской России». Со времени написания профессором-изгнанником этого труда прошло всего сто лет, и вот совсем недавно (в 2014 году) мне довелось читать, что проблемы эти уже поставлены у нас на повестку дня... Ваш голос услышан, почтенный профессор!

Судя по документам, собранным И.Грезиним, в 1929 году где-то на развалинах недобитого еще сельского хозяйства (в Кашарском совхозе Белгородской области) метался в поисках справки о своем социальном происхождении родной сын профессора Михаил Петрович Мигулин. Без такой справки он не мог наравне с другими членами совхоза вывозить навоз на поля, а справку о прошлой службе отца тогдашний ректор Ленинградского государственного университета не хотел давать сыну без отцовской доверенности, и бедный М.П. Мигулин тщетно выпрашивал у ректора эту справку, объясняя тяготы своего бесправного положения: «Эта справка нужна мне как сыну такового в подтверждение соцпроисхождения». Ректор был неумолим, и совхозный труженик снова и снова писал в отчаянье: «...мой отец находится в бегах за границей, и при всем желании доверенности от него я представить не могу, т. к. переписки с ним никакой не веду».

Если попросят меня показать могилу менее знаменитых и блистательных насельников кладбища, чем полководцы, принцы и придворные, я остановлюсь, быть может, у могилы, где похоронены супруги Мясниковы. МЯСНИКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ (1879–1949) родился в волжском городе Симбирске. Он окончил пехотное юнкерское училище, повоевал на Русско-японской войне, окончил Николаевскую академию Генштаба, повоевал на Первой мировой, а потом и на Гражданской, где был начальником штаба Донской стрелковой бригады, потом послужил в штабе Севастопольской крепости, эвакуировался в Югославию и только оттуда перебрался с женой в Ниццу. Закончил он свой трудовой путь псаломщиком православного собора в Ницце. Супруга его МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА МЯСНИКОВА (1890–1977) много лет трудилась в атмосфере страданий и крови: сперва медицинской сестрой в Крестовоздвиженской общине Санкт-Петербурга, в Первую мировую войну в лазарете великого князя Дмитрия Константиновича, затем фронтовой сестрой милосердия в Персии, в Гражданскую войну была старшей сестрой Кубанского дивизионного лазарета. В эмиграции, в Ницце, снова

была сестрой милосердия в клинике доктора Голузовского. Вечной была труженицей жена (а в последние 30 лет жизни вдова) полковника и псаломщика П.С. Мясникова.

НИНА СЕМЕНОВНА МЕТЕЛЕВА (урожденная ПРОКОПОВИЧ, 1876–1954), похороненная рядом с мужем своим, статским советником НИКОЛАЕМ САВЕЛЬЕВИЧЕМ МЕТЕЛЕВЫМ (1857–1837), была москвичка, скрипачка, профессор Московской консерватории. После Октябрьского переворота супруги Метелевы двинулись на юг, а потом дальше, за границу. В приморском Сухуми Нина Метелева дала свой последний концерт на родине. Корреспондент местной газеты писал тогда в сухумской газете:

Концерт <...> прощальный перед отъездом за границу явился грустно-праздничным подведением артистических итогов. В этом <...> заключительном аккорде Н.С. Метелева обнаружила <...> уравновешенную массивность звука, выразительную рельефную фразировку.

Критик писал о «подлинной артистической трепетности» скрипачки...

Потом была Ницца. Вместе с пианистом, композитором, педагогом, бывшим дирижером Московского камерного театра Евгением Гунстом Нина Семеновна открыла в Ницце курсы скрипки и фортепиано, преподавала, давала сольные концерты, играла на благотворительных концертах Общества помощи русским учащим и учащимся.

Всякий, кто знакомится с прожившими бурный век насельниками Кокада, нисколько не удивится, что многих из них в поздние годы жизни тянуло к писательству. Одним груз пережитого давил на плечи, другим хотелось заново пережить чудные мгновения былой жизни, третьи чувствовали свой долг перед новыми поколениями. В общем мемуаристов насчитывается на Кокаде великое множество. Несколько особняком в этой толпе пишущих стоит фигура однофамильца самого знаменитого из рожденных русской эмиграцией авторов, действительного статского советника МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА НАБОКОВА (1849–1914). Он написал произведение хотя и не вовсе редкостное в российской культуре, но все же особого рода, сочинение, не оставшееся незамеченным. Великий русский писатель А.П. Чехов шутил, что ему доводилось писать во всех жанрах, за исключением доноса. Так вот как раз в этом жанре и творил действительный статский советник М.В. Набоков, похороненный на Кокаде. До самых любопытных из потомков дошло главное сочинение М.В. Набокова, которое называется «Докладная записка о распространении в Петербурге гомосексуалистов со сведениями о лицах из высшего общества, 1880-е г.г. – нач. XX в.».

Труд этот, хранящийся в архиве, попал на глаза не только И.И. Грезину: вероятно, именно на это произведение так часто ссылается в своей замечательной книге «Другой Петербург» К.К. Ротиков (псевдоним писателя и некрополиста Ю.М. Пирютко), когда говорит об «уникальном источнике, характеризующем состояние “голубого” Петербурга в начале 1889 года».

Так или иначе, творение М.В. Набокова дошло до потомков в те трудные для родины дни, когда затронутая кокадским автором тема заполонила страницы российской прессы. Жаль, конечно, что писательские заслуги наименее известного из пишущих Набоковых никак не отмечены в надписи на его надгробном памятнике.

Похороненный на Кокаде АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ НАПРАВНИК (1866–1938) был сыном известного дирижера и композитора Эдуарда Направника (опера «Дубровский» и другие), который пришел в Мариинский театр в 1863 году, женился на русской певице Ольге Шредер в 1865-м, а в 1874 году получил русское гражданство для себя и своих четырех детей. Его сын Александр тоже работал в театре.

На Кокаде похоронен видный государственный и общественный деятель России АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ НАУМОВ (1867–1950). Он родился в Симбирске, закончил юриди-

ческий факультет Московского университета, а в годы Первой мировой войны уже был членом Государственного совета и министром земледелия, активно участвовал в работе Красного Креста. Общественной деятельностью и благотворительностью он продолжал активно заниматься и в годы французской эмиграции, состоял в нескольких организациях помощи бедным и учащейся молодежи. Когда я впервые приехал в Ниццу, о Наумове еще вспоминали старые русские эмигранты, но по-настоящему напоминал о деятельности Наумова его собственный мемуарный двухтомник «Уцелевшие воспоминания». Это был еще один плодовитый эмигрантский писатель-мемуарист. Менее, впрочем, плодовитый, чем бывший тайный советник, камергер двора, профессиональный дипломат и последний добольшевистский русский посол в Испании АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НЕКЛЮДОВ (1856–1943), покоящийся рядом с супругой своей ВЕРОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ НЕКЛЮДОВОЙ, урожденной БЕЗОБРАЗОВОЙ (1862–1935) и дочкой актрисой ЕЛИЗАВЕТОЙ АНАТОЛЬЕВНОЙ НЕКЛЮДОВОЙ (1899–1982). Будущий дипломат уже и родился за границей, в Афинах. Окончил он юридический факультет Петербургского университета и перед Первой мировой войной был русским послом в Болгарии, а к 1914 году полномочным министром России и чрезвычайным посланником в Швеции, где вел очень важные переговоры об отношениях России и Швеции в ходе войны. Позднее он состоял на дипломатической службе в Германии и во Франции, потом отправлен был послом в Испанию, где вскоре и завершилась его карьера дипломата, о чем он рассказывал супругам Буниным, навестившим его уже в эмиграции. Дом Неклюдовых понравился супруге писателя В.Н. Буниной, да и рассказ бывшего посла она записала по памяти:

Живут очень поэтично. Огромная липа в саду, напоминает деревню нашу. <...> Неклюдов рассказывал, что он отказался от звания посла при Временном правительстве. <...> «...Я предсказал большевиков. Ошибся на 8 дней только. В день, когда я получил извещение о войне, я почувствовал, что все пропало».

Кстати, об этом своем предчувствии Неклюдов написал в очерке «Предсказание русской революции», напечатанном в Берлине в 1922 году. А еще года через три-четыре он напечатал по-французски в Париже свои «Дипломатические мемуары».

Иван Бунин познакомился с Неклюдовым в Париже сразу по приезде, потом общался с ним в гостях у адмирала Пилкина, где были вдова адмирала Колчака и его сын. Бунин не нашел тогда с Неклюдовым общего языка и записал о нем в дневнике: «Совершенно не слушает собеседника». Позднее, на Лазурном Берегу, отношения Бунина с Неклюдовым наладились, а Вера Николаевна Бунина, с трудом, как и сам Бунин, привыкшая к изменениям в материальном положении, с удивлением записала в свой дневник после бесед с женой Неклюдова и совместной прогулки с хозяевами:

Она урожденная Безобразова, у ее матери были имения в Тамбовский губернии. <...> Возвращались по проселочной дороге, по воздушному мосту, который почти весь сгнил <...> останавливались и рвали ежевику на компот. Они не могут позволить себе покупать фрукты на компот! Они, по-видимому, добрые люди и продолжают до сих пор давать займы...

Это было верное наблюдение. А.В. Неклюдов по старой привычке занимался благотворительностью (как позднее и его дочь-актриса), активно участвовал в работе Общества помощи русским учащимся в Ницце.

Месяц спустя после визита супругов Буниных бывший посол и активный общественный деятель эмигрантской Ривьеры А.В. Неклюдов нанес ответный визит своему знаменитому соседу-писателю. Вера Николаевна Бунина с молодой иронией (ей было тогда чуть больше сорока) записала в дневник: «У нас завтрак со старичками: барон Будберг, Ларионов и Неклюдов. <...> Все любят поговорить...»

На самом деле Вера Николаевна и сама любила поговорить с Неклюдовым, послушать его рассказы о русских дипломатах. А он действительно любил рассказывать, и при этом присутствие самого надменного Бунина для него было вовсе не обязательным. Вот дневниковая запись Веры Николаевны за один из самых тяжких для нее июльских дней 1929 года (молодая Галина Кузнецова окончательно выжила ее из мужниной спальни, о чем известно было всему русскому Грассу):

24 июля. <...> Звонок по телефону. Неклюдов, – Можно ли зайти? – Пожалуйста, очень рада, только я одна дома.

Пришел <...> Он знал Тютчевых и Анну Федоровну, и Китти-красавицу. Знал и отца их, рассказал, почему его дипломатическая карьера была окончена...

В пересказе Веры Николаевны история тютчевской отставки звучит до странности сдержанно и малопонятно. В рукописном дневнике Веры Николаевны попадаются и другие ссылки на рассказы Неклюдова (руководившего чуть не до самой своей смерти Кружком по изучению русской культуры и Русским историческим обществом в Ницце). Вот коротенькая запись о нынешнем Доме писателей на Поварской:

...много интересного рассказывал А.В. [Неклюдов] о доме Соллогуба-Бодэ-Колычева, что на Поварской, дом, где якобы жили Ростовы в «Войне и мире». Он в этом доме бывал еще гимназистом, знает все его закоулки...

Писатель-академик И.А.Бунин за истекшее десятилетие соседства в Грассе тоже успел оценить рассказы и знания соседа, и, когда Неклюдов закончил свою огромную мемуарную книгу («Старые портреты: семейная летопись») и даже подготовил ее в 1933 году с помощью милой дочери Елизаветы к изданию, Иван Алексеевич согласился написать к этому великолепному двухтомнику вполне восторженное предисловие:

Повествование А.В. Неклюдова обладает качествами, присущими характеру самого автора, живостью, непосредственностью, изящной простотой, подчас тонким остроумием, одушевлено сердечной, хотя и не слепой любовью к русскому прошлому, изложено отличным и несколько своеобразным языком, который как бы невольно принаравливается к описываемой эпохе и к тем лицам, которых выводит автор.

И в последующее десятилетие жизни А.В. Неклюдов немало писал на темы истории, печатался как в русских периодических эмигрантских изданиях, так и в разнообразных французских. Это Неклюдов по просьбе Бунина познакомил его в июне 1940 года с жившей в Ницце (и похороненной на Кокаде) внучкой А.С. Пушкина баронессой ЕЛЕНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ФОН РОЗЕН-МЕЙЕР (урожденной ПУШКИНОЙ, 1890–1943). Знакомство это произвело на писателя большое впечатление. Он записал в своем дневнике за 1940 год:

...6-го был в Ницце у Неклюдовых для знакомства с Еленой Александр. Розен-Мейер, родной внучкой Пушкина – крепкая, невысокая женщина, на вид не больше 45, лицо, его костяк, овал – что-то напоминающее пушкинскую посмертную маску.

Елена Александровна Бунину понравилась: она была молодая (на двадцать лет его моложе), крепкая («крепкая», «крепенькая» – любимые бунинские комплименты), она знала иностранные языки (как записала супруга Бунина со слов мужа, у которого с языками было туго, «в совершенстве английский, конечно, французский, арабский, персидский»), она жила за границей, ее покойный муж был посольским переводчиком (драгоманом), а что до сравнения симпатичного лица живой женщины с посмертной маской, то ведь тут все дело в том, с чьей маской.

В общем, она была интересная женщина и «родная внучка Пушкина». Бунин пригласил Елену Александровну в гости на виллу «Жанетта», и все обитатели виллы ждали ее с нетерпением. Именно дневники Бунина и его жены донесли до нас печальную историю Елены Розен-Мейер...

Год спустя после визита Лены Пушкиной в Грасс супруга писателя отметила, что мировоззрение у гостыи было «чисто ниццское», ненависть к большевикам и евреям, да ведь и сам Бунин, как большинство эмигрантов, надеялся, что теперь, под напором немцев большевикам придет конец.

Бунин несколько раз ездил в Ниццу, приглашал Елену Александровну в ресторан, а иногда в Грассе ломал голову над тем, как удастся выжить внучке Пушкина. Она жила близ рынка Бюффа, таскала тяжелые сумки, что-то скупала, перепродавала на базаре, нищенский заработок. Был слух, что ее даже видели ночью у ресторана Негреско, где собирались приотельные девицы... Все эти слухи волновали писателя. Но роман с внучкой Пушкина у знаменитого писателя не удался. Сказывался уже возраст. Таяла былая решительность. К тому же, выпив одну-две рюмки коньяку, Иван Алексеевич не мог остановиться. Наутро всякий раз сожалел, записывал в дневник после ночных страхов: «Надо мне меньше пить».

В начале апреля 1942 года последняя возлюбленная писателя Галина окончательно ушла от Буниных. Бунин решил и назначил последнее свидание Елене Александровне в кафе близ ее дома, на рю Бюффа. Все пошло по тому же сценарию... Коньяк, еще коньяк. Бунин записал про эту последнюю их встречу в дневнике:

10. IV.42. Был в Ницце. Бюффа. Пушкина. Неприятно было, что сказала, что в ней «упрямая немецкая кровь». Ее жадность к моему портсигару, воровское и нищенское существование. Завтрак – 250 фр.! У Полонских. Дама в картузе. Вел себя хмельно, глупо.

Чего больше в этой записи: униженного мужского достоинства, раздражения, стыда... А потом унылая запись в дневнике за 1943 год:

7. IX. Вторн. Нынче письмо из Ниццы. Елена Александр. Пушкина (фон Розен Майер) умерла 14 авг. После второй операции. Еще одна бедная человеч. жизнь исчезла из Ниццы – и чья же! родной внучки Александра Сергеевича! И м.б. только потому, что по нищете своей таскала тяжести, которые продавала и перепродавала ради того, чтобы не умереть с голоду!

А Ницца с ее солнцем и морем все будет жить и жить! Весь день грусть...

Назавтра, 8 сентября, и Вера Николаевна Бунина записала в своем дневнике:

Вчера получено печальное известие о смерти Лены Пушкиной. Бедная, умерла, не вынесла второй операции. Помню ее девочкой-подростком в Трубниковском переулке с гувернанткой. Распущенные волосы, голые икры... Кто мог подумать, что такая судьба ждет Лену? Нищета, одиночество, смерть в клинике. <...> Лена в ссоре с братом, не знаю, помирилась ли с дочерью?

Она была умна, но, вероятно, с трудным характером. Убеждения – ниццские: вера в немцев, ненависть к евреям и большевикам. Гордилась своим родом. Была фрейлиной. Рассказывала об обедах в московском дворце, когда приезжала царская семья. К Яну (Бунину. – *Б.Н.*) чувствовала большую благодарность, как пишет ее друг француженка.

Похоронили Елену фон Розен-Майер на коммунальном (французском) кладбище Кокад, по самой недорогой цене, так что искать ее можно в общем рву (*fosse commune*), в братской могиле. Через семь десятилетий после ее смерти влиятельные московские и жалкие местные организации разрозненного русского зарубежья скинулись на дощечку с упоминанием о том, кем приходится России Лена фон Розен-Майер...

В том же 1943-м умер и познакомивший их с Буниным А. Неклюдов. Поредел пушкинский круг на никогда не виденном нашим «невъездным» Пушкиным Лазурном Берегу.

Похороненный на русском Кокаде уроженец Новороссийска и сын генерала артиллерии, капитан 1-го ранга АПОЛЛИНАРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НИКИФОРАКИ (1880–1928) в 1900 году был выпущен из Морского корпуса мичманом и с тех пор где только не плавал: в 1904—1906-м командовал миноносцем «Плотва», потом подводными лодками «Сиг», «Крокодил», «Почтовый», а с 1916 года целым дивизионом подводного флота на Балтике.

Бурную жизнь прожил ротмистр Конно-пограничного Калишского полка ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ КАЛАШНИКОВ-НОРД (1889–1970), описавший свою жизнь и скитания вдали от родной Костромы в эмигрантской печати. Военное училище он кончил в Иркутске, в Первую мировую служил начальником связи в штабе корпуса, потом в штабе армии, а в Гражданскую уже и сам командовал эскадром. Эвакуировался в Югославию, закончил курсы землемеров, работал на химическом заводе, потом стал инженером-топографом, жил под Парижем, на острове Мадагаскар, в Парагвае, да и после Второй мировой войны сотрудничал в русских воинских организациях и писал, писал... Было о чем рассказать.

На русском Кокаде похоронено чуть не два десятка представителей старинного русского рода Оболенских. Оболенские идут от князей Черниговских (как пишут, «являются их отраслью»), а первым посажен был на черниговский престол внук великого князя Владимира, того, что крестил Русь. На Лазурном Берегу Франции жили представители по меньшей мере трех ветвей этого развесистого древа. Поскольку наше паломничество к русским могилам начиналось с толстовской семьи, мы и на Кокаде из многих Оболенских выберем для начала знакомцев великого Толстого. Скажем, ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ОБОЛЕНСКОГО (1840–1931), которого привечали супруги Толстые, а жена писателя Софья Андреевна называла «маленьким Оболенским» или «Миташей» (он был на 16 лет моложе Льва Николаевича). Молодой Дмитрий ухаживал тогда за ее сестрой Лизой, а Софья Андреевна сожалела, что за Лизой, а не за Таней: Таня, как ей казалось, больше подошла бы ему по характеру. Вообще, вы заметите, что мы вступаем тут уже на территорию «Войны и мира» и «Анны Карениной», где москвич Дмитрий Дмитриевич Оболенский и его матушка Елизавета Ивановна Оболенская, урож-

денная Бибикова, были свои люди. Отец Дмитрия был убит собственным крепостным вскоре после женитьбы, в год рождения сына, и со временем прелестная Елизавета Ивановна вторично вышла замуж за ревностного слугу русского отечества барона фон Менгдена, отчасти послужившего прототипом романного мужа злосчастной Анны Карениной. Что же до самой Елизаветы Ивановны, то писатель Толстой высоко ценил не только ее красоту, но и ее талант рассказчицы. Великий роман о войне и мире кое-чем обязан ее красочным рассказам о барской жизни старой Москвы. Елизавета Ивановна брала с собой молодого Дмитрия на первые чтения «Войны и мира». Но и знания самого Дмитрия Дмитриевича, который вырос ярым лошадиником (коннозаводчиком), заядлым охотником (хорошо знал охотничьих собак) сгодились русской литературе. Сын Толстого рассказывал, что, когда Лев Николаевич писал главу о скачках (с участием Вронского), он три дня пропадал в гостях у Д.Д. Оболенского. Да и сам Дмитрий Дмитриевич, который еще в России, задолго до изгнания, сделался журналистом (редактировал газету «Охота и спорт», писал в «Исторический вестник» и «Русский архив»), об этом не умолчал:

Между прочим, я передал Л.Н. подробности и обстановку красносельской скачки, которая и вошла в ярком изображении в «Анну Каренину». Падение Вронского с Фру-Фру взято с инцидента, бывшего с князем Д.Б. Голицыным, а штабс-капитан Махотин, выигравший скачку, напоминает А.Л. Милютина.

Д.Д. Оболенский рассказал, что и описание охоты потребовало от Толстого более свежих воспоминаний. До «переворота в мировоззрении» писателя они вместе охотились в имении князя Шаховского. Потом писатель ездить на охоту перестал, а Д.Д. Оболенский писал об охоте и мог стать ценным консультантом.

Когда настали трудные времена для беспечного «Миташи» Оболенского и он объявлен был «несостоятельным должником», Лев Николаевич за него хлопотал. Не исключено, что кое-какие его черты (а не только мужа племянницы писателя Л. Оболенского) достались добродушному и непутевому Стиве Облонскому из «Анны Карениной»).

Дмитрий Дмитриевич переписывался с Толстым чуть не до смерти писателя. Он писал в «Новое время» о смерти и похоронах Толстого, а свои «Отрывки из личных воспоминаний» напечатал в Международном Толстовском альманахе еще при жизни писателя.

В эмиграции Дмитрий Дмитриевич работал переводчиком в английской военной миссии и занимался журналистикой: печатался в парижском «Возрождении», белградском «Новом времени», в «Вестнике Ривьеры» и в «Отечестве». Занимался он и общественной работой, участвовал в работе Русского зарубежного съезда 1926 года, был членом Русской секции борьбы против III Интернационала. Часто писал статьи о положении в России.

Из многочисленных князей Оболенских, похороненных на Кокаде, два князя были полные тезки, Николаи Николаевичи Оболенские. Старший НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1861–1933) был юрист, кончил Императорское училище правоведения, служил прокурором в Москве и в Рязани, а в Москве был вдобавок членом Московского столичного попечительства о народной трезвости. В эмиграции жил в Ницце, где уровень народной трезвости его более не занимал. Он держался своих и состоял членом Общества бывших воспитанников Императорского училища правоведения.

Младший НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ОБОЛЕНСКИЙ (1905–1993) родился в Астрахани, подростком уехал с родителями в эмиграцию, в Париж, где окончил Русскую гимназию, знаменитую Школу политических наук («Сьянспо») и Военную школу Сен-Сир, из которой вышел подпоручиком Иностранного легиона. Во время Второй мировой войны воевал в бата-

льоне иностранных добровольцев, был награжден Военным крестом, а после войны служил в Париже в страховой компании и занимался общественной работой, был даже генеральным секретарем Содружества русских резервистов французской армии. Мне доводилось пользоваться составленным Н.Н. Оболенским перечнем русских участников Второй мировой войны в рядах французской армии. Князь писал стихи и часто выступал с их чтением на вечерах молодых эмигрантских поэтов. В конце сороковых годов он увлекся генеалогическими исследованиями и стал членом Генеалогической комиссии Союза русских дворян, собирателем и хранителем семейного архива, а тридцать лет спустя почетным председателем Семейного союза князей Оболенских. Последние десятилетия своей удивительно активной жизни князь провел в Ницце, где продолжал свои генеалогические поиски, был членом правления Общества ревнителей русской старины и членом Ассоциации по сохранению русского культурного наследия во Франции. В 1965 году князь был награжден орденом Почетного легиона. Через десять лет после смерти Н.Н. Оболенского в Петербурге был напечатан дневник, который князь вел подростком: удивительный «Дневник 13-летнего эмигранта».

Закончить прогулку среди Оболенских Кокада можно у могилы князя СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ОБОЛЕНСКОГО (1888–1964), члена Государственного совета, сенатора, уездного предводителя дворянства в Московской губернии. В 1936 году в эмигрантской Ницце князь Сергей Александрович Оболенский был председателем Общества удешевленных обедов и помощи неимущим русским.

Из представителей графского рода Олсуфьевых на Кокаде похоронен член Государственного совета, камергер, депутат Третьей Государственной думы, член Историко-родословного общества в Москве ДМИТРИЙ АДАМОВИЧ ОЛСУФЬЕВ (1862–1937). Он был сыном генерал-лейтенанта Адама Васильевича Олсуфьева (1833–1901). Надо сказать, что библейское имя Адам в роду Олсуфьевых идет по причуде самого Петра Великого, у которого гофмейстером двора был верный Василий Олсуфьев. Когда у гофмейстера родился младенец мужского пола, царь, вызвавшись быть его крестным отцом, решил подарить ему имя Адам. Царский крестник вырос шустрым, способным к языкам юношей и стал статс-секретарем Екатерины II и писателем, а внук его был московским губернатором и первым удостоился графского титула.

В годы пореволюционной эмиграции граф Дмитрий Адамович жил в Ницце, выступал с лекциями о русской истории и литературе, участвовал в работе Союза молодежи и Кружка ревнителей русского прошлого, писал в эмигрантской прессе о различных русских, в том числе церковных, проблемах.

Автору этих строк довелось в 1978 году встречаться во Флоренции с графиней Марией Олсуфьевой, знаменитой переводчицей русской советской (строго говоря, вполне антисоветской) литературы на итальянский язык («Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, романы А. Платонова). В годы оттепели графиня-переводчица приезжала в Москву и даже обедала в Каминном зале Центрального дома литераторов, в том самом доме на Поварской, который некогда отобрала у семьи Олсуфьевых новая власть.

Могила графини НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ДЕ ОРЕСТИС ДЕ КАСТЕЛЬНУОВО, урожденной ЧИХАЧЕВОЙ (1810–1876) может привести на память не только события бурной жизни графини, но и важные события жизни Лазурного Берега и, в частности, Ниццы. Будущая графиня родилась в Гатчине в семье статского советника Александра Петровича Чихачева. Матушка Наталья Александровна была из Бестужевых-Рюминых, а крестной матерью новорожденной стала императрица Мария Федоровна. Первым браком юная Наталья вышла за князя Леонида Девлет-Кильдеева, а вторым за иностранного подданного, префекта Ниццы графа де Капельнуово.

Осенью 1856 года приплыла в Ниццу для отдыха и лечения русская вдовствующая императрица Александра Федоровна, которую поселили на вилле богатого банкира господина Авигодора. Православной церкви в Ницце тогда еще не было, так что на террасе виллы Авигодора,

главы местной еврейской общины, была устроена и 21 ноября 1856 года торжественно открыта для нужд императрицы домашняя православная церковь. Четыре месяца спустя императрица Александра Федоровна переехала на виллу «Орестис» к графине де Орестис де Кастельнуово и прожила у нее в гостях еще два месяца. За это время русских гостей в Ницце сильно прибавилось: приплывали из русской столицы великие князья, княжны, придворные и другие люди из высшего общества... Во время второй своей поездки в Ниццу, в 1859 году, вдовствующая императрица сразу поселилась на вилле «Орестис» и жила там до переезда на русскую императорскую виллу «Пейон», так что в теплой Ницце, сперва сардинской, а вскоре уже и французской, удачливой уроженке Гатчины графине Наталье Александровне де Орестис довелось поучаствовать в росте тамошней русской колонии.

Похоронена на русском Кокаде и знаменитая супружеская пара – художница НИНА МИХАЙЛОВНА ПАНТЮХОВА, урожденная ДОБРОВОЛЬСКАЯ (1883–1944), и основатель русского скаутского движения полковник лейб-гвардии Стрелкового полка и георгиевский кавалер ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ПАНТЮХОВ (1882–1973). Родился Олег Иванович в Киеве, в семье профессора-антрополога, окончил Тифлисский кадетский корпус и Павловское военное училище, увлекся движением скаутов-разведчиков, посетил по приглашению английского основателя движения скаутский лагерь в Англии, вернулся в Россию. Воевал на Первой мировой, был контужен, возглавлял московскую школу прапорщиков, бежал на юг, воевал против большевиков, в 1919 году на скаутском съезде был избран старшим русским скаутом, продолжал скаутскую работу в США, а потом снова в Европе, писал о скаутском движении, издал «Семейную хронику». Супруга его училась живописи у Циоглинского, а также в рисовальной школе барона Штиглица в Петербурге, участвовала в художественных выставках и при этом была активной помощницей мужа, деятельницей скаутского движения. Век ее был, впрочем, на три десятка лет короче мужниного.

Таковыми же единомышленниками и подвижниками, как супруги Пантюховы, были супруги Перзинские. БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ПЕРЗИНСКИЙ (1892–1966) окончил Одесский кадетский корпус и Киевское пехотное училище, в мировую войну был на Западном фронте, а в Гражданскую служил в корпусе корабельных офицеров Черноморского флота. Вместе с флотом эвакуировался в Бизерту, служил в Тунисе контролером на строительстве дорог, а заработанные деньги щедро жертвовал на православную церковь Воскресения Христова. Помощью православной церкви занималась и жена его ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА ПЕРЗИНСКАЯ, урожденная МИХАЙЛОВСКАЯ (1895–1997). Из Туниса супруги переехали на юг Франции, в Ванс. Деятельный Борис Константинович занялся виноградарством, сумел создать свою фирму. Вместе с супругой они много времени и средств отдавали созданию православного храма Святого Николая Чудотворца в городе Боне, что лежит на краю бургундского Золотого берега.

На Кокаде наряду с многими священнослужителями похоронен был протоиерей ВСЕВОЛОД ПЕРОВСКИЙ (1860–1933). Он родился на Северной Двине в Холмогорах, окончил духовную семинарию в Архангельске. Был он вдобавок ученым-метеорологом и состоял наблюдателем на метеостанции. Министерство земледелия отмечало его научные заслуги. В эмиграции он был духовником владыки Владимира (Тихоницкого).

Среди моряков на Кокаде нельзя не упомянуть двух братьев Пилкиных (Пилкин Первый и Пилкин Второй), сыновей вице-адмирала Константина Павловича Пилкина. Пилкин Первый, контр-адмирал ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЛКИН (1869–1950) окончил Морской корпус, а затем минные курсы, отличился в бою и стал георгиевским кавалером при обороне Порт-Артура. В 1907 году командовал миноносцем «Послушный», в 1909-м эсминцем «Всадник», позже линкорами «Цесаревич» и «Петропавловск», а накануне Февральской революции бригадой крейсеров Балтийского флота. Позднее он возглавлял морские силы генерала Юденича. Был награжден множеством орденов. С 1921 года в эмиграции, в Париже,

занимался организацией материальной помощи семьям моряков. Был председателем Военно-морского исторического кружка, секретарем Кают-компании морских офицеров, выступал с докладами, писал серьезные статьи, печатался в «Морском журнале». Жена контр-адмирала МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА ПИЛКИНА (1880–1931) состояла в Дамском комитете Кают-компании морских офицеров, а дочь МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ПИЛКИНА (1907–1935) работала в Ницце на заводе и активно участвовала в деятельности молодежного христианского движения (РСХД). Сестра ее ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА ПИЛКИНА (1910–1991) выступала с докладами в Кружке русской культуры.

Младший брат контр-адмирала, капитан II ранга, «Пилкин Второй», АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПИЛКИН (1881–1960) закончил Морской корпус и за проявленное бесстрашие при обороне Порт-Артура был награжден орденами Св. Станислава, Св. Анны, Св. Владимира, Золотой саблей «За храбрость». Во время Первой мировой войны он командовал эскадренным миноносцем «Москвитянин» и эсминцем «Новик». В пору эмиграции в Ницце был председателем Кают-компании морских офицеров, членом Союза георгиевских кавалеров, печатался, как и старший брат, в «Морском журнале».

Похороненную на Кокаде ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ ФИШЕР (1900–1991) называли в эмигрантской Ницце ангелом-хранителем белых воинов. Автор ее некролога, напечатанного осенью 1991 года парижской газетой «Русская мысль», назвал новопреставленную «белой дамой»: «“Белая дама”, бывшая благотворительницей и ангелом-хранителем белых воинов, православных монастырей и всех нуждающихся». Ее муж Георгий Георгиевич Фишер был крупный предприниматель, однако не всякий богатый человек обязательно соглашается, чтобы заработанные им деньги шли на чужие нужды. Господин Фишер не препятствовал бесконечной череде добрых дел и щедрых трат своей жены. Он соглашался, чтобы Екатерина Сергеевна содержала во Франции два дома белых воинов (в Монфернее и в Ницце), давала деньги на собрания галиполийцев, на русские детские учреждения...

Для стареющих, израненных, обнищавших эмигрантов-воинов такие дома инвалидов и старческие дома были истинным спасением. Немало эмигрантов кончили жизнь в таких домах – в Ницце, Грассе, Сен-Рафаэле, Каннах, Розе-ан-Бри, Кормей-ан-Паризи, Монморанси, Булони. Были свои дома престарелых у казаков (в Ла-Бокка), у русских шоферов (в Понтуазе), у артистов и художников (в Ножан-сюр-Сене). В них доживали россияне, до нитки обкраденные на родине. Те же, которым удалось сохранить какое-то состояние, открывали во Франции новые дома для соотечественников – такие, как Дом княгини Любимовой (она выведена в знаменитом «Гранатовом браслете» Куприна), как Дом княгини Палей и другие... Складывается впечатление, что именно эта эмиграция была самой заметной, активной и жертвенной из бесчисленных диаспор во Франции. Впрочем, напомним, что для Екатерины Сергеевны Фишер белая армия не была просто символом чистоты и белизны русского дела. В белой армии погибли два ее брата. Ее дядя, полковник Александр Перхуров, потомок старинного военного рода России, был расстрелян большевиками в Ярославле. В 1966 году муж Екатерины Сергеевны покинул Ниццу для паломничества ко Гробу Господню и умер в Иерусалиме. Вдова его трудилась на ниве благотворительной помощи еще четверть века...

Сын протопресвитера юга Франции СЕРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПРОТОПОПОВА (1851–1931) ЕВГЕНИЙ СЕРГИЕВИЧ ПРОТОПОПОВ (1875–1944) окончил Пажеский корпус и Александровский лицей в Петербурге, был на дипломатической службе на острове Крит, в Марселе и в Ницце. В Ницце занимал пост генерального консула, но после Первой мировой войны в Россию не вернулся. Его считают создателем Комитета помощи русским эмигрантам в Ницце. Был он также членом Объединения бывших учеников Александровского лицея и входил в совет Братства св. Анастасии Узорешительницы. В конце своей жизни, когда немцы пришли в Ниццу, Е.С. Протопопов, как и некоторые другие дипломаты старой русской школы

(например, Леонтий Гомелла), спасал от смерти евреев. Это было на юге Франции смертельно опасным делом.

В описании кладбища Кокад, составленном И.И. Грезиним, использованы данные из незаменимого справочника Рэмона де Помфийи. В справочнике этом есть краткие сведения о Кокаде и несколько строчек о похороненном здесь художнике Леониде Пьяновском, воспроизведенные Грезиним: «ПЬЯНОВСКИЙ ЛЕОНИД АДАМОВИЧ, художник, декоратор, 1885–1976. Л. Пьяновский расписал металлический купол над соседней могилой Натальи Шабельской, которая представляет собой часовню, вырубленную из привезенного из России цельного камня». Сообщение это оказалось не совсем точным и полным. Поправить его и дополнить помогла мне публикация в журнале «Иные берега» (автор Л. Варебрус). Автору журнала удалось выяснить, что настоящая фамилия художника не Пьяновский, а Пяновский. Французскую подпись на его работах (Pianovsky), вероятно, настолько легче прочесть как русское Пьяновский, чем польское Пяновски, что художник и сам, наверно, притерпелся к русскому варианту, хотя по всем документам он числится все же Пяновским. Он родился в Пятигорске в семье отставного генерала Адама Пяновского, имевшей вполне польское происхождение и вполне гуманитарные склонности: сам генерал писал на досуге историю Кубанской армии, дочь фотографировала, а сын Леонид окончил в 1905 году Строгановское училище в Москве, стал художником и получил серьезный заказ из Ниццы, где строился православный Свято-Николаевский собор. Строил собор академик архитектуры Михаил Преображенский, а иконостас и вся фресковая живопись в соборе – работа молодого Пяновского. Кто ж из обитателей Лазурного Берега или даже мимолетных туристов, заезжающих в Ниццу, не знает этот великолепный собор в модном тогда «русском стиле», который копировал или переосмысливал достижения старинной (допетровской еще) русской архитектуры и живописи! Полтора десятка лет, что я зимую в Ницце, каждый раз по приезде привычно поднимаю грешный свой взгляд на иконы Корсунской Божьей Матери и Нерукотворного Спаса, написанные Леонидом Пяновским.

В изгнании Пяновский продолжал работать, писать новые иконы. Написал «Святых покровителей Императора Александра II» и «Святых покровителей Императора Николая II», они по сторонам соборного иконостаса как бы продолжают его... Так что не одной только росписью купола склепа Шабельских знаменит покоящийся на Кокаде Леонид Пяновский.

Сами же Шабельские были богатой некогда семьей с Харьковщины. Первой в этом склепе была похоронена (точнее, перезахоронена) НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ШАБЕЛЬСКАЯ, урожденная КРОНЕНБЕРГ (1841–1904). Она была из хорошей дворянской семьи, окончила женский институт в Харькове, в двадцать один год вышла замуж за богатого землевладельца, инженер-капитана Петра Николаевича Шабельского и стала жить мирной жизнью в его усадьбе в Харьковской губернии. Она любила вышивание, но как выяснилось, ей мало было просто сидеть у окна и вышивать. У нее обнаружили деловая жилка и безмерное любопытство, даже, можно сказать, исследовательский интерес к тому, чем она занимается. Сперва она устроила вышивальную мастерскую у себя в имении. А в 1877-м она посетила Нижегородскую ярмарку и увидела там образцы старинной русской вышивки. Заинтересовалась экспозицией, купила кое-какие образцы для работы, для подражания. Поле открылось огромное, почти нехоженое. Одна или вместе с двумя подростками дочерьми, Варварой и Натальей, стала она ездить по российским губерниям, по глухим углам, побывала, конечно, на русском Севере, в Поволжье, в центральных губерниях, в Крыму. Покупала платья, рубахи, сумочки, кокошники, вышитые покрывала, наволочки, сумки... Коллекция ее росла, и знаний у нее прибавлялось и вкуса к настоящим шедеврам. Надо сказать, что шла она в ногу с модой, у русской интеллигенции открывались тогда глаза на народное искусство, на русскую старину. В начале 80-х годов переехали Шабельские в Москву. В 1890 году прошла в Историческом музее в Москве выставка русской старины. Было представлено почти семь сотен удивительных изделий из двух десятков российских губерний, и вещи из коллекции семьи Шабельских уже были замечены. Два года

спустя на выставке было уже четыре тысячи экспонатов. Еще через год уплыли шедевры ее коллекции за океан, на всемирную выставку в Чикаго, а потом уж в Брюссель и Антверпен. Собственный дом Шабельских на Малой Бронной знали теперь многие. В 1900 году на Всемирной Парижской выставке получила коллекция Натальи Шабельской медаль. Коллекция ее насчитывала уже тысячи предметов: четыре, пять, двадцать тысяч... Хозяйка умерла в 1904 году. Но остались тогда толковые, все про материнское дело знающие дочери Натальи Леонидовны. Нынче они рядом с матерью на Кокаде – НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ШАБЕЛЬСКАЯ (1868–1943) и ее сестра княгиня ВАРВАРА ПЕТРОВНА СИДАМОН-ЭРИСТОВА, урожденная ШАБЕЛЬСКАЯ. Они продолжали дело, начатое матерью, изучали вышивку, кружева, женскую одежду и пополняли свою коллекцию. В 1910 году сестры Шабельские выпустили в Москве книгу «Собрание русской старины: Выпуск 1: Вышивки и кружева». Книга была издана на двух языках, русском и французском. И до, и после революции Варвара Петровна Шабельская работала в Центральных государственных реставрационных мастерских. Наталья Петровна работала в пореволюционные годы в тех же реставрационных мастерских, в Оружейной палате, в Национальном музейном фонде, в Московском институте историко-художественных изысканий и музееведения, но к 1925 году самым чутким из интеллигентов стало ясно, что жизнь в России становится небезопасной. Первой уехала во Францию Варвара Петровна, следом за ней сестра. Коллекция, конечно, осталась.

Сестры Шабельские жили в Париже, потом в Ницце. Для заработка они делали вышивки, изготавливали ювелирные изделия (по рисункам Варвары Петровны). Однажды они даже получили заказ на отделку платьев в древнерусском стиле от знаменитого Поля Пуаро. Выполняли реставрационные работы, были консультантами художественных музеев. Уже в 1925 году в Париже для сохранения и развития русского иконописания было создано общество «Икона». В 1930 году Наталья Петровна Шабельская была товарищем председателя этого общества (председателем был в ту пору В.П. Рябушинский).

Сестры Шабельские умерли в Ницце одновременно, в феврале 1943 года.

Похоронена на Кокаде обширная семья фабриканта Людвиг Рабенек, директора «Товарищества мануфактур Людвиг Рабенек», и хотя самого директора-основателя здесь нет, лежат здесь его дети, внуки, невестки, совладельцы, которые предпочитали, чтоб их называли русскими именами (скажем, Львами, вместо Людвигов, Артемиями, вместо Артуров). Они сами и их жены не только занимались делами своих текстильных предприятий, но и получали солидное образование, увлечены были делами культуры и искусства, издавали музыкальные произведения, поддерживали композиторов и артистов, активно меценатствовали, с гордостью нося потомственное звание почетных граждан Москвы. Начать хотя бы с АРТЕМИЯ ЛЬВОВИЧА (понятное дело, Артура Людвиговича) РАБЕНЕКА (1884–1966). Он учился на юридическом факультете Императорского московского технического училища, потом окончил прядильно-ткацкое училище в немецком Ретлингене, стал директором Реутовской мануфактуры «Товарищества Людвиг Рабенек», а также акционерного общества «Южно-Должанский антрацит». Ему было ко времени российской катастрофы только 33 года. В эмиграции, в Париже, он был заместителем директора музыкального издательства Кусевицкого. Он и в России был не чужой человек в мире музыки и танца, ибо женился на танцовщице Элен Тельс (ЕЛЕНА ИВАНОВНА БАРТЕЛЬС, 1880–1944). Жена его была дочерью банкира, училась танцу в студии Айседоры Дункан в Германии, стала ее последовательницей, а потом преподавала в Москве в основанной ею Студии естественного движения. В первом браке она была замужем за известным певцом и режиссером В.Л. Книппером (Нардовым). А в 1919 году она открыла школу танца в Вене, выступала там с концертами и в 1927 году перебралась в Париж. Как и новый ее супруг Артемий Людвигович Рабенек, она всегда оказывала материальную помощь артистам.

Похороненные в той же могиле братья Артемия АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ РАБЕНЕК (1886–1928) и ЛЕВ ЛЮДВИГОВИЧ РАБЕНЕК (1883–1972) учились в том же техническом училище,

что и Артемий, доучивались в Германии, а Лев еще окончил вдобавок медицинский факультет Московского университета. Братья занимались, конечно, делами ткацкого и красильного производства, но Лев близок был вдобавок к кругам Московского Художественного театра. В эмиграции он напечатал в газете «Возрождение» свои мемуары о былой Москве, о Чехове и Станиславском.

Похоронен на Кокаде АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РАЕВСКИЙ (1795–1868), чья недолгая дружба с Пушкиным нашла отражение в творчестве великого поэта. Он родился на Кавказе, в крепости Святого Георгия, в семье будущего генерала и внучки М.В. Ломоносова. Пятнадцати лет от роду Раевский уже служил в армии, участвовал в русско-турецкой войне, потом в Отечественной войне 1812 года, к двадцати семи годам был полковником. Молодой Пушкин дружил с семьей Раевских, с отцом семейства и двумя братьями, вздыхал по обеим сестрам, Марии и Екатерине, посвятил им немало чудных строк. Со старшим из братьев, Александром, он встречался и на Кавказе, и в Крыму, и в Каменке, и в Киеве, и главное – в Одессе. Туда в 1823 году был назначен генерал-губернатором знаменитый либерал граф М.С. Воронцов, и петербургские друзья, чтобы скрасить Пушкину скуку Южной ссылки в Кишиневе, выхлопотали ему перевод к морю, в шумную космополитическую Одессу. Так что Пушкин вместе с полковником Александром Раевским попали разом в распоряжение Воронцова, который был к обоим весьма расположен. А молодого Пушкина этот загадочный, умный, скептический, сыплющий парадоксами философ Александр Раевский тянул к себе в ту пору неудержимо, да и полковнику в отставке Раевскому лестно было открывать глаза на мир признанному в столице поэту. Раевскому молодой Пушкин предсказывал великое будущее, хотя и увидел в его байроническом безверии и скепсисе нечто демоническое, что может привести в отчаянье. Предсказаниям Пушкина о будущих великих делах Раевского не суждено было сбыться. Он не стал заметной фигурой русской истории, зато стал излюбленным персонажем пушкинистов, в частности считается героем известного пушкинского стихотворения «Демон», написанного в 1823 году:

Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистоимой клеветой
Он Провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Конечно, молодого, полного надежд Пушкина смущали и этот мрачный взгляд на жизнь, и некое безверие, однако влекли остроумная наблюдательность собеседника, незаурядная начитанность его друга, так же как разговоры о свободе и благородные идеи масонского братства... И этот пронзительный, не терпящий возражений взгляд молодого Раевского (даже на красивом портрете кисти П. Соколова он впечатляет). Возникает и крепнет «братская дружба, нерушимая никакими обстоятельствами». Это определение их дружбе подыскал сам Раевский уже в пору, когда обстоятельств для их разрыва было много.

Итак, оба друга, пятого класса чиновник, но уже известный и знающий себе цену опальный поэт Пушкин, и его коллега, званием повыше, поступили служить под началом графа Воронцова. Влиятельный аристократ, англоман, европеец, вельможа, сорокалетний богач отнесся к молодым людям вполне благожелательно. Что до Раевского, то он был адъютантом у Воронцова еще и во время войны. За Пушкина просили петербургские друзья, так что граф любезно пригласил поэта бывать у него во дворце, свободно пользоваться его великолепной библиотекой. Все шло прекрасно. Хозяйка графского дома пока не появлялась на людях: она носила под сердцем первого ребенка и не очень хорошо себя чувствовала. Пока графиня отдыхала после родов, граф тайно, чтоб не потревожить слабую еще супругу, похоронил умершего младенца. Вскоре графиня поправилась, выплакала свое горе, стала выходить к гостям, и оба прикомандированных к наместнику Воронцову чиновника, полковник Раевский и коллежский секретарь Пушкин, влюбились в нее без памяти. Графиня была чуть старше их обоих (и пережила их обоих), но в том 1823-м она была как раз в расцвете своей прелести, великолепия, изысканности... Не то чтоб истинная красавица, но дочь графа Станислава Браницкого была во всеоружии польского благородства и французского умения обольщать. Она знала стихи Пушкина, она подарила его взглядом, так что юный и пылкий «африканец» не мог не влюбиться. С военным героем полковником Раевским все обстояло еще серьезнее. Он знал ее когда-то, очень ей нравился. Но он пренебрег тогда ее любовью, вовсе забыл о ней, и теперь, увидев блистательную хозяйку салона, прозрел...

Надо признать, что очень скоро граф Воронцов почувствовал себя в собственном доме вполне неуютно. У него было много всяческих обязанностей, были жена, недавно пережившая утрату, маленькая дочка Александрин, красивая любовница из рода Потоцких, которую он так удачно выдал за своего кузена графа Льва Нарышкина... И вот по просьбе милых людей он взял себе на шею еще и поэта, который не отходит от его жены. Граф, надо признать, не считал поэзию серьезным занятием и полагал, что в глазах окружающих подобный поклонник вряд ли приемлем для его супруги. Графиня дарила поэта ласковыми взглядами. Это пока мало значило, но раздражало ее супруга... Когда известия об этом дошли до Петербурга, до благожелателя и благодетеля Пушкина Александра Тургенева, тот написал в отчаянье другому пушкинскому другу князю Вяземскому: «Графиня его отличала и отличает, как заслуживает его талант, но он рвется в беду свою. Больно и досадно. Куда с ним деваться?»

Уже в марте 1824 года Воронцов отправил письмо графу Нессельроде, возглавлявшему Министерство иностранных дел, чиновником которого числился коллежский секретарь Пушкин, умоляя перевести опального молодого поэта в другое место. При этом он вовсе не бранил Пушкина и сообщал, что не слышал от него никаких крамольных высказываний, что он ведет себя пристойно, но все же неплохо бы поместить его в другую среду, в менее льстивое окружение. Хотя должность обязывала губернатора следить за образом мыслей его подчиненных, граф сумел избежать неблагоприятных доносов (как и откровенных разговоров с неосторожным поэтом). Ознакомившись с просьбой Воронцова, Нессельроде принял ее к сведению, но не взял на себя никаких решений. Для решений в российской вертикали существовал монарх. Но Воронцову было невтерпех, и вскоре он написал письмо сенатору Лонгинову, прося поторопить Нессельроде, а потом отправил и второе письмо министру.

Между тем Пушкин не сидел без дела. Он тоже писал. Он писал любовные стихи, посвященные губернаторше (целый любовный цикл), поэму «Цыганы» и очень злые (и вряд ли столь уж справедливые) эпиграммы, где переставший быть ласковым губернатор представлен подлцом (хотя еще и не полным):

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,

Что будет полным наконец.

Ну а что друг Александр Раевский? Опасаясь за свой снова возгоревшийся, менее поэтический, но зато и менее платонический роман с женой губернатора, он отнюдь не горел желанием выгораживать друга. Они были теперь соперниками, и Пушкину не сразу пришла в голову мысль, что близкий к Воронцову Раевский не находит нужным выгораживать их двоих, и, уж конечно, считает должным спасти в первую очередь свое место в Одессе и свой роман. Пушкин только осознавал горький привкус предательства, и дружба их еще долгое время казалась ему надежной, о ее узах продолжал говорить и писать искушенный в светских интригах Раевский.

Графу Воронцову, не получавшему из медлительной столицы поддержки в срочных решениях, пришла в голову простенькая мысль хоть на время удалить пылкого молодого чиновника из Одессы куда-нибудь в служебную командировку. Область была у графа в управлении огромнейшая, и шеф попросил столоначальника придумать повод для командировки. Возможно, именно так появилась идея поездки для выявления последствий недавнего нашествия саранчи на мирные поля поселян. О результатах обследования можно было доложить в Петербург в потоке донесений, имитирующих усердную службу.

Кстати, результаты этой начальственной акции были впечатляющими: Пушкин был оскорблен. Он сам объяснял, что, прослужив семь лет чиновником, приписанным к министерству, он в руках не держал служебной бумаги и никакими делами не занимался. Это была синекюра для поддержания более или менее светского образа жизни. Для самого Пушкина и всех, кто о нем писал позднее, эта оплаченная казной поездка мелкого чиновника по югу России была для замечательного поэта и пылкого юноши, домогавшегося жены начальника, подлой и коварной мести мужа, изощренной служебной пыткой. Пушкин был в ярости, подумывал об отставке, но Одессу покидать не хотел. В конце концов он получил деньги, поехал лишь в одну из указанных трех губерний, побывал в Херсоне, не утруждал себя саранчой и непредвиденно скоро объявился снова в Одессе. Он должен был написать отчет о результатах ревизии и, как гласит легенда, написал смешной стишок о том, что саранча летела, летела, села, все съела и дальше полетела.

Тем временем, если верить мемуарам Вигеля, Пушкин и Александр Раевский засели за письмо графу Воронцову. Писалось это письмо, конечно, по-французски. Оскорбленный командировкой молодой поэт, аристократ духа, писал сановному аристократу о своем каторжном и унижительном труде в его изредка посещаемой канцелярии и о ничтожности получаемого им вознаграждения... Мемуарист к Раевскому не питает симпатии и как бы считает его поведение двуличным, ибо он был соперником Пушкина, тоже заинтересованным в отъезде поэта.

В конце концов граф Воронцов получил долгожданный ответ и разрешение удалить Пушкина из Одессы и от своего семейного круга. Александр I, получив досье опального поэта, попросил пару дней на раздумье и углубился в чтение. Он, вероятно, с умеренным любопытством проглядел жалобы супруга, вполне знаменитого возлюбленного Ольги Нарышкиной-Потоцкой, супруги почтенного Льва Нарышкина и вообще знаменитого ходока графа Воронцова. Можем предположить, что усмехнулся или нахмурился при упоминании (без дерзкого цитирования) новых злоязычных эпиграмм поэта, проглядел сведения о том, что кроме редких гонораров и семисот рублей в год жалованья чиновника пятого разряда упомянутый Пушкин ничего не имеет, потом обратился к другим мелочам и вот тут... Попробуйте угадать, что привело великодушного государя в гневное настроение и решило участь милого нашему сердцу поэта. Взгляд государя упал на цензурную выписку из легкомысленного, хвастливого, мальчишеского (Пушкин и сам назвал его «дурацким») майского письма Пушкина его другу князю Вяземскому. Цензура выловила содержащуюся в пушкинском письме хвастливую фразу про знакомство с англичанином, про чистый афеизм (то бишь малопохвальный атеизм), про

превосходство Шекспира над Библией... Упомянутый в письме англичанин (фамилия его была Хатчинсон) цензуре показался малоинтересным – домашний врач в семье Воронцовых, судя по регулярным заболеваниям детей и взрослых в этой семье, медик не слишком удачливый. К его философскому бурчанию в англomanской русско-польской семье губернатора мало кто прислушивался. Но молодому Пушкину проповедь медика показалась интересней, он сравнил Священное Писание с Шекспиром и поспешил категорически высказаться в кратеньком письме в пользу Шекспира и собственных философских выводов.

Государь объявил свое решение. Оно было в пользу высылки Пушкина из Одессы. Но оно было гораздо круче, чем то, о чем просил либерал граф Воронцов. Государь повелел уволить вольнодумца со службы и сослать его на жительство в имение родителей, в Псковскую губернию.

То, что придется уезжать, Пушкин понимал уже с конца весны. Понимала это и благоволившая к поэту Елизавета Ксаверьевна Воронцова, жена разлучника. Свет ее выразительных глаз все чаще обращался к влюбленному поэту. На прощанье графиня подарила Пушкину заветный перстень с надписью на древнееврейском языке. Все самые трогательные моменты их любви описаны в замечательных стихах. Впрочем, самой ужасной (или самой прекрасной) победы поэт, судя по всему, не одержал (Вера Федоровна Вяземская, опекавшая Пушкина до самого его отъезда, свидетельствует о серьезности его любви к Елизавете Ксаверьевне и чистоте их отношений). Может, именно поэтому переписка их сохранила жар чувства, а прелестная, любимая всем нашим народом героиня пушкинского романа Татьяна Ларина по праву сияет в ореоле супружеской верности.

После отъезда из Одессы дружеская переписка Пушкина с Александром Раевским еще продолжалась некоторое время. Первое письмо Раевского было ободряющим: «...не унывайте, помните о Вашей обязанности к самому себе, к своей стране и не забывайте, что Вы украшение нашей нарождающейся литературы». Раевский передавал Пушкину привет от графини Воронцовой, на что ссыльный отвечал своему сопернику вполне бодро: «Так как страсть моя очень уменьшилась и я опять влюблен в другую, я размышляю много по этому поводу».

А вскоре у обоих друзей возникли и новые поводы для размышлений и волнений. Грянули декабрьские события 1825 года. Мужья обеих дочерей героя Отечественный войны Н.Н. Раевского Старшего, князя М. Волконский и М. Орлов, участвовали в декабрьском восстании и были наказаны: Орлов высылкой под надзор полиции в Калужскую губернию, а Волконский – в Сибирь на каторгу. Княгиня Мария Волконская решила отправиться вслед за мужем, и брат Александр, несмотря на все свои усилия, не смог ее отговорить. Были арестованы и оба брата Раевские, и Пушкин в письме Николаю Раевскому Младшему справлялся о здоровье Александра: «Он болен ногами, сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня».

Следствие, впрочем, показало, что ни один из братьев Раевских не входил в тайное общество, о чем Александру Николаевичу был выдан «очистительный» документ, и он смог вернуться в Одессу. Тут-то граф Воронцов и обнаружил, что даже в отсутствие смутьяна Пушкина, который на счастье для поэта оказался вдали от опасных событий, одесский дом графа остается осажденной крепостью, ибо на самом деле у его пленительной супруги был не один пылкий поклонник, а по меньшей мере два, и притом второй преуспел больше первого. Раевский не отрывался теперь от предмета своей страсти, ездил с графской семьей в поместье под Белую Церковь и вообще, похоже, настолько преуспел в реализации своих планов, что Елизавета Ксаверьевна родила дочку Софью, которую граф упрямо выделял из семьи. Настроение в доме стало таким тяжким, что графиня стала избегать Раевского, но тот упорствовал, и вот однажды, во время визита царской семьи в Одессу, Раевский остановил карету, в которой ехала графиня, и при свидетелях наговорил ей дерзостей. Таковы, по крайней мере, были слухи. Пушкин вспоминал об этом скандале в разговоре много лет спустя, перед своей роко-

вой дуэлью, но даже знаменитый пушкинист Гершензон вынужден ссылаться лишь на слухи: «Современная молва гласила, что Александр Николаевич Раевский с хлыстом в руке остановил на улице карету графини Воронцовой <...> и наговорил ей дерзостей». То ли страсть лишила его осторожности, то ли былая привычка к экстравагантным поступкам, будоражащим общество, взяла верх над осторожностью, но передавали, что он даже крикнул графине напоследок: «Позаботьтесь о нашей дочери» (даже «о наших детях»). Так или иначе, граф Воронцов был в ярости и совершил в спешке необдуманный поступок: заявил жалобу полицмейстеру, будто он был не наместник, а простой смертный. Спрошенный о его действиях полицией отставной полковник Раевский отписал с великолепной надменностью: «На сие имею честь Вам ответить, что я ничего дурного не мог сказать Ее Сиятельству и не понимаю, что может дать повод такой небылице. Мне весьма прискорбно, что граф Воронцов вмешивает полицию в семейные свои дела и через это дает им столь неприятную известность. Я покажу более чувства приличия не распространяясь о таком предмете». Этим ответом, ставшим достоянием публики, Раевский нанес новое оскорбление графу, оповестив целый мир о своей любовной победе и унижении соперника. Таким образом граф оказался обесчещен дважды. Конечно, он не оставил дерзость без ответа и, испытав новое унижение, добился ссылки Александра Раевского в провинциальную Полтаву под надзор полиции.

Сильно огорченный невзгодами сына старый его отец все же писал дочери из имения не без гордости: «Граф Воронцов потерял в публике жену, себя безвозвратно: все в Одессе знают всю истину».

Но судьба не щадит и Раевских. Год спустя умирает Николай Николаевич. Александр Раевский едет в родовое имение хоронить отца и экономно вести хозяйство, чтобы высылать деньги матери и сестре, уехавшим в Италию. Только через пять лет он получает разрешение снова поселиться в большом городе, без чего человеку возвышенному жизни не было. В Москве романтический страдалец Александр Раевский становится частым гостем в светском салоне богатых Киндяковых и близко сходитя со звездой салона, младшей дочерью хозяина, бойкой и разговорчивой Екатериной (старшая, Елизавета, к тому времени уже была выдана за князя Лобанова-Ростовского). Екатерина привечает героя шумной одесской истории, байронического Раевского, и делает его своим конфидентом. Юная дева рассказывает зрелому герою о своей любовной неудаче. Она влюблена в Ивану Путяту, которому его матушка не позволяет на ней жениться. Раевский горячо сочувствует девичьим печалям, утешает Екатерину, дает советы старшего, обещает помощь, а в конце концов делает созревшей невесте брачное предложение. В свете отмечают, что былой соблазнитель остался верен себе. «Он взялся сватать ее за другого, – пишет в письме А.И. Тургенев, – а сам женился. История самая скандальная и перессорила пол-Москвы».

В разных домах Москвы Александр Раевский изредка встречается с Пушкиным, но поэт явно к нему охладил. Похоже, Пушкин много думал об их прежних отношениях, он посвятил всем Раевским много поэтических строк, но, отдавая должное поразившему его некогда Александру, возможно, пришел к мысли, что соперник в любви вел с ним двойную игру. Весной 1836 года Пушкин писал жене из Москвы, что снова встретил в гостях Раевского, «который прошлого раза казался мне немного приглупевшим, кажется, опять оживился и поумнел. Жена его собою не красавица – говорят очень умна». Отмечая в своих воспоминаниях живость Екатерины Раевской, московские дамы и кавалеры не считали ее внешность привлекательной. Мемуаристка Е. Сушкова отмечала, что она была небольшого росточку, не умела держать голову и имела «вздернутый нос». Тогдашний вкус предпочитал длинный нос курносому.

А судьба окончательно перестала щадить Александра Раевского. Только после пяти лет брака Екатерина смогла родить ребенка, но умерла через три недели после родов. Овдовевший Раевский всю свою любовь отдает прелестной дочери, которая, созрев, выходит замуж за графа

Ностица, но вскоре, подобно матери, умирает в родах двадцати двух лет от роду. Потеряв дочь, Раевский уезжает в Ниццу и там доживает в одиночестве до 73 лет.

Он перезахоронен на кокадском Николаевском кладбище, и это, пожалуй, самая «пушкинская» могила на берегу Средиземного моря. Вопреки предсказанию Пушкина, Александр Раевский не стал «великим человеком», но перипетии его жизни, суждения его, мысли и предрассудки, черты его лица и характера так тесно связаны с жизнью и творчеством великого русского поэта, что, надеюсь, вы простите мне столь долгую остановку у этой одинокой могилы...

Тут же, неподалеку от Раевского, похоронен лейтенант французской армии и выпускник Суворовского корпуса ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ РЕПКИН (1898–1995), который несмотря на все войны прожил 97 лет. Он и родился в крепости Ивангород (Люблинской губернии), кончив Кадетский корпус, участвовал в Первой мировой войне, потом в Гражданской, в 1924 году перебрался из Германии во Францию, жил в Ницце. Сорока пяти лет от роду ушел сражаться в Тунисе в частях французской Свободной армии, дослужился до лейтенанта, а в возрасте 94 лет был награжден орденом Почетного легиона, состоял в Союзе российских кадетских корпусов...

В нынешней Ницце есть еще пяток русских магазинов и ресторанов, но их симпатичные продавцы уже не имеют того чувства посланничества, культурной миссии, которая была неизбежна у беженцев пореволюционной волны. Скажем, орловский уроженец ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ РЕТИНСКИЙ (иногда называемый также РАТИНСКИМ, 1896–1970), владевший в Ницце в послевоенные годы русским магазином и рестораном «Рысак», предоставлял свой ресторан русскому Литературно-художественному обществу, проводившему здесь свои вечера (по большей части благотворительные), общественным и научным организациям для посиделок. И сам Павел Петрович был меценатом и филантропом (какой же ты предприниматель или вообще человек преуспевающий, если ты при этом не благотворитель).

С немалым увлечением и серьезностью занимались деловые люди того времени общественно-политической деятельностью. Можно помянуть похороненного здесь же на Кокаде уроженца Киева АНТОНА КАРЛОВИЧА РЖЕПЕЦКОГО (1868–1932). Он был учей-агроном, кончал Киевский университет, земский деятель, гласный городской думы, директор-распорядитель Южно-русского общества поощрения земледелия. Он отдавал свои последние силы делам управления хозяйством, был министром финансов в правительстве гетмана Скоропадского. Спасая жизнь, он бежал, как многие, в Константинополь, оттуда в Италию, но и там не прекращал борьбы и сумел создать Итало-русское общество по снабжению армии Деникина продовольствием и обмундированием. В свободное время занимался распространением эмигрантской прессы. Умер в Ницце совсем не старым от туберкулеза.

Почти рядом с бывшим киевлянином Ржепецким покоится артистка, лирическая певица ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСКАЯ (1900–1977). Вряд ли загруженный делами министр Ржепецкий успел услышать в Киеве ее пение, но зато мог видеть на сцене ее мать – актрису ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ РОМАНОВИЧ-СЛОВАТИНСКУЮ (1874–1949), которая выступала под сценическим псевдонимом НЕГИНА в амплуа «гранд-кокет», в тридцатые годы играла в Ницце в недолговечном Русском театре, а в 1936-м выступала в спектакле «Опавшие листья». Спектакль был, как легко угадать, благотворительный, в пользу Союза русских военных инвалидов, а пьесу соорудили сами по роману генерала П. Краснова, который был в годы эмиграции очень популярным и плодовитым писателем, позднее, в 1943 году, он возглавлял казачьи войска в Германии, а в 1947-м казнен в Москве. Что до актрисы Негинной, она в то время еще преподавала сценическое искусство театральной молодежи в Ницце. Дочь ее Зоя Александровна взяла себе сценический псевдоним РАТОНА, она пела в Париже на вечерах, которые устраивало Русское артистическое общество, на благотворительных балах Тургеневского артистического общества, а в Ницце дружила с дочерью художника Филиппа Малявина и напечатала о ней воспоминания.

Раз уж мы заговорили об артистической жизни Ниццы, нельзя не упомянуть замечательную семью Ростиславовых.

ЕЛИЗАВЕТА ЯКОВЛЕВНА РОСТИСЛАВОВА (урожденная **АННЕНКОВА**, 1896–1973) – религиозная и театральная деятельница, воистину неутомимая. Она была членом сестричества Святой Ефросиньи при Свято-Николаевском соборе Ниццы, попечительницей района, почетной вожатой в Национальной организации витязей, участвовала чуть не во всех акциях благотворительных организаций Ниццы, проводимых то в пользу инвалидов войны, то в пользу детей-сирот, то в пользу учащихся, то в пользу бедствующих учителей, литераторов или актеров. Среди представителей последних двух категорий ее добрые дела были, можно сказать, спасительны. Она и сама была артисткой, режиссером, поэтом.

В 1951 году она организовала в Ницце русский драматический кружок, который через пять лет стал настоящей театральной труппой. И это в провинциальном французском городе, в котором нет даже постоянной французской труппы, не говоря уж о труппах многочисленных итальянцев, португальцев, алжирцев или марокканцев. Такое сообщество талантливых людей на далеком и все еще свободном краю Европы, где играли пьесы не только всемирно известных русских драматургов, но и их эмигрантских братьев, вроде Евреинова, Тэффи, Ренникова, было спасительным для писателей и актеров (и конечно, для всей эмигрантской культуры). Деньги, собранные актерами и музыкантами, уходили в детские сады, старческие дома, школы, больницы... И в этой «художественной самодеятельности» участвовали профессионалы. Сама Елизавета была актрисой и режиссером, читала свои стихи, ее невестка **ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА РОСТИСЛАВОВА** (1890–1969), постоянная участница концертов, была профессиональной пианисткой, актрисой была и **ИРИНА НИКОЛАЕВНА РУССОВА** (урожденная баронесса **МЕДЕМ**, 1907–1983), и адвокатесса **ЛЮБОВЬ ИОСИФОВНА САВЕЛЬЕВА**, и еще и еще...

На Николаевском кладбище похоронен человек, чье имя успело приобрести шумную славу еще в Москве, задолго до эмиграции. Художникам и писателям он был знаком как капризный меценат и редактор модного журнала, европейским красавицам, имевшим счастье быть его женами (русским, француженкам, итальянке, немке...), как щедрый сумасброд, читателям русских газет как герой скандалов и один из представителей богатейшей семьи России, собирателям живописи как забавный художник-голуборозовец, но серьезным искусствоведам – как человек, который, несмотря на все свои чудачества и художественную полуграмотность, сумел вписать интересную страницу в историю русского искусства «серебряного века»... Звали этого человека **НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ РЯБУШИНСКИЙ** (1876–1951).

Он был единственным из восьми сыновей П.М. Рябушинского, который не захотел руководить ни семейными предприятиями, ни семейными банками, а решил забрать свою долю отцовского наследства и вести богемную жизнь, пойти, как он говорил, «по следам Дягилева» и прославленного «Мира искусства».

Для участия в организованных им художественных выставках «Алая роза», «Голубая роза», «Золотое руно», а также в роскошном литературно-художественном журнале «Золотое руно» он пригласил самых знаменитых тогдашних художников, поэтов и писателей, да он и сам что-то писал и что-то рисовал, а главное, за все платил. Гении русского «серебряного века» (А.Бенуа, Л.Бакст, Л.Андреев, А.Белый, А.Блок) с самого начала отнеслись к молодому «ухарю-меценату» с недоверием, но все же попробовали с ним сотрудничать. Как они и ожидали, он оказался малообразован и бесцеремонен, и они ушли из его журнала. Но, разругавшись почти со всеми признанными гениями, Рябушинский набрал новых, еще не признанных, вроде Бунина и Зайцева, и в конечном счете все же внес свой вклад в русскую художественную жизнь. В сущности, он имел не только деньги и вкус, но и качества умелого антрепренера и издателя.

А. Бенуа так вспоминал о Николае Рябушинском в своих мемуарах: «Считаясь баснословным богачом, он возглавлял всю московскую художественную молодежь и в своей вилле “Черный лебедь” стал устраивать какие-то удивительные пиры, а то и просто афинские ночи...» Смысл этих экзотических мероприятий разгадал уже Андрей Белый: «Рябушинский правильно рассчитал, что пышные пиры, все эти излишества, все эти ландыши и орхидеи посреди зимы укрепляют легенду о безудержной роскоши и щедрости, сопровождающих мецената...» Он, надо сказать, и сам дерзостно брался за кисть, и все, что он писал, было, по словам критика, «модернисто до умопомрачения». Впрочем, маститый И. Грабарь находил, что в этих опытах что-то есть: «Его картины такое сверхъестественное, такое потрясающее дилетантство и при этом такая окончательная и бесповоротная уверенность в своей правоте, что в конце концов, это уже не так и плохо».

Потом пришли революция и катастрофа. Предприятия Рябушинских были закрыты, банки ограблены, братья бежали, сестры погибли на Соловках. Как уцелел ненавистный режиму Николай Рябушинский, можно только гадать. Но был выпущен, открыл антикварный магазин на Елисейских Полях, где продавались уникальные, понятно где украденные предметы. Потом он расстался с очередной красавицей женой, на сей раз итальянкой, и вывез русскую. Потом денег стало поменьше, салоны пожиже, но он открывал новые время от времени. Жил он на улице Петена в Болье-сюр-Мер, писал и продавал картины, предлагал уроки живописи и реставрацию картин. В который уж раз женился на молоденькой немочке-беженке. Умирая в больнице, попросил корреспондента местной газеты передать в некрологе его последнюю благодарность всем женщинам, которых он когда-то любил и осыпал подарками...

Кроме Рябушинского, из москвичей, близких к искусству, почит на Кокаде музыковед ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ САБАНЕЕВ (1881–1968), который родился в Москве, в семье известного зоолога, охотника и рыболова Л.П. Сабанеева. Сын ученого блестяще закончил математический факультет Московского университета, был оставлен при кафедре, защитил диссертацию и получил степень доктора математики. Надо добавить, что он заодно закончил и естественный факультет того же университета и слушал курс на историко-филологическом факультете. Он читал лекции по математике на Высших курсах университета, где имел звание приват-доцента, а с 1918 года и профессора. Были у него и печатные труды по математике и зоологии. В общем, как вы уже поняли, он любил не только учиться, но и учить. И первый его печатный труд был вполне научный, но не о математике и не о зоологии там шла речь, а об искусстве – синтетическом искусстве. Самая же серьезная его монография была посвящена творчеству композитора Скрябина. Это вас не должно нисколько удивлять: Л.Л. Сабанеев был профессиональный музыковед, музыкант и композитор, окончил Московскую консерваторию по классам фортепьяно и композиции (у С. Танеева), написал много книг об истории музыки, о ритме, о композиторе Дебюсси. Собственные музыкальные произведения Сабанеева начали появляться в 1902 году. С тех пор он писал сонаты и кантаты, симфонические поэмы, балеты, да еще и тридцать лет спустя все еще сочинял музыку для кинофильмов. До середины 20-х годов Сабанеев был видным музыкальным деятелем в России – возглавлял ученый совет Государственного института музыкальных наук, музыкальную секцию Академии художеств, был президентом Ассоциации современной музыки. Но как и многие русские интеллигенты, к середине двадцатых он почувствовал, что никакое, даже самое отвлеченное теоретизирование при новой власти безнаказанно с рук не сойдет, и в 1926-м эмигрировал, благо еще была у него возможность «уехать в заграничную командировку». В 1927 году, когда его утвердили в Москве «наркомом по просвещению», он уже осел в Париже и, конечно, не думал возвращаться на небезопасную родину. После этого было добрых сорок лет эмигрантской жизни, из них тридцать пять в Ницце. Сабанеев писал музыку, статьи и книги, написал балет «Авиатриса» для Театра Елисейских Полей, музыку для фильмов, снятых на студиях «Гомон» и «Викторина».

Много писал о Скрябине... Его книга «Воспоминания о России» вышла наконец в Москве лет десять тому назад.

Вот и еще одна вполне громкая и на курортном французском берегу и в кругу российских историков фамилия – Свечин. Впрочем, на Кокаде полдюжины Свечиных (не считая жен): два генерал-лейтенанта, один адмирал, один посол, один тайный советник, один архитектор...

Чуть-чуть не доживший до 93-летнего возраста генерал-лейтенант МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ СВЕЧИН (1876–1969) родился в генеральской семье, воспитывался во Втором кадетском корпусе, в Николаевском кавалерийском училище, кончил Николаевскую академию Генерального штаба и выпущен был корнетом в лейб-гвардии Кирасирский полк. Вскоре ему и случай представился отличиться, потому что началась Русско-японская война, на которой он заслужил пять орденов и золотое оружие. В Первую мировую войну вступил уже полковником, командовал драгунским полком, произведен был в генерал-майоры, командовал дивизией, потом кавалерийским корпусом, но тут революция, а за ней Октябрьский переворот. Переодевшись в солдатскую форму, генерал добрался к белым на юг. Между прочим, в то же самое время младший брат Александр, который прошел те же этапы военной службы и был генералом, перешел на службу в Красную армию.

А между тем Михаил Свечин выполнил очень деликатное задание казачьего генерала П. Краснова, который послал его в Киев к гетману Скоропадскому, чтобы раздобыть оружие с тамошних складов. С киевской миссией Свечин успешно справился, и генерал Краснов отправил его по возвращении на мирную конференцию в Париж. На конференцию посланцев Дона не пустили, но в отличие от своего спутника, мирно оставшегося в Париже, упорный Свечин вернулся воевать и только в 1920-м эвакуировался из Новороссийска. Добравшись до Европы, жил он сперва в Сербии, потом в Германии, наконец, осел в Париже, устроился в банк счетоводом, кормил семью. А в 1926 году банк его перевели в Ниццу, где Свечин и остался до конца жизни. Конечно, у него и кроме банковских занятий хватало важных дел. В 1930 году он создал в Ницце отделение Союза военных инвалидов и долгие годы был его председателем. Тогда же он возглавил здешнее отделение Русского общевойскового союза (знаменитый РОВС, который так беспокоил московские разведслужбы, что они упорно похищали его руководителей и успешно вербовали к себе на службу тщеславных военачальников из его парижского штаба). М.А. Свечин был активным участником многих других общественных мероприятий на Лазурном Берегу, и упоминание об одном из них можно найти в дневниковых записях писателя Ивана Бунина.

В начале июля 1941 года Галина Кузнецова и Марга Степун, жившие на вилле, снимаемой Буниным в Грассе, поехали в Канны, где проходило собрание эмигрантов, посвященное страшному событию – немецкие войска перешли границу Советского Союза. Вот бунинская дневниковая запись за 13 июля: «М. и Г. были на “Казбеке”. Генер. Свечин говорил, что многие из Общевойскового Союза предложили себя на службу в окуп. немцами места в России. Народу – полно. Страстн. аплодисм. при словах о гибели большевиков». Генерал Михаил Свечин прожил в Ницце после войны еще четверть века.

Его московский брат, советский комдив Александр Свечин был расстрелян еще в 1938-м. Он был уже к тому времени крупным деятелем военной науки, преподавал в Академии Генерального штаба Красной армии, написал множество книг, в том числе классический труд «Стратегия». Правда, его теория оборонительной стратегии не всем нравилась в высших эшелонах армии и власти. Она определенно не нравилась стороннику наступательной стратегии маршалу Тухачевскому. Может, не нравилась она и величайшему полководцу всех времен и народов т. Сталину. Но скорей всего, он не стал ломать себе голову над тонкостями научного спора военспецов, а просто поставил к стенке всех этих умников.

На Кокаде похоронен один из самых старых в эмиграции представителей княжеского рода Семеновых-Тянь-Шанских князь НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ СЕМЕНОВ-ТЯНЬ-ШАН-

СКИЙ (1887–1974). Он родился в Петербурге в семье чиновника, окончил Морской корпус, в мирное время плавал на эсминце и на императорской яхте «Штандарт», прогуливал императора, а в Первую мировую и Гражданскую войну воевал на Северном фронте до самого 1920 года, дослужился до звания старшего лейтенанта гвардейского флотского экипажа. Еще в 1915-м лейтенант отдельного батальона Н.Д. Семенов-Тянь-Шанский награжден был орденом Св. Анны за разведку позиций противника, в 1917 году оборонял Кольский залив, потом был вахтенным начальником на крейсере «Варяг», и вот эвакуация... Женат был князь на Нине Петровне (1900–1975), дочери известного банкира Петра Львовича Барка (1869–1937), который был последним российским министром финансов, завершившим свою жизнь на юге Франции близ Обани. Дочь его с мужем в первые годы изгнания оставались вместе с ним в Лондоне, где Нина Петровна завершила свое образование в Оксфордском университете, потом вся семья переехала в Обань, где моряк-гвардеец князь Семенов-Тянь-Шанский по примеру многих бывших офицеров основал ферму и занимался свиноводством – настолько успешно, что удостоился первого приза на конкурсе свиноводов. Вся семья занималась благотворительностью и активно помогала церкви. Сам моряк с первых дней изгнания молился в небольшой походной церкви, которую распisał и подарил ему замечательный религиозный художник Дмитрий Стеллецкий (тот самый, что расписывал парижскую церковь Святого Сергия). Вместе с женой и ее родителями Николай Дмитриевич участвовал в создании нового православного храма для эмигрантов, а Нина Петровна преподавала в созданной ею приходской школе при марсельской церкви Святого Георгия Победоносца. Николай Дмитриевич помогал в делах трудоустройства собратьям по эмиграции и активно участвовал в деятельности Союза дворян, а также Гвардейского экипажа, Суда чести Морского собрания, Кают-компании морских офицеров, Союза ревнителей памяти императора Николая II... И как многие ветераны, писал князь статьи и воспоминания – о П.А.Столыпине, о государе императоре, о своем тесте П.Л. Барке. Он скончался на 87-м году жизни и был похоронен на православном Кокаде. Супруга последовала за ним год спустя.

Вот еще один русский моряк, унтер-офицер АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ СЕРБИН (1898–1968). Он воевал на Первой мировой и на Гражданской, эвакуировался в Тунис, в Бизерту на канонерской лодке «Страж». Опытному судовому электрику и в Тунисе нашлась работа. При этом он никогда не забывал о бедствующих собратьях-эмигрантах, всем готов был помочь. Жена его ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА СЕРБИНА (1896–1984) преподавала в Четверговой школе при церкви в Тунисе музыку и русский язык. Позднее, уже переехав в Ниццу, супруги Сербины не забывали высылать отложенные деньги в Тунис на постройку русской церкви Воскресения Христова. А в тяжкие для России годы Второй мировой войны Французский комитет национального освобождения в Тунисе собирал деньги для помощи Красной армии и обратился к русскому электрику. И безотказный Сербин, конечно, щедро откликнулся, за что в 1944 году получил от упомянутого комитета благодарность. Супруга Алексея Ивановича, пианистка и педагог Е.Г. Сербина на восемь лет пережила мужа и доживала свой век в Русском доме Красного Креста в Ницце (мне еще довелось беседовать с ней в уютном дворике на улице Каварадосси), в свой срок она была похоронена рядом с мужем на Кокаде.

Среди захоронений выдающихся людей искусства и редких профессий, похороненных на Кокаде, привлекает внимание могила ЛАВРЕНТИЯ АВКСЕНЬЕВИЧА СЕРЯКОВА (1824–1881), гравера Его Величества Императорской Академии художеств. Как свидетельствуют документы, будущий гравер-академик «происходил из зажиточного крестьянского семейства <...> принадлежащего помещику Матвееву <...> а родился между Белевом Тульской губ. и Жиздрой Калужской губ., во время передвижения 3-го карабинерного полка Гренадерского корпуса, при котором отец его, отданный в солдаты из сидельцев железной лавки за разгульную жизнь, состоял слесарем». И вот при таком скромном происхождении такая необычная судьба! Главное событие художественной жизни гравера произошло в 1866 году, когда гоф-

мейстер граф Стейнбок «востребовал у Государя о Высочайшем дозволении академику Серякову выгравировать на дереве новейший фотографический портрет Его Величества для распространения оного в России, по ценам сколь возможно доступным для простого народа». 19 ноября того же года «академик Серяков приступил к исполнению дозволенной ему работы...» Граф высоко отозвался о результате:

Столь замечательное произведение это, с уверенностью можно сказать, поставившее Серякова одним из первых граверов на дереве и здесь и за границей, как достигнувшего совершенства по сей отрасли искусства, – обязывает меня всепокорнейше просить <...> представить на Высочайшее рассмотрение прилагаемые при сем три экземпляра гравированных портретов Государя Императора...

Государь одобрил поднесенный портрет и пожаловал Серякову «звание гравера Его Императорского Величества <...> с причислением к Императорскому Эрмитажу...». В июле 1876 года Серяков с женой и малолетним сыном уехал в Ниццу, где и скончался всего лет пять спустя.

На кладбище Кокад покоится прах человека, именем которого названы один остров в Карском море, другой в Японском, знаменитый пароход, погибший в войну, знаменитейший орденоносный ледокол, университет в Сибири, да много еще чего в России по справедливости можно было бы назвать его именем. Отчего ж такой неожиданностью была для меня встреча с его могилой на Кокаде и прочитанный в переводе со шведского грустный отрывочек из газеты? И отчего все же так мало знал я о нем, когда проплывал мимо его острова в Енисейском заливе, стоял на руле, держа в корму ледоколу его имени, когда рылся в книгах бывшей библиотеки В.А. Жуковского в стенах им затеянного Томского университета, когда гулял по его родному городу Иркутску? Случайным ли было это мое неведение? Или здесь еще один маленький секрет нашего высшего образования и высочайшего моего недообразования?

Но вот она, эта бывшая многие десятилетия минувшего века забытой могила: АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ СИБИРЯКОВ (1849–1933), уроженец и фанатик Сибири, золото-промышленник, неутомимый путешественник, герой, исследователь, щедрый меценат, филантроп, создатель, строитель дорог, этнограф, писатель... Кто еще? И где они еще водятся, такие люди, в каких уголках земли?

Три удивительных брата Сибиряковы – Александр, Иннокентий и Константин – родились в старинной и очень богатой сибирской семье: мать была из знаменитой купеческой семьи Трапезниковых, а отец Михаил Александрович Сибиряков был совладельцем одного из крупнейших в Сибири золотодобывающих предприятий, крупного пароходства и многого чего еще. Известен здесь был Афанасий Сибиряков, архангелогородский, из Устюжского уезда. В Иркутске первый городской голова был Михаил Васильевич Сибиряков, считают, что иркутский Белый дом проектировал для него сам Джакомо Кваренги.

Михаил Александрович после себя оставил огромное состояние, и сыновьям его, получившим современное образование, а главное – вполне духовное воспитание, нужно было думать о том, что можно доброго на такие деньги сделать – для других людей, и для России, и для милой своей «малой родины» (огромнейшей и малоразвитой). Так что не все братья поступили в соответствии со своими понятиями и семейной традицией (уже и родители, и деды занимались благотворительностью, были почетными гражданами Иркутска). Щедрость их и энергия при совершении добрых дел были поразительны, а младший, Иннокентий, и вовсе,

все отдав, завершил свою короткую жизнь схимонахом, успев достроить в конце великолепный храм на греческом Афоне, где принял постриг...

Старший из сыновей Александр (на чью могилу на Кокаде любой сибиряк, попавший в Ниццу, думаю, принесет цветок) больше четверти века своей жизни всю свою энергию, которой хватило до начала XX века, когда он покинул родину, и огромное состояние употребил на пользу возлюбленной своей Сибири. Край был не только необустроен, но еще и не изучен.

В 1875 году, спустя год после смерти отца, старшие братья поделили наследство, назначили младшим опекунов. Александру было всего 25 лет, когда он познакомился с шведским геологом и полярным исследователем Нильсом Норденшельдом. Норденшельд, уже член академии, знаток Шпицбергена, почти на два десятка лет старше молодого энтузиаста из Иркутска, с интересом его расспрашивал о загадочной Сибири. Александр нашел своего героя. Уже тогда он передал Норденшельду 345 000 рублей для исследования северного берега. Норденшельд стал готовиться к знаменитому переходу. Деньги давали шведский король, предприниматель Диксон, но 40 % суммы выложил из своего кармана Александр Сибиряков. Дальше были бесконечные траты, неудачи, спасательные операции. Кроме главного судна («Веги»), построена была в Швеции «Лена» (которая потом бесконечно таскала грузы по сибирским рекам). Норденшельд первым двинулся из Атлантики в Тихий океан по Северному морскому пути.

Не дойдя ста миль до Берингова пролива, он встал на стоянку на добрых десять месяцев. Обеспокоенный Сибиряков послал на спасение экспедиции пароход «Норденшельд», но тот потерпел крушение. Тогда сам Сибиряков попытался пройти в устье Енисея... Когда суда вмерзли в лед, он добрался на оленях с ненцами до Салехарда. А Норденшельд все-таки достиг цели...

На входе в Енисейский залив Норденшельд назвал остров, как он писал, «по имени горячего и великодушного организатора сибирских экспедиций...». Есть остров имени Сибирякова и в Японском море.

К 1883 году затраты Сибирякова на изучение и освоение Сибири достигли полутора миллионов тогдашних рублей. Он оплачивал полярные экспедиции, помогал и русскому, и французскому Географическому обществу. В Сибири тогда не было ни одного университета, и Александр Сибиряков сразу дал на строительство Томского университета 200 000 рублей. Он купил для университета библиотеку В.А. Жуковского и без конца придумывал, что бы ему еще подарить. Все же первый университет в Сибири. Подарил скульптуру Антокольского, полотна Айвазовского...

В 1878-м он напечатал в Петербурге свой первый «Очерк из забайкальской жизни». Позднее издал в Тобольске статью «К вопросу о внешних рынках Сибири», еще не раз печатался, а в 1907-м издал самый солидный свой труд «О путях сообщения Сибири и морских сношений ее с другими странами», к которому мы еще обратимся.

А пока, подходя в нашем рассказе к новому, вполне несчастливому XX веку, в начале которого и завершил свою лихорадочную деятельность и беспримерные траты на пользу родине Александр Сибиряков, отметим, что неустанные гуманитарные усилия его были все-таки отмечены благодарным человечеством. Родной город Иркутск сделал его своим почетным гражданином. Этой чести был за многие свои дела удостоен еще его папенька. Но Александр пошел дальше. Он был избран также почетным членом северополярного общества немецкого города Бремена, членом научного и литературного общества города Гетеборга, почетным членом Шведского общества антропологии и географии, награжден шведским орденом Полярной звезды, французским орденом «Пальмовая ветвь». Но вот и родина наградила героя-полярника, покорителя Русского Севера орденом Святого Владимира 3-й степени. Не густо. За столь долгую службу любой отодвигатель стульев за дворцовым ужином (церемониймейстер, шталмейстер, гофмейстер, егермейстер...) получил бы уже полдюжины орденов.

Александр Сибиряков уехал из России. Жил в Париже и Ницце, наезжал в знакомый с юности Цюрих... А в мире между тем происходили катастрофы.

Европейская бойня, русская революция, большевистский путч. Постаревший герой Сибири остался безо всяких средств. В 1921 году председатель Шведского географического общества профессор Хессельман рассказывал про то, с каким трудом он разыскал в Ницце нищего старика и сообщил ему, что Швеция в отличие от давно забывшей его России помнит о заслугах Сибирякова. Что король и риксдаг постановили назначить ему пожизненную пенсию.

Отшумела Первая мировая, Гражданская, где-то вдали от Ниццы, по которой бродил обтрепанный шведский пенсионер, почетный гражданин городов и член научных обществ, совершались великие переселения народов. На родину старика, в Сибирь, шли эшелоны с недобитыми, но снова закрепощенными крестьянами из Украины и Центральной России. Но газеты, попадавшие в Ниццу, не писали об этих глупостях. Газеты писали о сказочных успехах Советской России. Вот уже ледокол «Александр Сибиряков» пробивается через льды. Он совершил ЗА ОДНУ НАВИГАЦИЮ сквозное плаванье Северо-восточным морским путем из Архангельска и дальше, дальше, дальше – через Берингов пролив... Газеты всего мира сообщили в те дни, что сам товарищ Сталин, наградил ледокол «Сибиряков» орденом Трудового Красного Знамени. От имени ледокола орден получил капитан Воронин. Живут же люди!

А где сам герой Сибиряков, известный полярный исследователь, чье имя носит известный ледокол. О, героя давно нет! А может, и не было. Правдивые корреспонденты могут подтвердить. Сам товарищ Эренбург может подтвердить. Был такой исследователь, но давно умер...

А он и вправду умер. Умер в Ницце в ноябре 1933 года в больнице имени Пастера. Хоронили его на Кокаде троє шведов и одна добрая дама из Ниццы, о чем корреспондент газеты «Свенска дагбладет» с чувством сообщал в номере за 8 ноября:

Это были странные похороны. Около небольшой белой часовни на русском кладбище, расположенном на красивом пригорке над Ниццей, пришедшие переглянулись – никого, кроме них четверых, на похоронах не было. Присутствовали шведский консул в Ницце Бергтрем, директор бюро путешествий «Ле Нордиск вояж» Парссон, хозяйка гостиницы, где жил умерший, и ваш покорный слуга, корреспондент газеты «Свенска дагбладет». Они молча стояли под ослепительным солнцем и ждали. Но в конце концов поняли, что ни один из 50 000 соотечественников усопшего на Ривьере не пожелал обеспокоить себя появлением на похоронах. Шестеро немолодых мужчин в серых блузах подняли некрашенный гроб и понесли вверх по склону. Пожилой русский священник расстелил над гробом потрепанное покрывало с желто-голубой вышивкой, шведский консул положил в изголовье венок с желто-голубой лентой. Священник, улыбаясь, поблагодарил четверых пришедших на похороны. Хозяйка гостиницы со слезами на глазах спросила, что же пожилой русский сделал плохого, раз соотечественники его забыли. Консул ответил, что он ничего плохого не сделал, но с годами стал одиноким и больным, а был одним из самых богатых людей в своей стране.

Вот такое появилось описание в шведской газете 8 ноября 1933 года, и если не считать по небрежности преувеличенного (ровно в десять раз) числа русских беженцев на Ривьере и вполне небрежного перевода с шведского, который наконец появился в русской печати с опозданием на 76 лет, все так и происходило. Могилка великого сибирского мецената и исследователя простояла на Кокаде одинокой и заброшенной все эти 76 лет. Но теперь-то уж заметку

эту прочли члены «Общества схимонаха Иннокентия Сибирякова» и пришли в ужас и изумление. Два слова об этом небольшом религиозном обществе. Имя младшего брата Александра Сибирякова бесконечно щедрого и набожного Иннокентия Сибирякова, совсем молодым угасшего в греческом Афоне, окружено легендами и ореолом святости. Этот человек щедро раздавал деньги, откликаясь на любую просьбу. Он словно хотел избавиться от гнета богатства, жертвовал на религиозное строительство, на просвещение, на культуру, на медицину. Он не раз говорил, что его стесняют эти им не заработанные деньги. Высказывание небезопасное. Небезопасным было и то, что он раздавал деньги, не требуя у просящих справку из полиции о благонадежности. Этим он тоже навлек на себя неприятности (подобно Савве Морозову, который поплатился за былые щедроты жизнью). Недовольство проявляли не только власти, но и некоторые из родственников, которым больно было видеть, как утекают семейные деньги. Эти люди попытались даже объявить Иннокентия душевнобольным и потребовали врачебной экспертизы. Но психиатры подтвердили, что молодой человек здоров. Иннокентий отказался от денег, которые росли у него на счетах быстрее, чем он успевал тратить, и постригся в монахи, решив стать схимником. Эта вполне недавняя история привлекла симпатии группы верующих, которые и создали Общество схимонаха Иннокентия Сибирякова. Прочитав старую заметку о всеми забытом старшем брате Иннокентия, деятельном Александре, члены общества были так удивлены, что отправились в Ниццу искать могилу. И могилу на Кокаде нашли. Более того, в местном загсе они нашли похоронные документы, выписанные на какого-то безответного и давно покинувшего наш мир французского шофера. Теперь уж, дождавшись очередной (76-й) годовщины до дня смерти Александра Сибирякова, благородного брата святого Иннокентия (он был признан «святым местного уровня»), члены общества совершили поездку на могилу великого полярника, возложили венки и отслужили на Кокаде поминальную литию. Атмосфера была торжественная, и все же не умолкали и после этого споры о странном поведении старшего Сибирякова в те годы молчания. Весь мир шумел о ледоколе его имени, а в его сторону никто и не взглянул... Некоторые члены Общества схимонаха Иннокентия объясняли это молчание особой скромностью престарелого Александра. Другие просто пожимали плечами. Я тоже был немало удивлен, когда обнаружил в одну из своих поездок на Кокад, что похоронен здесь тот самый великий Сибиряков. Тогда и подумалось мне, что должна быть у этого странного умолчания причина, которая закопана не слишком глубоко, и каждый, имеющий доступ к документам или просто компьютер, сможет ее обнаружить.

Самое рождение в Иркутске будущего горячего патриота Сибири Александра Сибирякова почти совпало по времени с появлением кружка студентов-сибиряков в Петербурге. Так зародилось еще одно так называемое освободительное движение, позднее затихшее, но не уверен, что себя исчерпавшее. Его называли «областническим», «автономистским» и уж совсем страшно – «сепаратистским». В самой радикальной форме это было движение против «великой и неделимой России», в более умеренной – за автономию. Молодые участники этого движения (самыми заметными в нем были Григорий Потанин и Николай Ядринцев, одно время близкие к народникам) упрекали российскую власть в том, что она рассматривает огромную многонациональную Сибирь как отсталую, бесправную колонию Центральной России, недостойную собственного слова в развитии ее гражданского общества, культуры, проведении внутренней и внешней политики, воспитании своей интеллигенции... Понятно, что учителей свободы в то время у сибирских свободолюбцев, попавших в бурлящую Европу, было предостаточно и своих, и зарубержных (от Герцена и Чернышевского до самого что ни на есть Карла Маркса). Но понятно и то, что это движение патриотов Сибири и сторонников превращения родного края в современную, цивилизованную страну со своей общественной и культурной жизнью было, с точки зрения государственных, то есть «истинных», патриотов, чем-то вроде сепаратизма, а стало быть, некоего диссидентства. И тогдашняя петербургская власть, и несравненно более крутая и жестокая большевистская никакого сепаратизма на дух не переносили, даже старались

не упоминать о нем. Так что поразившая последователей его младшего брата «исключительная скромность» сибирского диссидента Сибирякова тут была ни при чем.

Вернувшись недавно к главной книге Александра Сибирякова, вышедшей в Петербурге в 1907 году, я нашел там чуть не все главные идеи «автономистов» и все главные их претензии к петербургской власти. Там говорится о колониальной политике, проводимой центральной властью в Сибири, об эксплуатации и разрушении обобранного края, о превращении прекрасной, своеобразной страны в место каторги, о нуждах сибирского образования. Даже намек на возможность другой судьбы для Сибири тут есть: взгляните, как преобразилась Аляска, попав в другие руки. Конечно же братья Сибиряковы читали труды Потанина и Ядринцева (в заглавии одной из книг которого напрямую сказано, что Сибирь – русская колония). Кстати, оба основателя сибирского «областничества» были в восторге от американской независимости, от федерального американского устройства...

Что касается Иннокентия Сибирякова, то он щедро поддерживал деньгами лидеров сибирского «автономизма», которым пришлось пережить нелегкие годы. В 1865 году они были арестованы и сосланы, потом пережили позор гражданской казни и снова были сосланы. Впрочем, довольно скоро они вышли на свободу и долго еще продолжали путешествовать, писать очерки, печататься, исследовать Сибирь. Оба стали учеными, а Потанин даже пережил волнующий момент, возглавляя в 1918 году недолговечную Сибирскую республику. Оба лидера вошли в энциклопедии советского времени, но ни слова о коварном сепаратизме и сибирских волнениях вы там не найдете. Новое, советское умолчание было профессиональней прежнего: к власти пришли профессиональные нелегалы и террористы.

Один из самых ушлых террористов стал полпредом России во Франции, так что в Париже у него уже было «все схвачено». Но и в Ницце старику Александру Сибирякову лучше было затаиться. Время было страшное. Напомню, что в тридцатые годы не только воспевали подвиги ледокола «Сибиряков», но и подстрелили ни в чем не повинного французского президента. Подстрелил «сумасшедший» эмигрант-казак, вернувшийся из своей странноватой поездки в Москву. В Ницце тогда сумасшедших тоже было достаточно, и восьмидесятитрехлетний герой России, звезда покорения Севморпути и вполне нормальный «автономист» знал, что ему лучше не высовываться. Думаю, что он был прав.

Совсем неподалеку от Александра Сибирякова покоится на Кокаде граф СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТРОГАНОВ (1852–1923). На человеке, лежащем в этой скромной могиле, кончается знаменитейший и богатейший (один из первых в империи по богатству) аристократический род Строгановых, но известность этого имени долго будет жить в любом кругу образованных людей России или, скажем, гурманов всех стран. Широко известны строгановское направление иконописи, строгановская школа лицевого шитья, строгановский дух московского барокко, завидное художественно-промышленное училище. А как светлеют лица во всемирном застолье при звуке этого чисто русского сочетания слов: «беф-строганов», что в переводе означает «мясо по-строгановски». (Наши-то столовские румяные кассирши времен моей ненасытной младости говаривали: «Мужик, передай по очереди, пусть не стоят, бистроганы кончились».)

Родился Сергей Александрович в середине позапрошлого века в Петербурге, в семье флигель-адъютанта Его Императорского Величества, егермейстера и богатейшего в России человека графа Александра Сергеевича Строганова и его жены Татьяны Дмитриевны (урожденной княжны Васильчиковой). Через два дня младенец был крещен, и восприемником новорожденного был лично император Николай Павлович. Детство юный граф провел в одном из знаменитых строгановских поместий, нет, не в Марьине, не на Строгановской даче, не в петербургском Строгановском дворце, который проектировали Растрелли, Воронихин и другие гении, а в имении Волошинове (близ Порхова).

История рода Строгановых (вышедших из поморских крестьян) – это четыреста лет развития русской промышленности, приращения земель, земледелия, финансов, политики... Последний граф Строганов сперва учился дома, потом успешно сдал в Петербурге все экзамены за курс гимназии, так же успешно закончил юридический факультет университета и получил степень кандидата, а вдобавок кончил Морской корпус и двадцати пяти лет от роду произведен был по экзамену в гардемарины. Каких только воинов, каких только генералов не было в истории Строгановых, но моряком был только последний в роду, тот самый граф Сергей Александрович, что покоится на Николаевском кладбище Кокада. Свой офицерский чин он получил год спустя, причем не вполне тривиальным путем: совершил на собственной яхте «Заря» заокеанское плавание в Филадельфию, время которого было засчитано как время службы. Яхта проследовала из Портсмута в Гавр, затем на остров Мадера, дальше к американскому берегу и обратно, в Шербур.

Он вообще был неутомимый путешественник, посетил многие страны Ближнего и Дальнего Востока, иногда путешествовал в обществе своей сестры Ольги (издавшей описание их путешествий), ее мужа князя Щербатова или князей Голицыных.

А в 1877 году гардемарин Строганов вместе с двумя собственными миноносными катерами поступил в распоряжение приморской обороны Одессы и осенью того же года, во время последней русско-турецкой войны, «участвовал в постановке мин под ружейным и картечным огнем» возле турецкого Сулина. «За отличие в деле» граф произведен был в мичманы, позднее в лейтенанты и награжден Георгиевским крестом за храбрость. Еще в 1878 году он был «уволен для службы на коммерческих судах с зачислением по флоту». Участвовал в создании Добровольческого флота, имел собственные пароходы на Волге.

Тридцати лет от роду лейтенант Сергей Строганов женился на девятнадцатилетней княжне Евгении Васильчиковой, родной сестре своего друга детства Бориса Васильчикова. Молодые поселились в дедовском Вольшове Пензенской губернии, среди бесчисленных цветов и кустарников, для местных жителей построил школу, амбулаторию, больницу. Он был полон планов по усовершенствованию своей «Вольшовской экономии», своих конюшен, разведению породистых лошадей для охоты, умножения речного флота. Активно участвовал в делах земства, помогал строить дороги, открыть в Пскове реальное училище, избирался в земский суд, был щедрый меценат. И.И. Грезин приводит в своей книге о кладбище Кокад довольно впечатляющий отчет об имуществе (движимом и недвижимом) молодого графа Строганова на год женитьбы:

...в С.-Петербурге четыре каменных дома, в С.-Петербургском уезде мыза Мандурова... В Нижнем Новгороде два каменные дома, пустопорожные места и соляные магазины; в Балахнинском уезде зеленые угодья, шесть железодельных заводов, два чугуноплавильных <...> соляные варницы и золотые промыслы при Билибинском заводе <...> усадебных, пашенных, лесных дач и прочих угодий <...> 1 708 489 дес. <...> по общему соглашению наследователей оценено в 11 млн руб. сер.

От родительницы его, усадьбище Воронцово <...> 16 247 дес. и чересполосного леса 1647 дес. Таврической губ. Ялтинского уезда в пяти участках, засаженных виноградниками с караульным домом 33 дес.

Это все унаследованное, а было и благоприобретенное – с водяною мельницею, промысловыми заведениями и фабрикой, при них земельных угодий 7819 дес.

Да еще за женой было дано родовое: Воронежской губ. село Нижний Кислой и сахарный свекловичный завод, земельных угодий 6654 дес....

Поскольку не вполне серьезное наблюдение, что «не в деньгах счастье», повсеместно в мире оспаривается, можно заключить, что у Строгановых в их цветочном раю было, можно сказать, все для большого счастья милой юной княжны и ее мужа, моряка и героя. Однако судьба судила иначе.

Через два года после замужества юная графиня умерла от родов. Еще два года граф горевал, оставаясь в опустевшем дедовском поместье, строил часовню в память о жене. Спасали главные его увлечения – охота, чистопородные лошади, охотничьи собаки, в которых он знал толк. Спутниками его по охоте были великий князь Николай Николаевич Младший, князья П.П. Голицын и Б.А. Васильчиков. Вместе они затеяли издание журнала «Охота», создали Общество поощрения полевых достоинств охотничьих собак. Не довольствуясь своими усадьбами конюшнями, граф С.А. Строганов основал в шести километрах от Пятигорска еще один завод разведения чистокровных арабских лошадей. Как ни удивительно, и «Графский хутор» и «Терский завод», устроенные Строгановым, существуют до сих пор, хотя завод переживает большие трудности.

Понятно, что овдовевший граф Сергей Александрович, состоявший членом Императорского яхт-клуба, путешествовал теперь еще больше, чем раньше. Он плавал на своей яхте на Антильские острова, потом с сестрой и ее мужем в Месопотамию. По возвращении они вместе выпустили «Книгу об арабской лошади».

Строгановский дворец в Петербурге граф предоставляет для проведения художественных выставок, хлопочет о внутренней сохранности бесценного интерьера, о передаче дворца музеем и вообще озабочен «нераздельностью» имения Строгановых. После беспокойного 1905 года граф все больше времени проводит в Париже и в Ницце, все реже бывает в России. Но он издали следит за нуждами крестьян своей «экономии» и за обороноспособностью родного флота. Он покупает германский пароход, перестраивает его в аэростатоносец «Русь», потом продает и деньги дарит Морскому министерству России, завещая употребить их «на премии для нижних чинов за сочинения на исторические и бытовые темы военно-воспитательного и военно-образовательного характера и на издание этих сочинений». Но похоже, уже никакие произведения военно-воспитательного характера российскому флоту и армии помочь не могли. Нижними чинами овладевали иные идеи...

Во время Русско-японской войны он дарит русскому флоту свои военные катера. Из-за рубежа принимает меры для «нераздельной» продажи империи Строгановых. В годы Первой мировой войны граф женится вторично – на сорокалетней Генриетте Лельез. Она пережила его почти на сорок лет. Детей у них не было. В 1923 году, со смертью графа, угас род великих Строгановых.

Сообщают, что в последний приезд граф передал ключи от Строгановского дворца наркому Луначарскому – на культурные нужды. Может, такой спектакль и имел место. Хотя для «экспроприации экспроприаторов» большевикам не нужны были ключи.

На Кокаде похоронены такие крупные царедворцы и администраторы, которые успели занимать до изгнания высочайшие посты и чья грудь была украшена чуть не всеми высокими орденами Российской империи и самых разнообразных стран. Таким был действительный статский советник ПЕТР ПЕТРОВИЧ СТРЕМОУХОВ (1865–1951), воспитанник Пажеского корпуса, двадцати лет произведенный в лейб-гвардии подпоручики Егерского полка. С тех пор он служил на самых разнообразных должностях и выполнял самые ответственные поручения при высоких лицах, скажем, при варшавском генерал-губернаторе, да и самому ему довелось побывать последним российским губернатором в Варшаве. В промежутке он послужил саратовским и костромским губернатором, имел ордена Св. Станислава (даже двух степеней), Св.

Анны (двух степеней), персидский орден Льва и Солнца, сиамский орден Белого слона, орден Св. Владимира, орден князя Даниила Черногорского и еще, и еще, и еще...

Поручений и поощрений, судя по приводимому И.И. Грезиним «формулярному списку о службе», было великое множество. Скажем, было ему «поручено наблюдение за фребелевскими заведениями в гор. Варшаве» (это по части дошкольного воспитания), «познакомиться с состоянием русской библиотеки в Варшаве, принадлежащей вдове полковника Нарцевой», «произвести подробное расследование обстоятельств смерти душевнобольного жителя г. Варшавы Ивана Зелинского»; Петр Петрович был «командирован в г. Лодзь для ознакомления на месте с условиями постройки обводной дороги и трамвая», «назначен членом особой комиссии, образованной для рассмотрения тех изменений, кои окажутся необходимыми в правилах по учету лошадей в губерниях Царства Польского», «назначен членом комиссии, учрежденной для рассмотрения вопросов, касающихся деятельности различных учреждений гражданского ведомства в районе Варшавского военного округа, в случае войны и для выработки на этот случай соответствующей инструкции».

В 1913 году, когда он вступил в должность егермейстера двора, получил похвалу за организаторские способности: «Государь Император соизволил на объявление Высочайшей благодарности за образцовый порядок во время посещения Их И.В. города Костромы и Костромской губ. по случаю торжеств празднования 300-летия Царствования Дома Романовых». Вся эта благодать не могла не припомниться Петру Петровичу через четыре года, когда пришлось ему бежать на Кавказ и в Астраханский край, где он стал помощником генерала Деникина. В 1920-м он был уже в Константинополе, потом служил в библиотеке в Болгарии, откуда переехал в Югославию, в 1927-м добрался до Парижа, где пристроился кассиром в ресторане, а по вечерам еще подрабатывал перепечаткой на машинке... А все же не вовсе утратил Петр Петрович авторитета и жара общественного, был секретарем Общества защиты собственности русских эмигрантов, членом Союза ревнителей памяти императора Николая II, состоял в Объединении лейб-егерей, читал лекции в Кружке молодежи по изучению русской культуры, а последние годы жизни провел в Русском доме Красного Креста в Ницце, где много писал, вспоминая о своей службе, о последнем русском императоре, печатал очерки в журнале «Россия» и «Казачьем журнале».

Похоронена здесь и замечательная русская оперная певица ЕЛЕНА ИОСИФОВНА ТЕРЬЯН-КОРГАНОВА (1864–1937). При рождении в родном Тифлисе звалась она Эгинэ Овсеновна Терьян-Корганян. Начинала она шумную карьеру двадцати лет от роду с партии Розины в «Севильском цирюльнике» на сцене петербургской Итальянской оперы. Потом пела чуть не во всех больших театрах Европы, а в России пользовалась уважением многочисленных учеников. Знали студенты и в Петербургской консерватории и в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества, что почтенный профессор Терьян-Корганова совершенствовалась у самой Полины Виардо и пела в молодости по всей Италии. В эмиграции, после 1917-го, Елена Иосифовна занималась с артистами постановкой голоса в «Комеди Франсэз» и в Голливуде. Через год после смерти певицы в Ницце почитатели создали в ее честь общество «Вечная память».

Почиют вечным сном на Кокаде и актеры, уставшие от славы. Конечно, по числу похороненных здесь театральных и литературных знаменитостей Кокад уступает парижским кладбищам, как тихая провинциальная Ницца уступала бурлящему Парижу, но все же было и в Ницце Общество литературных и сценических деятелей, которое в 30-е годы возглавляла графиня ЕКАТЕРИНА БОЛЕСЛАВОВНА ТОЛСТАЯ-МИЛОСЛАВСКАЯ (1868–1956). Помогали ей графиня Елена Михайловна Толстая, Ирина Дмитриевна Толстая, Вера Васильевна Толстая-Грейг... То, что на Кокаде так много Толстых, неудивительно. Толстых вообще в эмиграции было великое множество, не только знаменитых и талантливых женщин, но и вполне знаменитых и энергичных мужчин.

К примеру, похоронен на Кокаде граф ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ТОЛСТОЙ (1860–1941), известный в Петербурге знаток искусства и коллекционер, выпускник юридического факультета Петербургского университета. До конца позапрошлого века он служил чиновником в Министерстве иностранных дел, был церемониймейстером двора, а в 1901 году стал вице-директором Музея Александра III (нынешнего Русского музея), потом директором-хранителем Императорского Эрмитажа, к началу мировой войны был уже обер-церемониймейстером, известным в Европе искусствоведом и коллекционером. Его коллекция портретов поступила в Русский музей и в московский Музей изящных искусств, но сам он был уволен большевиками уже в 1918 году, долго искал пристанища в послевоенной Европе и в конце концов осел в Ницце, где участвовал в создании местного отдела общества «Икона». И конечно, писал воспоминания.

Неподалеку от последнего пристанища графа Д.И. Толстого похоронены супруги Томиловы. Генерального штаба генерал-лейтенант ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТОМИЛОВ (1870–1948) окончил Кадетский корпус, военное училище и академию, служил в военной разведке, был специалистом по странам Ближнего Востока. Во время Первой мировой войны командовал Кавказским полком, во время Гражданской был помощником командующего войсками Северного Кавказа, соратником генерала Н.Н. Юденича, который после эвакуации и всех скитаний помог ему осесть в Ницце. Позднее Томилов занимался вопросами военного востоковедения и писал воспоминания о Юдениче. Еще более активной была эмигрантская деятельность его супруги ТОМИЛОВОЙ (урожденной СТРЕЛЬБИЦКОЙ) НАТАЛЬИ АРКАДЬЕВНЫ (1887–1960). В юности она училась на Высших женских курсах, и в Ницце начинала преподавателем Четверговой школы при Свято-Николаевском соборе и в Кружке по изучению русской культуры при лицее Александрино, входила в общественный комитет Дня русского ребенка, даже возглавляла Общество помощи русскому ребенку. После Второй мировой войны она возглавляла еще несколько общественных просветительных организаций, ратовала за преподавание русского языка во французских школах и способствовала распространению православия среди русской и французской молодежи. Была награждена орденом Академических пальм – редкая награда деятельнице русского просвещения.

На Кокаде похоронены два брата из знаменитой семьи Треповых, оба уроженцы Киева. Старший из братьев генерал-лейтенант ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ ТРЕПОВ (1854–1938) был полный тезка своего прославленного отца, петербургского обер-полицеймейстера, того самого, в которого стреляла Вера Засулич. Федор Федорович Младший окончил Пажеский корпус, служил в лейб-гвардии Конном полку, в разное время был вице-губернатором Уральской и Вятской губерний, позднее киевским, волынским и подольским генерал-губернатором, участвовал в Русско-турецкой войне, а в Первую мировую был даже военным генерал-губернатором некоторых захваченных русскими областей Австро-Венгрии. После эвакуации жил до самой смерти в Ницце.

Младший брат его АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ТРЕПОВ (1862–1928) после окончания Пажеского корпуса служил в лейб-гвардии Егерском полку, а настоящую государственную карьеру начал делать в 1896 году, когда вступил в должность камергера двора, стал членом Государственного совета и Особого совета по обороне. В 1915 году он уже был министром путей сообщения, хлопотал о постройке Мурманской железной дороги, учредил Министерство шоссейных дорог, а с конца 1916 года, не оставляя путейского руководства, возглавил Совет министров воюющей России. За месяц до Февральской революции он был снят, впрочем, со всех постов, так как считался реакционером. Пишут, что он участвовал в каком-то заговоре по спасению жизни государя. Его даже допрашивали по этому поводу в Париже, где он жил в эмиграции. Но умер он в Ницце и был похоронен на Кокаде, рядом с братом.

Единственным мужским представителем графского рода Уваровых на Кокаде предстает граф ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ УВАРОВ (1866–1954). Он был членом Государственного совета,

хлопотал о нуждах сельского хозяйства, построил школу в селе Поречье под Москвой. Пылкой общественницей и деятелем образования была его сестра ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА УВАРОВА (1864–1953). Будучи фрейлиной императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, она проявляла неустанную заботу о детских колониях отдыха, работала в Донском институте в Белой Церкви и в школе для девочек под Парижем. Похоронена рядом с братом и его супругой ЕКАТЕРИНОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ УВАРОВОЙ, урожденной графиней ГУДОВИЧ (1868–1948).

Род Урусовых представлен на Кокаде замечательной женщиной, сестрой милосердия, награжденной тремя Георгиевскими крестами, княжной ЗИНАИДОЙ НИКОЛАЕВНОЙ УРУСОВОЙ (1888–1961). Из многочисленных князей Урусовых, сделавших завидную карьеру, на Кокаде покоится лишь князь ЛЕВ ПАВЛОВИЧ УРУСОВ (1839–1928), воспитанник Пажеского корпуса, обер-гофмейстер императорского двора, действительный статский советник, бывший российский посол в Париже, а также в Бельгии, Италии, Румынии и Австро-Венгрии.

В числе многочисленных генералов, похороненных на Кокаде, следует назвать генерал-лейтенанта ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ФИЛАТЬЕВА (1866–1932). Генерал Филатьев окончил Николаевскую военную академию, а после участия в Русско-японской войне был в этой академии профессором. Потом он воевал на Первой мировой и на Гражданской, в 1918 году трудился над созданием десантной армии для захвата Петрограда, а в 1919-м был в Сибири у адмирала Колчака помощником по снабжению. В эмиграции он написал книгу «Катастрофа Белого движения в Сибири, 1918–1922, впечатления очевидца».

На Первой мировой и на Гражданской успел повоевать и его сын, выпускник артиллерийского училища АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ ФИЛАТЬЕВ (1899–1975). После эвакуации русской армии Александр закончил высшую коммерческую школу в Бельгии и поселился в Ницце. С началом Второй мировой войны он ушел добровольцем во французскую армию и воевал в Северной Африке. Вернувшись в Ниццу, был старостой прихода в Свято-Николаевском соборе. Второй сын генерала ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ ФИЛАТЬЕВ (1903–1953), закончив университет в Бельгии, тоже поселился в Ницце, мирно работал в банке. Безвременно и трагически оборвалась жизнь генеральского внука Александра. Инженер-агроном, выпускник Высшей сельскохозяйственной школы, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФИЛАТЬЕВ (1938–1972) писал духовную музыку и, как было признано лет через десять после его гибели, когда впервые вышли диск и кассета с записью одиннадцати его произведений (в исполнении хора имени Чайковского под управлением Г. Григорьевой), музыку талантливую.

При жизни многие в Ницце и Париже знали этого молодого прихожанина, страстно увлеченного церковным пением и историей религиозной музыки. Он был членом Общества ревнителей церковного пения и делал интересные сообщения на заседаниях общества, собирал нотный архив, выступал с докладами на парижских Курсах церковного пения и чтения при соборе Святого Александра Невского. К тридцати годам Александр Филатьев успел собрать достойную коллекцию нот и записей. Вместе с музыкантом Николаем Николаевичем Кедровым (младшим) Александр работал над «Сборником Божественной литургии», а 33 лет от роду был секретарем приходского совета церкви Всех Святых в земле Российской просиявших (храм Московской патриархии на рю Петель). В 1976 году был издан в Париже его учебник для курсов церковного пения. Впрочем, выхода книги в свет автор не дождался. В феврале 1972 года Александр погиб в автомобильной катастрофе.

Знатоку русского балета не пройдет на Кокаде мимо могилы знаменитого артиста и балетмейстера ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА ХЛЮСТИНА (1860–1941), немало способствовавшего возрождению московского Большого театра. И. Хлюстин ушел со сцены в начале XX века, потом преподавал в Московском театральном училище, а с 1911 до 1913 года был балетмейстером в Гранд-опера. В годы эмиграции он открыл балетную школу в Париже.

Среди служителей Мельпомены, похороненных на Кокаде, надо упомянуть также ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ ХОРОМАНСКУЮ (ум. в 1972 г.) и ее мужа, артиста-любителя и штаб-ротмистра Финляндского полка ВЛАДИМИРА ВЕНЕДИКТОВИЧА ХОРОМАНСКОГО, вместе с женой состоявшего в 50-е годы в театральной русской группе П. Шило, а позднее в Литературно-артистическом обществе Ниццы. Чтобы дать семье в эмиграции возможность заниматься любимым искусством, герой двух войн В.В. ХОРОМАНСКИЙ работал электро-монтером. Он на одиннадцать лет пережил свою супругу, талантливую актрису и активную общественную деятельницу.

Широко представлен в кокадском некрополе талантливый род Цветковых. Среди Цветковых найдешь и художников, и архитекторов, и певцов, и высокого ранга чиновников, и купцов, и, конечно, благотворителей. Благотворительностью занимался старший из похороненных здесь Цветковых НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЦВЕТКОВ (1857–1928). Он был действительным статским советником, товарищем председателя Московского купеческого банка, после революции даже работал какое-то время научным сотрудником Музея Красной армии и флота, но в 1921 году был арестован, а потом выслан за границу. Его сын СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЦВЕТКОВ (1881–1947) состоял при московском генерал-губернаторе, а в Ницце был лидером Монархического объединения. Дочь Н.А. Цветкова Валентина Николаевна после смерти отца жила в Иерусалиме, заведовала русским Гефсиманским садом, постриглась в монахини под именем Варвары, а с 1969 года была игуменьей Гефсиманской обители...

Барон АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕРКАСОВ (1873–1942) был дипломатом, русским генеральным консулом в Персии. Ученицам лицея Александрино в Ницце барон Черкасов запомнился как преподаватель истории, русского языка и литературы.

МАРИЯ ИВАНОВНА ШЕБЕКО, урожденная ГОНЧАРОВА (1839–1935), была дочерью генерал-майора Ивана Николаевича Гончарова, родного брата Натальи Николаевны Гончаровой, жены Пушкина. Фамилия Шебеко идет у Марии Ивановны от второго мужа ее матери, сенатора, члена Государственного совета и товарища министра внутренних дел. Отец Марии Ивановны скончался 10 мая 1836 года. Пушкин писал в тот день в его присутствии в письме, адресованном жене в Петербург: «...спешу передать тебе 900 рублей... У меня сидит Иван Николаевич». Вероятно, с шурином Пушкин и собирался переслать жене деньги, хотя особой близости у него с Иваном не было.

Шурин был двадцатилетним поручиком лейб-гвардии Гусарского полка. Через полгода после этой встречи с Пушкиным в Москве Иван принимал участие в попытке уладить последствия первого столкновения поэта с Дантесом. Вскоре после этого (в январе 1937-го) Иван Гончаров присутствовал на бракосочетании Дантеса с его сестрой Екатериной Гончаровой.

В самой верхней части Николаевского кладбища на Кокаде похоронен едва ли не знаменитейший из здешних генералов НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЮДЕНИЧ (1862–1933). Николай Николаевич родился в Москве, в семье чиновника средней руки, окончил военное училище и Николаевскую академию Генерального штаба. В 1905 году произведен в генералы, участвовал в Русско-японской войне, был дважды ранен. В Первой мировой, командуя Кавказским фронтом, одержал блестящие победы над турками, потеряв в три раза меньше солдат, чем противник. Вся грудь победителя была в боевых орденах. При Временном правительстве он вынужден был уйти в отставку, а при большевиках перешел в Петрограде на нелегальное положение, потом пересек финляндскую границу и после всех хлопот и неудач получил от фельд-маршала Маннергейма разрешение на формирование в Финляндии частей белой армии. От адмирала Колчака из Сибири Юденич получил приказ возглавить все войска Северо-Западного фронта. Дважды подходил к Петрограду (второй раз добирался до Пулковских высот), но красных не одолел, сдал командование и уплыл в эмиграцию. После Лондона поселилась семья генерала-эмигранта в Ницце.

В эмиграции генерал Юденич посещал Кружок ревнителей русского общества, выступал с докладами. В 1931 году в Париже и в Ницце было торжественно отмечено 50-летие его служения в офицерских чинах, а в 1933-м он скончался и был похоронен в крипте церкви Михаила Архангела в Каннах. Лишь в конце 1957 года прах генерала перезахоронили на кладбище Кокад.

Похороненная в той же могиле супруга генерала АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ЮДЕНИЧ, урожденная ЖЕМЧУЖНИКОВА (1871–1962), которая вела в эмиграции более активную, чем муж, общественную деятельность, пережила супруга на добрые тридцать лет и была помянута вскоре после ее смерти на особом заседании Литературно-артистического общества. Горькая же память о «походе Юденича» никогда не угасала в эмиграции. Возглавлявший некогда приходскую библиотеку в Ницце генерал Масловский с юмором вспоминал, что, заходя в местную библиотеку или на заседание Исторического общества, великий знаток русской истории писатель Марк Алданов иногда вдруг спрашивал: «А Юденич, это что, еврейская фамилия?» Но потом спохватывался: «Ну да, я уже спрашивал».

От могилы Юденича видны кресты всего кладбища и синее море внизу. А между генеральской могилой и морем – старая Россия, бывшая русская армия, императорский двор. Здесь и молодая, пусть и не полноправная, а как бы тайная императрица. Она была очень любима русским царем, может, лучшим из русских царей – не был он ни Грозным, ни Великим, ни Кровавым, а был затравленным революционными террористами царем-освободителем, любимым воспитанником поэта Василия Жуковского. Ему бы, государю Александру II, еще жить да жить, цивилизовать и дальше свою страну, а он погиб, оставил беззащитной любимую супругу, обрек ее на изгнание... Хорошо, хоть вдовствовать ей пришлось не в Сибири, а в Ницце, на собственной вилле, названной именем то ли Георгия Победоносца, то ли сынка Георгия... Здесь она успела отметить юбилей крестьянского Освобождения, справить свадьбу императорской дочки с внуком Пушкина, здесь она отдала душу Богу, и вот похоронена на Кокаде: светлейшая княгиня ЮРЬЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА (урожденная княжна ДОЛГОРУКОВА, 1847–1922).

У этой могилы воскресает романтическая история пылкой любви российского императора и юной смолянки, встреченной им на прогулке в петербургском Летнем саду, история, вдохновившая стольких литераторов и кинорежиссеров. Реже, конечно, писали о первой любви императора, о милой бесприданнице, сиротке-курфюрстине из Дармштадта, которая была пятнадцатилетней девочкой, когда молодой наследник российского престола увидел ее в театральной ложе. Через два года она стала счастливой русской принцессой, потом русской императрицей. Только в 1865 году, в Ницце, где умер ее старший сын, произошел печальный перелом в ее жизни. Последние полтора десятка лет ее жизни были полны страха за жизнь мужа, на которого неотступно охотились «народные заступники», и унижений из-за его нескрываемой влюбленности в юную Екатерину Долгорукову. Однако и Екатерине нетерпеливая любовь императора приносила не одни только радости, но и унижения тайности, неравноправия.

Когда же скончалась увядающая государыня и они с Сашей смогли обвенчаться, хотя бы и тайно, супружеская жизнь вдруг оборвалась так скоро, так страшно. Екатерина осталась во враждебном окружении у гроба и вскоре уехала за границу, уже надолго, навсегда. Почти на сорок лет изгнания... Не забудьте посетить ее склеп прежде, чем покинуть здешний живописный православный некрополь.

Напомню, что православный некрополь – лишь часть огромного кокадского города мертвых. У главного входа на муниципальное кладбище большая круглая клумба общей, братской, анонимной могилы, общего рва (*fosse commune*). Никто не вечен, а чудный французский берег – он не резиновый. Жизнью пользуйся живущий... В крошечной комнатке городского загса имя ваше будет записано великолепным почерком по-французски. Никто не забыт. Можно даже получить справки-выписки, написанные тем же великолепным почерком. Я их запраши-

вал, я их получал. Из авторского любопытства. Из почтения к Ушедшим, Забытым, Небезразличным...

Родные, друзья или просто соотечественники могут установить дощечку с именем Незабвенного на лужайке над братской могилой. Правда, за это надо заплатить. Но можно пойти на эти расходы и эти хлопоты коллективно, привлечь более или менее «неправительственные» организации. Металлическую памятную доску внучки Пушкина, Елены Александровны Розен-Мейер, установленную здесь русскими активистами Ниццы и московским фондом «Русское зарубежье», постигла та же грустная судьба, что и бюст с могилы художника-передвижника Ивана Прянишникова, похороненного на средиземноморском берегу западнее Марселя (на кладбище «цыганской столицы» Сент-Мари-де-ла-Мер): она была украдена кладбищенскими ворами. Однако русские организации не пали духом и заказали новую доску, на сей раз каменную.

Надо сказать, что это была не первая русская памятная доска над братской могилой Кокада. В 1994 году внучки ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА СМИРНОВА (1875–1934). Здешний Смирнов, пожалуй, самый знаменитый Смирнов на планете. Что нынче делает знаменитым? Реклама. А если это реклама водки, то это уже символ великого народа. «Водка Смирнова! Smirnoff!» Шутка ли, тот самый Смирнов, сын того самого Петра Смирнова, который и есть русская водка. Примерно в то время, когда Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую диссертацию, крестьянин Петр Арсеньев Смирнов выкупил себя и двух своих сыновей у помещика (всего четыре года недотерпел до Освобождения) и открыл в Москве «ренский погреб» (лавку рейнских вин), а через три года второй, да открыл на Пятницкой улице у Чугунного моста свой винный завод. С начала семидесятых годов стал он получать дипломы и медали на международных выставках за свою водку и оказался великим выдумщиком всяких настоев, способных отбить мерзостный вкус разведенного спирта. Ну, скажем, отыскал он особый сорт рябины в Невежине под Суздалем и стал настаивать на ней водку. Успех был бешеный, очередная золотая медаль на выставке. Невежинскую рябину переименовал в Нежинскую, а потом стал пробовать можжевелевую настойку, да зубровку, да спотыкач... В 90-е годы уже было у него 400 названий водок и вин, получил он звание поставщика Высочайшего Двора, двуглавого орла на этикетку, потом второго, потом третьего, а на ярмарке 1898 года аж четвертого. Имел он высочайшее звание коммерции советника и почетного гражданина. В тот самый год он и помер, оставив в благоухающем проспиртованном мире трех сыновей. Одним из них и был Владимир Петрович, захороненный на муниципальном Кокаде.

Надо сказать, что Владимиру Петровичу, увлеченному музыкой, поэзией, опереттой и поющими женщинами (женился он четыре раза за свой недолгий век), вся эта спирто-водочная канитель годам к тридцати опостылела. Он получил приличное домашнее образование, вдобавок посещал училище при церкви Святых Петра и Павла в Москве, учился пению в Италии. А в 1904 году он и вовсе продал свои права и свою долю в питейном производстве брату Петру и с еще большим увлечением занялся искусством. У себя в московском доме он устраивал концерты, на которых сам тоже пел, дуэтом со знаменитой Варей Паниной, а чаще с примадонной московской оперетты Валентиной Пионтковской, которая и стала его первой женой. Владимир Петрович всемерно поддерживал Московский театр оперетты, а в 1910 году, уже в Петербурге и, конечно, не без мужниной помощи, Валентина Пионтковская открыла свой собственный театр. Потом, как у многих россиян, был на их пути эмигрантский Константинополь. Владимир открыл в этом первом городе изгнанников кабаре «Паризиана». Валентина пела со здешней русской опереттой в «Сильве» и в «Прекрасной Елене». Впрочем, в 1923 году Владимир и Валентина еще учредили в польском Львове винный торговый дом «Петра Смирнова сыновья». В 1925 году супруги переехали во Францию. Хотя первый, гражданский, брак Владимира Петровича распался, одиночество ему не угрожало. Он женился на Марии Гавриловне Шушпановой, потом на Александре Павловне Никитиной и, наконец, на Татьяне

Александровне Макшеевой. Владимир Петрович создал во Франции новую фирму и открыл новый водочный завод на окраине Парижа, а также организовал «Хор Смирновых». Сам он тоже участвовал в концертах. К 1930 году водочная фирма Смирнова разорилась, но, перебравшись в Ниццу, он еще смог открыть там ресторан «Кабачок».

Последняя его жена Татьяна Макшеева жила в Ницце с 1920 года, писала стихи и прозу, читала их на литературных вечерах. В последние годы жизни Владимир Петрович диктовал ей свою мемуарную книгу «Русский характер». Незадолго до его смерти американцы решили возродить фирму «Смирнов». Владимир Петрович передал им права на все славные марки и знаки своей водки, так что памятная доска над братской могилой Кокада не зря напоминает об этом имени.

Московский автор А. Романов, совершивший кругосветное путешествие в поисках русских могил, считает, что в братскую могилу на французском Кокаде поступила в свой срок любимая некогда русскими читателями и зрителями пара: поэт-юморист ЛОЛО (ЛЕОН ГЕРШКОВИЧ МУНШТЕЙН, 1867–1947) и его супруга ВЕРА НИКОЛАЕВНА ИЛЬНАРСКАЯ, урожденная ИЛЬИНСКАЯ (1880–1946).

Юмористы были всегда в чести у русской публики, а Лоло был одним из самых знаменитых: в одних только «Новостях дня» напечатал он больше тысячи фельетонов в стихах, а ведь сотрудничал и в «Рампе», и в прославленном кабаре «Летучая мышь». Уехав в 1920 году в эмиграцию, он основал театр миниатюр в Риме, литературный кружок «Четверги» в Ницце, гастролировал в Германии, издавал «Сатирикон» в Париже. Иные из его шуток высоко ценили тонкие мастера русского юмора. Не только, скажем, великий версификатор Брюсов хвалил его стихи, но и ненавидевший фельетончики Чехов выписал строки Лоло из рецензии на утонченный модернистский спектакль, полный потаенных намеков:

Но эти тонкие детали
До нас почти не долетали.

Читая советские газеты на пляже, Лоло умел угадать из своей средиземноморской дали, что не одних вольных юмористов устрашает новая русская жизнь, но и самих грозных наркомов:

Знайте, тот, кто сегодня нарком,
Может завтра расстаться с пайком,
Может быть уничтожен тайком...

Супруга юмориста Вера Ильнарская была актриса и драматург, выступала с сольными концертами и любила сделать ставочку в казино Монте-Карло. Муж ее писал об этом с добродушным юмором.

Поклонившись праху артистической пары и знаменитого В.П. Смирнова, сына еще более знаменитого П.А. Смирнова, спустимся к морю и отправимся по берегу, по бесконечной Английской набережной к восточной ее оконечности...

Если день этого нашего паломничества выдастся солнечным и звонким, то непременно возродится в нашей душе надежда на какое ни то будущее, а память о наших соотечественниках, живших (и доживавших) на блаженном этом берегу, не покинет нас вовсе. Тем более что иные из них завещали близким рассыпать свой прах над гладью Средиземного моря. Как же нам не вспомнить о них, шагая над кромкой прибоя вдоль пляжей славного Английского, а потом и Штатского Променада до самой Замковой горы... Как не думать о людях, пожелав-

ших слиться по смерти с волной древнего европейского моря, на берегах которого рождены были Сын Божий, Его ученики и пророки. Среди таких людей были и наши соотечественники и соотечественницы, сыновья и дочери Москвы, Петербурга, Киева, Вильны...

Я шагаю на восток, и мне вспоминаются те, кто глядели на море с этого променада – Чехов, Набоков, Башкирцева, Герцен, Тютчев, Мережковский, Айседора Дункан, Софья Ковалевская, князь Вяземский, Щедрин, Бунин, Зайцев, Алданов, княжны, императрицы, принцессы...

Но кто из них пожелал остаться в море навеки? Ну да, конечно, бывший лицеист из Ниццы, фантазер Ромка Кацев, «сын Мозжухина», дружок генеральского сына Кардо-Сысоева, нежный друг Кантакузиной, любимец де Голля, злосчастный муж Джин Себерг, единственный во Франции обладатель двух гонкуровских премий и, может, один из лучших французских писателей. С началом войны, литературной славы и консульских постов потерял он имя Арье-Лейбы Кацева, погибшего в Освенциме, так ведь и любимая его матушка, может, маленькая актриса, а может, лишь мелкая торговка и выдумщица, еще на путях Восточной Европы растеряла все былые имена (может, оттого я и могилу ее не могу сегодня найти)... Но он прославил имя РОМЕНА ГАРИ (1914–1980), потом вдобавок имя Эмиля Ажара и пустил себе пулю в лоб в Париже и велел разбросать свой прах над любимым морем своего отрочества...

Что он вспоминал в отчаянье последних минут, придя с площади Сен-Жермен, из пивной «Липп»? Свою Ниццу? Скамеечку на Променаде возле «Негреско», вкус соленых огурцов с черным хлебом, любимый материнский романс: «Гари, гари, моя звезда...»?

Помню, как посетила меня догадка о песенном происхождении псевдонимов этого французского писателя из Вильны. Еще и до зимовок моих в Ницце, а в деревенской Шампани. Разыскала меня там неожиданно соседка с крошечного хуторка «Три дома», певица-полька Анна Пруцналь (французы ее зовут Прукналь): кто-то ей рассказал, что живет тут на одном хуторе в лесу русский мужик, который, нисколько не имея слуха, все время поет Вертинского. А она как раз задумала петь Вертинского на концерте. Вот и захотела, чтоб я рассказал, отчего да почему...

Пришлось мне французской польке рассказывать про отрочество, про конец войны... Как сидели мы на терраске в Валентиновке, играли в подкидного дурака, пластинки слушали: «На позицию девушка провожала бойца...» И тут хозяин дачи дядя Ваня, работавший в Моссовете, принес заграничные пластинки, подарок знатного посетителя, которого он заселил аж на улицу Горького. Мы покрутили эти пластинки день, два, три и ушли в другой странный мир. Здесь шумят чужие города... На солнечном пляже в июне... Усталый старый клоун...

А потом и сам старый клоун поселился в Валентиновке, и, проходя мимо его дачи, мы умолкали, обмирали... Когда подросли его знаменитые доченьки, я одной из них рассказывал эту историю.

Чудная певица-полька с ближнего хутора дослушала мои растроганные воспоминанья про дядю Ваню из Моссовета и отблагодарила меня историей похлеще. Пела она в Париже песни моего любимого Вертинского уже в середине 60-х, и после всех концертов дарил ей цветы знаменитый французский писатель Ромен Гари. Да мало ли кто приходит и цветы дарит... А потом как-то ночью в гостинице (она была на гастролях) звонок из Парижа. Какой-то молодой человек спрашивает ее, не могла бы она спеть в Доме инвалидов, том самом, где Наполеон, песенку про лилового негра... Там будут хоронить кавалера ордена Почетного легиона, и он просил перед смертью, чтоб не было религиозных песнопений, а чтоб она, Анна, спела песенку, которую любила его мать. Ту, где в притонах Сан-Франциско лиловый негр... А что, она спрашивает, с писателем? Покончил писатель с собой, отвечают, и его как кавалера ордена Почетного легиона будут там хоронить... Сможете приехать?

Били барабаны близ золотого купола Дома инвалидов. Одиннадцать летчиков несли гроб, накрытый трехцветным французским флагом, сзади на подушке несли все награды героя, воен-

ные похороны, хор пел «Марсельезу» и «Колокол звонит по мертвым»... А потом все стали с недоумением переглядываться. Анна запела Вертинского. «Вы слышали, как я пою?» – «Слышал». У нее совсем другой негр. И голос каркающий, хриплый. Трагический...

Но песня, которую он слышал столько раз у матери в гостиничной служебке: «Лиловый негр вам подает мантию...» – та самая. Она и вспоминалась ему в последний час жизни...

Я прохожу по Променадю мимо отеля «Негреско» и присаживаюсь на скамейку. Может, они сидели здесь с матерью, слушали ресторанный музыку. Там у нее был лоток с ее товаром в вестибюле. А он подрабатывал здесь посыльным. Про все это есть в одном из лучших романов Гари, посвященных матери, «Обещание на рассвете». Впрочем, как восстановить жизнь по рассказам придумщика, мистификатора? Да и мама его Нина (Мина) Овчинская была фантазерка. Читая первую книгу о Гари, я сочувствовал его прекрасному биографу Доминик Бона и сомневался в каждой пересказанной байке. Во всем, кроме того, что он был материнской жизнью, ее радостью, ее гордостью, искуплением проигранной жизни, платой ее бесовскому тщеславию и состоявшейся любви. Да, об этом он и писал в романе:

Плохо и рано быть так сильно любимым в детстве, вырабатывает дурную привычку. Вы приучаетесь верить, что любовь поджидает вас где-то, стоит только ее найти. <...> С материнской любовью на заре вашей юности вам дается обещание, которое жизнь не выполняет никогда. Поэтому до конца своих дней вам придется жить впроголодь. И всякий раз, когда женщина сжимает вас в объятьях, вы понимаете, что это не то. <...> С первым лучом рассвета вы познали истинную любовь, прочертившую в вас глубокий след. Всюду с вами будет ад сравнения, и вы мааетесь всю жизнь в ожидание того, что уже получили.

Новые биографы найдут новые неточности в рассказах об этой жизни, придуманной как роман. Неудачливая актриса из семьи еврея-кустаря из Курска (а может, она и не была актрисой, а только отиралась при театре) родила в 1914 году мальчика от актера Арье-Лейба Кацева, вскоре ее оставившего, так что ни роли на французском языке, ни парижских гастролей, ни знакомства с тогдашним кумиром Иваном Мозжухиным в жизни невзрачной девушки не было. Была только фотография знаменитости на тумбочке, безумное честолюбие, неумные выдумки и незаурядный талант выживания. И дороги послевоенной Европы, и настоящие (а может, отчасти и придуманные) невзгоды, и жизненная стойкость заносчивой матери-одиночки. Вероятно, из Курска она бежала в Вильну, оттуда в Варшаву и, наконец, к родственникам в Ниццу. У нее нет образования, но есть способности и выдумка, есть предприимчивость: она выживает мелкой торговлей (шляпки и дешевые украшения). Ее Рома кончает лучший в Ницце лицей (и нынче в вестибюле лицея Массена увидишь на стене его имя среди отличников 1929 года). Французский он начинает изучать только в 14 лет, но учит его упорно и успешно, в университете Экс-ан-Прованса он не засиживается, переезжает в Париж и упражняется в писании. Рассылает по журналам рассказы. Один рассказ был чудом напечатан, и мать скупает в Ницце «наш номер» журнала «Гренгуар».

Не большего успеха добивается он пока и в летном деле. Попав на военные сборы, он учится в летной школе, но единственным из всего выпуска не получает офицерского звания. Его объяснение неудачи своим нефранцузским происхождением не внушает доверия, зато намекает на то, что он волочил за женой начальника, звучит вполне правдоподобно.

И тут приходит война. Их летное подразделение добралось до Марокко к тому времени, когда французская армия уже сдалась в плен: полтора миллиона французских воинов вылезли из окопов и ушли в лагеря военнопленных. В марокканском Мекнесе Роман Кацев услышал по

радио воззвание генерала де Голля из Лондона. Генерал сказал, что Франция на самом деле не сдастся врагу и даже не будет с ним сотрудничать. Она доблестно сопротивляется. За прошедшие с тех пор семь десятков лет вряд ли остался во Франции город, который не обессмертил бы свои площади монументом, прославляющим это трехминутное выступление де Голля по английскому радио. В жизни нескольких французов (скажем, писателя Ромена Гари, дипломата Зиновия Пешкова или самого генерала де Голля) оно сыграло большую роль. Писатель сравнивал в своем биографическом романе поведение генерала с тогдашним патриотизмом любимой своей матушки. Оба героя были движимы безграничным честолюбием и авантюризмом. Правда, генерал пекся при этом о личной карьере, а мать одержима была мечтой о блистательной карьере и всемирной славе своего сына. Но забавные черты сходства можно заметить даже в деталях поведения героев. Скажем, мальчик Рома, засев в служебной комнатке отеля, целыми днями придумывает себе для будущего звучные псевдонимы. Сходным может показаться ритуал собирания генералом своего грозного войска (около тысячи «компаньонов де Голля») в особняке тылового Лондона.

Новичок должен был придумать для себя звучный псевдоним, а также любое воинское звание и громко объявить их, входя в кабинет генерала. Эти новые имя и звание присуждались ему пожизненно. Скажем, беглый кавалерист, штабной капитан Филипп Отклок, нимало не смущаясь, представился: «Полковник Леклер!» Под этим именем он и отправился в Африку бороться против нацистских врагов и французских друзей, конкурентов генерала. Нетрудно догадаться, что при таком скачке через ступени военных званий «компаньоны де Голля» стали очень скоро большими людьми. Как и то, что многие из них, подобно самому генералу, отличались известным авантюризмом. Мне довелось подружиться в Париже с обаятельным «компаньоном де Голля» и кавалером ордена Освобождения Николаем Васильевичем Вырубовым. От него я и услышал рассказы о тех временах, вполне трогательные, но не лишённые иронии. Скажем, рассказы про выскочку Зиновия Пешкова, просто взлетавшего по лестнице званий...

Но может, прославленные «компаньоны» и шли во главе несметного войска освободителей Франции? На это намекают школьные учителя истории, сообщая французским детям заветные имена героев – Леклер, Кифер... «Компаньонов» было около тысячи, а у лейтенанта Кифера в отряде было меньше сотни воинов. Кто ж воевал? Ну, были, конечно, американцы, англичане, канадцы, поляки. Их собралось на главном британском острове больше трех миллионов. Они и шли умирать за Францию.

Добравшись от Марокко в Лондон, летчик Роман Кацев стал «компаньоном де Голля». Совершал боевые вылеты. Большинство тогдашних летчиков погибли. Позднее он был ранен и награжден орденом Освобождения. Исцеляясь в Лондоне от боевой раны, Роман женился на талантливой английской журналистке Лесли Бланш и написал роман «Европейское воспитание». О приключениях партизан в литовских лесах. Военных романов тогда еще было немного, так что книга деголлевского героя имела бешеный успех, была переведена на множество языков и напечатана под псевдонимом Ромен Гари-Кацев.

После победы, как все «компаньоны де Голля», Ромен стал большим человеком. Любимый автор «отца нации» де Голля, он занимал дипломатические посты за границей и при этом писал книгу за книгой. Лесли была ему доброй помощницей.

Мама Нина умерла еще в 1940 году. Перед смертью она просила не беспокоить ее мальчика дурным известием и заготовила для отсылки ему письма впрок. Все ее мечты сбывались, но до того дня, когда ее Рома получил Гонкуровскую премию, она не дожила.

Спокойная жизнь и процветание Гари вдруг оказались под угрозой, когда он был французским генеральным консулом в Лос-Анджелесе. Он тогда был на вершине успеха, пользовался популярностью в Голливуде, известные режиссеры снимали фильмы по его романам. Он сам и Лесли писали сценарии. И вот однажды на приеме у себя в консульстве он увидел в толпе гостей поразившее его лицо. Это была молодая кинозвезда Джин Сибург, только недавно

сыгравшая Жанну д'Арк. Она была лет на двадцать моложе Гари и почти на тридцать моложе Лесли. Ромен Гари развелся с Лесли и женился на Джин. Для полного счастья ему не хватало неослабного внимания критики и газетных рецензентов. И тогда он придумал нового автора, точнее, даже трех новых авторов, но третий из них стал особенно успешным. Он подписал свои новые романы именем Эмиль Ажар. Романы были очень хороши. За второй роман Ажару была присуждена Гонкуровская премия. По французским правилам эту премию автор мог получить только один раз в жизни. Теперь Гари стал прятать Ажара, затевая новые мистификации...

С молодой женой он тоже не нашел ни покоя, ни счастья. Джин активно боролась с расизмом в рядах террористической и вполне расистской (ненавидевшей белую расу) организации «Черные пантеры». Близость актрисы к лидерам боевой организации зашла так далеко, что она забеременела. Гари мотался по свету, писал очерки в лучшие журналы мира, боролся с ФБР, взял на себя ответственность за будущего ребенка. Ребенок родился мертвым. Вскоре и саму Джин нашли мертвой в машине. От чего она умерла, осталось неясным. Она пила и принимала наркотики, но Гари приписывал ее смерть проискам ФБР.

Год спустя Гари покончил с собой. В предсмертном письме он не винил свои перепады настроений, свою депрессию, ибо она и позволила ему успешно писать... Страшная цена. На ее счастье, Нина (или Мина) Овчинская, мать Ромена Гари, не дожидая до этой беды. Я заговорил как-то о ней с хозяйкой кафе «Вашингтон» в Ницце. Мадам Нини дружила с Миной Овчинской, отзывалась о ней очень тепло. Один раз мне довелось говорить о романах Ажара с Варварой Сергеевной Оболенской. Она удивилась, узнав от меня, что Ромен Гари был родом из русско-еврейской Вильны. «Хотя по тому, как он пишет, можно было догадаться, что он из русских», – сказала она.

Я так и не понял, было ли это в ее устах комплиментом. Теперь уж и не пойму. Но мне показалось, что второй гонкуровский роман бедного Романа Кацева (написанный под псевдонимом Эмиль Ажар) даже лучше первого его гонкуровского романа... О, эта путаница имен! Где она, мама Нина? Где похоронена? Ни я, ни Иван Грезин, ни сама начальница загса, никто не может найти. Продолжая свой путь по Променаду к западу, выйдем к Замковой горе Ниццы. Может, там она и была зарыта, на Замковом кладбище, тщеславная Нина (Мина Иосифовна Овчинская из местечка Свенцяны), бредившая мировой славой...

Замковая гора

Как и во всяком себя уважающем средневековом городе, в приморской Ницце стоял когда-то на холме оборонительный замок, однако со временем, дабы несколько умерить обороноспособность местной власти, власть централизованная, королевская, эти замки разбирали при первой возможности. Пьемонтской администрации в Ницце эта возможность представилась в начале XVIII века. Как бывает в таких случаях, рядовые труженики приняли посильное участие в разрушительных работах, добывая себе даровые стройматериалы. Это, если помните, отметил один сугубо отрицательный персонаж-генерал в стихотворении Н. Некрасова про железную дорогу: «Что ваш народ? Эти термы и бани, чуда искусства он все растаскал...»

Так и в Ницце. Руины были растащены, зато на Замковой горе расцвел пышный сад, и жители Ниццы использовали освобожденную площадь для захоронения близких. Потом на просторном здешнем кладбище стало тесно, и заботливые потомки начали переносить не окончательно забытых предков на более удаленные от курортных променадов новые кладбища. Однако и старые, исконные кладбища не исчезли с Замковой горы – ни христианское, ни иудейское.

Одной из самых знаменитых и посещаемых потомками могил этих кладбищ остается могила русского писателя АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГЕРЦЕНА (1812–1870). И в позапрошлом, и в прошлом, и даже в нынешнем беспокойном веке к ней совершали почтительное

паломничество «дети разных народов», особенно часто те люди, которых во всем мире называют русскими, хотя иные из щепетильности предпочитают называть себя только «русскоговорящими». К этой могиле в одиночку и группами приходили писатели и школьники, участники проходивших на этом комфортабельном берегу международных совещаний и просто грамотные туристы. Многие из них даже слышали кое-что об этом знаменитом русском изгнаннике, одном из ранних диссидентов и эмигрантов, боровшихся с самовластьем, одним из основателей того, что позднее называли «самиздатом» (изданием не разрешенных цензурой книг) и даже «тамиздатом» (попросту печатаньем за границей того, что дома запретит та же цензура). Причем богатый и отчего-то не обобранный после выезда Герцен не нуждался в материальной помощи зарубежных коллег.

Конечно, далеко не все из тех, кто посещали могилу славного соотечественника, русского писателя, философа и борца за свободу, читали прославленную его автобиографическую книгу «Былое и думы», хотя и непременно слышали в школе официальную версию жизни Герцена как предтечи большевиков и Ленина (будущий большевистский вождь тоже посетил эту могилу). Чтение откровенной автобиографической книги Герцена поражает читателя количеством бед и разочарований, которые способна обрушить судьба на голову умного, смелого, здорового и богатого человека (что ж говорить о бедных и убогих!). В изгнании Герцен устроил вольную русскую типографию, издавал журнал «Колокол», всячески язвил монархию. На все ему доставало образования, ума, дерзости, успеха... Чего же ему недоставало для счастья? Об этом без труда догадается паломник на Замковой горе Ниццы, у надгробья Герцена, на котором есть и другие имена и скорбные даты – имена умершей молодою любимой жены Натальи Захарьиной, трехлетних его двойняшек, умерших от дифтерита, и юной дочери, покончившей самоубийством. Поселившись в Ницце в середине века после многих странствий по городам Европы, Герцен высоко оценил удобства этого города («светло, ярко и не холодно»), но несчастья не отступались («от нечистых людей не спасет никакой многоугольник... нового ничего, разве какое личное несчастье доломает грудь, какое-нибудь колесо жизни рассыплется»).

В ту пору беды начались с романтической истории жены Герцена и «лауреата демократии» немецкого поэта Гервега, звавшего народ на баррикады, но не проявившего ожидаемой от него храбрости. Натали Герцен пожалела и приласкала удрученного поэта, долгое время металась между мужем и любовником и только в 1852 году вернулась в семью окончательно. Но еще за год до этого сын Герцена Коля и его матушка Луиза Гааг, возвращаясь на пароходе в Ниццу из Марселя, утонули в результате кораблекрушения близ Йерских островов. Вскоре после этого умерла в родах Натали Герцен, а вслед за ней и ее новорожденный сын. Вторая жена Герцена Наталья Тучкова-Огарева, бывшая жена его друга Огарева, родила ему мальчика и девочку, которые умерли в трехлетнем возрасте, а вскоре и сама она покинула нашу грустную юдоль разочарований и смертей.

Все эти заграничные годы Герцен вел отчаянную борьбу с русским самодержавием и воспитал своими акциями и публицистикой, в частности своим журналом «Колокол», целую плеяду русских революционеров. Может показаться странным, но эта самоотверженная и, казалось бы, успешная деятельность не принесла писателю удовлетворения, а, напротив, вызвала у него в конце жизни (а всей-то жизни ему выпало 58 лет) глубокое разочарование. Герцен не дождался выхода на мировую арену Ленина (объявлявшего себя учеником и преемником декабристов и Герцена), но зато успел познакомиться с ленинскими кумирами (вроде Нечаева) и ужаснулся эстетической и этической глухоте, невежеству, карьеризму и лживости этих своих наследников. Чуткий Герцен разгадал их раньше, чем его соратники Огарев и Бакунин. Он успел написать о них в своих «Письмах к старому товарищу» все, что думает, но было уже поздно. Они все равно пришли к власти в России. Даром, что ли, еще в годы моей молодости пели русские диссиденты: «декабристы, не будите Герцена».

Герцен умер в Париже в январе 1870-го. Позднее гроб с его прахом перевезли в Ниццу на Замковое кладбище. Позже появилась еще одна строчка на этом надгробье: покончила с собой его юная дочь Лиза...

Многие из бывших насельников живописного, но тесного кладбища «Старый замок», что на Замковой горе в Ницце, покидали это место захоронения ради новых, менее тесных, вроде русского Кокада, а то и более отдаленных в Москве или Петербурге.

Думаю, где-то на Замковой горе был захоронен не найденный некрополистами некогда купец первой гильдии и богатый ювелир Аким Соломонович Биск. Странное имя. Так называли суп из дичи и раков. Аким Соломонович родился в Харькове, процветал в Одессе, а умер в Ницце. Сыну Александру дал хорошее коммерческое образование, но сын торговать не стал. Писал и переводил стихи: замечательно перевел стихи Рильке. Женился на прекрасной Берте Туранской, но потом уехал в Нью-Йорк, а Берта с сыном жила в Париже. У сына было красивое имя Анатолий, но он все это отверг, и красивое имя, и фамилию. Стал французским писателем и критиком по имени Алэн Боске. Я с ним несколько раз встречался в гостях у писателя Владимира Максимова. Но он не хотел рассказывать ни о об отце, ни о бабушке. Впрочем, упомянул как-то, что отец часто играл в карты с Керенским и Набоковым.

Потом я потерял его из виду, этого внука Акима Биска. Я читал, что его избрали в Академию, а однажды на книжном развале я даже купил его книжку «Русская мать». На обложке ее была нарисована круглолицая румяная колхозница в пестром платочке. Он писал о матери с большой нежностью... Я не знаю, такой ли была его мама Берта, как на обложке, но понимаю, что, когда рукопись ушла из рук, начинается творчество оформителей, книгопродавцев или даже режиссеров. Я видел оба русских фильма, снятых по роману Шолохова «Тихий Дон». В обоих казачку Аксинью играли завидные еврейские красавицы.

Болье-сюр-Мер

В нескольких километрах к востоку от Ниццы начинается россыпь живописнейших широко известных в Европе и даже за океаном курортных городков, в которых больше столетия тому назад начали селиться и русские изгнанники. Иные из них, закончив здесь свои дни, были похоронены на кладбище в городке Болье-сюр-Мер. Впрочем, большинства имен россиян, захороненных здесь за минувшее столетие, ты уже не сможешь прочесть на надгробиях кладбища, так что расспросами об окончательной судьбе их праха приходится документально выяснять у местной записщицы мадам Вуайян. О судьбах ее подопечных мы еще поговорим подробнее, а сперва я хотел бы сказать несколько слов о жизни наших соотечественников, упокоившихся в земле Болье-сюр-Мер. Например, о поразительной, загадочной судьбе и столь заметном в нашей культуре творчестве русского драматурга АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУХОВО-КОБЫЛИНА.

Он родился в 1812 году недалеко от Москвы в богатейшем имении старой дворянской семьи, получил домашнее образование, потом окончил физико-математическое отделение философского факультета университета, продолжал образование в Гейдельберге, увлекался точными науками и философией, но и литературой, и театром. В этой блестящей семье царил культ литературы, одна из сестер была известной писательницей, а два молодых друга, бывших в их доме нередкими гостями, подтолкнули мысли юноши к Гегелю (судя по намеку, оброненному в разговоре драматурга с навестившим его русским изгнанником Ковалевским, это были Герцен и Огарев). Так он и формировался под влиянием великого немца Гегеля и великого украинца Гоголя. Об одном писал диссертацию, разрабатывая собственную философскую систему, другого боготворил, рассказывал легенду о случайной встрече с этим великим писателем на борту корабля. Мечтал и сам написать водевиль на манер Скриба. При всем том молодой Сухово-Кобылин не чужд был высокому понятию о дворянской чести и хозяйственном долге русского помещика, собирался преобразить имение, а с ним и Россию, используя преданных рабов и достижения ушедшего далеко вперед Запада. Он был пылкий идеалист, верный патриот России и трона: уже отец его пролил кровь под Лейпцигом... Конечно, пока что юные соблазны и спортивный темперамент отвлекали богатого красавца и щеголя от претворения в жизнь всех его талантов и грандиозных планов – светские удовольствия, путешествия, женщины... Среди них были удивительные дамы из общества, женщины бешеного темперамента, хотя бы вот молодая княгиня Нарышкина, та, что позднее взяла в полон молодого французского драматурга Александра Дюма-сына. В конце концов она увела этого знаменитого француза от всех прочих дам, одарила (при живом еще муже) внебрачными детьми, потом женила на себе и цепко держала его в руках до самой своей смерти. Но дайте срок, пока она еще просто ездила, как и другие светские дамы, в «лечебные поездки» в город любви Париж, где у них с подругами, другими знатными львицами, был таинственный дом на улице Анжу (близ Елисейских Полей). До времени княгиня ревниво не выпускала из когтей красавца Александра Сухово-Кобылина и в конце их связи подарила ему дочь Луизу. Впрочем, до этого произошли страшные, роковые события его жизни.

Во время какой-то своей поездки в Париж пылкий Александр повстречал молодую француженку редкостной красоты. Он совершенно потерял голову от любви к этой божественной Луизе Симон-Диманш и ничтоже сумняшеся привез ее в русский столичный город. Легко представить себе, какое оскорбление нанес он этим темпераментной княгине-любвице. Но молодой философ и модник словно ничего не хотел замечать. Он был до краев полон своей любовью и любовными хлопотами: нужно было добывать красавице русское подданство, купить ей торговую лавку, пристроить ее к делу. Хлопот полон рот. Но шли месяцы, даже годы, а он все не мог налюбоваться, натешиться... Конечно, у них бывали ссоры, даже скандалы.

Характер у нее оказался не ангельский, да у него и самого был нелегкий нрав, но конца этой любви, их невенчанному браку, казалось, не было видно... Как, впрочем, и начатому им на досуге бесконечному водевилю. В духе великого Скриба...

И вдруг он пришел, конец. Страшный конец. Всему его миру конец. Ему было тогда всего 38 лет. Он был в расцвете сил.

Он в тот день вернулся домой, легко взбежал по лестнице, напевая что-то беспечное, распахнул дверь и увидел это... Луиза лежала на полу в луже крови.

Прошло немало времени, пока он, обезумевший от горя, понял, что ее больше нет, что эти незнакомые люди в штатском и в мундирах чего-то хотят от него. Понял, что и он сам, и слуги его, и дом его уже окутаны слухами и легендами. Понял, что его самого обвиняют в убийстве, что он арестован, препровожден, освобожден, допрошен, снова препровожден... Туман рассеивался или сгущался, ему и его крепостным людям грозили новые допросы, каторга и Сибирь. Стало проясняться, что можно, впрочем, за что-то платить, тогда эта пыточная Сибирь отступает на время. Немалые, впрочем, деньги... Суммы эти прояснили его сознание. Сидя взаперти, он стал снова писать свой водевиль, в котором больше не было французского блеска. Было что-то от любимого Гоголя, может, даже от блеска дотошного Островского, но еще больше от романтической обиды Лермонтова, от оскорбленной дворянской чести, от свободы сцены, от спасительной свободы театра... Его снова вызывали, запирали, освобождали, вежливо или нагло брали деньги, все больше денег. Сибирь то подступала, то удалялась в завьюженную даль. Хозяева Сибири обращались с ним, как с холуем. Но он закончил свою «Свадьбу Кречинского», и у него появились новые знакомые, его читатели. Из тех людей, для которых важнее всего было написанное слово. То же чувство обиды и возмущения. Не то чтоб он никогда не видел их раньше. Но его корбила их безродность. Один из них, редактор Надеждин, даже хотел жениться на его сестре-писательнице... Разве можно было допустить такое?

Их древний род. Ему и сегодня была непонятна ее неразборчивость.

И все же теперь его интересовали их мысли. Ему льстило их восхищение.

Его пьеса была напечатана в одной книжке журнала с рассказом графа Льва Толстого «Два гусара». Сам Некрасов... Но кто такой Некрасов?

Расследование убийства Луизы тянулось годами. Бумаги были засалены жадными пальцами чиновников, к которым приставали купюры. А кто эти чиновники, которые смотрят на потомственного дворянина, как на овцу для стрижки? Они опухоль на теле России. Через них спускаются высочайшие повеления на уровень рабов. Даже самых высокородных рабов. Самых ученых рабов. Философов. Дело будет слушаться снова и снова. Его дело тянулось семь лет! Семь страшных лет бессилия, унижения...

Вторая пьеса Сухово-Кобылина называлась «Дело». Он назвал ее не комедией, а драмой.

Наконец его дело было завершено. И Сухово-Кобылин, и его люди были оправданы. Ревнивая княгиня Нарышкина еще до своего переезда во Францию родила от него дочку и назвала ее Луизой. А Сухово-Кобылин поселился неподалеку от Ниццы, в Болье-сюр-Мер, где ему больше не слышался посвист сибирской вьюги...

Сам я начал слышать вьюгу в университетские годы. Кончал я тот же университет, что и горделивый драматург, про которого нам тогда еще не рассказывали. Про него и сегодня не надо рассказывать молодежи. Какой-то Кобылин писал про каких-то чиновников и какие-то взятки. Зачем про это писать. Верно сказал недавно один из героев фильма Михалкова-младшего: «Ненавижу я эту русскую литературу...»

Взять того же аристократа Сухово-Кобылина: ну что ему дали эти взятки – сам же дал, теперь сиди тихо. Нет, разглашает, упоминает публично, даже теоретизирует со сцены:

Бывает промышленная взятка; берется она с барыша, подряда, наследства, словом, приобретения <...> Ну и это еще не взятка. Но бывает

уголовная, или капканная, взятка, – она берется до истощения, догола! Производится она по началам и теории Стеньки Разина и Соловья Разбойника; совершается она под сению и тению дремучего леса законов, помощью и средством капканов, волчьих ям <...> Таковую капканную взятку хотят теперь взять с вас <...> Откупитесь! Ради Бога, откупитесь!.. С вас хотят взять деньги – дайте! С вас их будут драть – давайте!.. Дело, возродившееся по рапорту квартального надзирателя о моем будто бы сопротивлении полицейской власти <...> принимает для вас громовый оборот...

Не думайте, что эти литературные откровения человека, пережившего в былой российской жизни насилие, угрозы, поборы, так называемую разбойничью, или капканную, взятку, так легко добрались до российской сцены. Вторая пьеса трилогии Сухова-Кобылина («Дело») находилась под запретом императорской театральной цензуры добрых двадцать лет, а третья («Смерть Тарелкина») и все тридцать, и обитатель бульвара Маринони в Болье писал с горечью: «На самом деле я России ничем не обязан, кроме клеветы, позорной тюрьмы, обирательства и арестов меня и моих сочинений, которые и теперь дохнут в цензуре...» Однако в 1902 году, за год до смерти, драматург был избран почетным членом в Императорскую академию. И вполне откровенно объяснял высокой публике обстоятельства своего прихода в драматургию: «Каким образом мог я писать комедию, состоя под убийственным обвинением и требованием взятки в 50 тысяч рублей, я не знаю, но знаю, что написал Кречинского в тюрьме – впрочем, не совсем, ибо я содержался на гауптвахте у Воскресенских ворот. Здесь окончен был Кречинский».

Лишь через несколько месяцев после кончины драматурга знаменитый актер Малого театра князь Сумбатов, игравший в России под театральным псевдонимом Южин, возложил по поручению товарищей по театру серебряный венок на могилу автора прославленной «Свадьбы Кречинского», которую уже другой знаменитый обитатель Болье Максим Ковалевский назвал «одной из наиболее игранных». И только после Февральской революции Мейерхольд начал ставить долгожданную трилогию Сухова-Кобылина. Премьера третьей ее части состоялась в октябре 1917 года, но вряд ли в те дни опьянения свободой многие смогли оценить пророческий дар аристократа-изгнанника, похороненного в маленьком Болье. Именно персонаж пьесы «квартальный полицейский надзиратель» Расплюев нагло объявил тогда со сцены в Петрограде от имени набиравших силу «властных структур»: «Все наше! Всю Россию потребуем!»

Впрочем, именно в этом возгласе персонажа еще далекий от прозрения Александр Блок расслышал наступление страшного мира, угрозу грядущей дьяволиады и написал, что «русская комедия продолжилась в Сухово-Кобылине, неожиданно и чудно соединившем в себе Островского с Лермонтовым».

Апокалиптические события в далекой России развивались так стремительно и страшно, что могилка в тихом Болье была надолго забыта и русскими, и французскими поклонниками театра, так что вспомнить о русском гении и заплатить за покой его останков было некому. В 1980 году отобрали у блистательного изгнанника его три метра дорогой курортной земли, гроб и останки сожгли, а урну с прахом захоронили в стене Второго кладбищенского колумбария. Но вот минуло еще четверть века, и пожаловал с Волги в Болье российский градоначальник, который в сопровождении местного мэра привез на тихое здешнее кладбище торжественную плиту с надгробной надписью. Обстановка была самая торжественная, однако, как может догадаться любой знаток здешних жестких кладбищенских обычаев, задуманная высокими культурно-дипломатическими лицами двух европейских провинций поминальная процедура прошла не без шероховатостей. Оказалось, что не только могилы выдающегося драматурга давно нет в ривьерской земле, но и урну с его прахом, стоявшую в девятой клетке колумбария, какой-то неизвестный жулик пустил в хозяйственный оборот, так что и плита, и цветы, торжественно привезенные градоначальниками двух дружественных стран, долгое время бесхозно и неува-

жительно путались под ногами посетителей маленького горного кладбища над морем. Одним из них был автор этой книги. Мне думалось, впрочем, что русский комедиограф, наблюдая эту чиновную суету, смог бы оценить горькую ее комичность, не смягчавшую, впрочем, грустной мысли о ничтожестве всякой земной славы.

Ну ладно, доску с именем русского гения, привезенную издалека, в конце концов на пустующий уголок стены пристроили, а как быть с теми, чьих имен здесь над морем не сыщешь?

Ему-то повезло, нашему Сухово-Кобылину: ныне даже молодой французский зритель кладбища помнит это труднопроизносимое русское имя, да и вилла с террасой, где долгие годы жил Сухово-Кобылин, все еще красуется на бульваре Маринони в Болье-сюр-Мер. Драматург на старости стал вегетарьянцем, дожил до 86 лет и жил бы, наверно, еще дольше, если б не пагубная привычка загорать зимой при открытых окнах, что и привело однажды к простуде. О его здоровье и делах (в том числе о переводе на французский и постановке во Франции его пьесы) хлопотала милая дочка Александра Васильевича, рожденная для него коварной Натальей Нарышкиной-Дюма и неслучайно названная Луизой.

Что до других сокрытых от посетителя имен захороненных здесь русских соотечественников, то они приходят мне иногда в голову во время моих прогулок по кладбищу Болье. Не только имена коллег-литераторов, но даже и градоначальников. Впрочем, в ту пору чуть не все эмигранты, хотя бы и бывшие градоначальники, были пишущие. Взять, скажем, ДУВАНА СЕМЕНА ЭЗРОВИЧА (щадя собеседника, он просил звать его просто Семен Сергеевичем), который был еще до Первой мировой войны городским головою в родном своем городе, в крымской Евпатории, и не только не разграбил городскую казну, но и построил в городе на собственные средства библиотеку и театр. Он немало способствовал превращению родного города в знаменитый детский курорт, а в годы Первой мировой как истинный гуманист открывал в Евпатории госпитали. Конечно, как человек предусмотрительный Дуван уехал после крымской катастрофы в эмиграцию во Францию, но не прекращал там бурной своей общественной деятельности на благо ближнего. Особенно заметной была его деятельность в кругах караимов, ибо, как мы уже писали, этот образованный, умный, богатый и щедрый человек принадлежал именно к этой малочисленной народности, этому племени тюркоязычных иудеев, хотя и сектантов, а все же чтущих Тору (но не Талмуд). Первое появление караимов в Крыму исторические источники относят к концу XIII века. Считают, что они добрались туда из Византии. Приплыли какие-то люди, говорившие на одном из тюркских языков, близких то ли к кипчакскому, то ли к болгарскому, а религии державшиеся иудейской. Еще столетие спустя литовский князь Витовт привел за собой в Тракай три сотни этих крымских караимов. Увидел в них толк, сам и привел.

Ах, Тракай – чудный был городок под Вильнюсом, где и нынче живут над озером, под стенами восстановленного замка полсотни караимских семей. Я и сам однажды прожил там месяц, пока таджикская киногруппа снимала там фильм по моему первому в жизни сценарию. Фильм не принес славы ни мне, ни режиссеру, зато в одном тракайском доме меня как-то угостили особыми караимскими пирожками, причем хозяйева наперебой рассказывали мне, что русский император пришел однажды от этих пирожков в неопишуемый восторг. Откуда там взялся император, я по молодости лет и узости интересов так толком тогда и не выяснил. Но вот лет сорок спустя, живя на Лазурном Берегу, услышал про здешнего С. Дувана и стал искать в книгах его биографию, а тут, в Болье-сюр-Мер, искать его могилу...

Понятное дело, что после русской катастрофы семнадцатого года недобитый градоначальник Дуван уехал во Францию, где он, конечно, скучал по родной Евпатории, но как у человека общественного темперамента у него и здесь дел было невпроворот: караимские и русские беды требовали его неотложного вмешательства. Были и семейные хлопоты: росли у него

сыновья от госпожи Дуван, с которой позднее, увы, он разошелся. Но разошелся не разошелся, а надо было учить отпрысков, а также по мере сил руководить здешней караимской общиной.

Дуван жил теперь в чудном Болье, на южном берегу Франции, но взгляд его был прикован к Германии, где набирала силы вторая после большевистской страшная диктатура Европы. Во Франции были люди, очень остро предчувствующие геноцид евреев (читатели знаменитых мемуаров припомнят недоброжелательный рассказ Н. Берберовой об иступленной, отчаянной антифашистской деятельности ее соперницы в любви Ариадны Скрябиной, дочери русского композитора и жены молодого поэта). Остро предчувствовал грядущую катастрофу и умный караим Семен Дуван. Да, конечно, караимы не считали себя даже родственниками евреям, у них с евреями были некие религиозные расхождения, и все же они издавна исповедовали иудаизм, так что если начнется... При всей своей отваге Дуван не рассчитывал спасти евреев, но и сидеть сложа руки он не стал. Дуван решил доказать, что караимы – не евреи, стал изучать все, что писали на этот счет историки, этнографы, антропологи. Существовало тогда несколько гипотез происхождения караимов. Скажем, хазарская. Однако хазары растворились где-то еще до появления караимов. И в караимском фольклоре хазары странным образом отсутствуют... Добросовестные антропологи делали обмеры караимских голов, брали пробы крови. Наука дело неторопливое. А времени не было. Перед Олимпиадой в Мюнхене нацисты чуток прикрыли грядущий разгул насилия. Дипломатия. Древняя профессия. Как проституция. Но что будет дальше? К осени 1938 года житель Ниццы караим Семен Дуван, взвесив на руке собранное досье, поехал в Берлин. Он чувствовал, что ждать больше нельзя. Он имел опыт чиновника, градоначальника, понимал машину власти. В Берлине Дуван прежде всего заручился поддержкой нормальных людей. Еще не все такие люди были испуганы насмерть. Приезжего ходатая поддержал германский епископ, поддержал православный иерарх. Он пошел с ними в здешнее МВД, из кабинета в кабинет. Спокойно доставал бумаги. Тогда еще не все прятали глаза. Чиновники были согласны, что это крошечное племя не совсем, как бы это помягче сказать... В общем, нет, не евреи. Это не сказать надо, напоминал Дуван, надо записать, подтвердить, дать справку, вы же сами видите, обмеры черепа, пробы крови, вершина науки, 28 караимских черепов... А вот нам доктор арийских наук подтвердил, кандидат теории генофондов, крупнейший специалист по крайней плоти, победитель арийского конкурса необрезанных... Заумная бумага пошла по инстанции, колесики великой госмашины со скрипом закрутились.

Героический Дуван смог наконец из мерзкой северной осени хайлеющего Берлина, где трамваи визжали на поворотах – «зиг-зиг», двинуться назад, в беспечную Францию, в теплую Ниццу.

Дуван уехал вовремя. Неделя, другая, и грянула в Берлине «хрустальная ночь»: штурмовики крошили витрины еврейских лавок, а заодно и еврейские черепа. А 5 января 1939 года на виллу месье Дувана приехал почтальон и вручил хозяину пакет из немецкой столицы. Это было официально заверенное разрешение жить. Стараниями месье Дувана удалось продлить жизнь горстке людей, созданных по образу и подобию. Во всяком случае, на этот счет есть справка с печатью из страны Гейне. Там подтверждается, что караимы не могут быть отождествляемы с евреями. Других подробностей в письме не было. На самого Гейне разрешение жить не распространялось. Но зато и об отождествлении евреев с трупами еще не было объявлено. Да что там, и год спустя, когда евреи уже могли ходить по улицам Парижа только с разоблачительной шестиконечной звездой, многим в Европе казалось, что еще не все решено. Что еще не принято «окончательное решение». Зато у караимов уже на всякой случай была справка...

Я долго и безуспешно искал могилу Семена Эзровича Дувана. Ничего не нашел и отправился в местный загс. Атмосфера там была бодрая, предобеденная. Увидев мою уже примелькавшуюся физиономию, молодая начальница мадам Дувайе улыбнулась мне почти натурально.

– Месье Симон Дуван, – сказал я как можно зазывнее. Не так зазывно, как в молодости, но все же старался.

Не знаю, на что я надеялся. Может, на оживление мертвого благодетеля. Но правда жизни была как всегда суровой.

– Вам не повезло, – сказала начальница, перебирая карточки. – Всего год, как его выкопали, перенесли в общую могилу. Вероятно, родные перестали платить.

– И что же, там ни слова, ни строчечки? – спросил я растерянно. – Такой был человек замечательный...

– Ну раз такой замечательный, справочку мы вам дадим.

И мне выписали справочку. Что вот и правда существовал такой гражданин, месье Симон де Дуван, но умер 5 февраля 1957 года в двадцать часов на вилле Босежур, что на бульваре Эдуарда VII, а прописан был покойник в Ницце на бульваре Франсуа Гроссо, рожден же был в Евпатории (Россия) первого апреля 1860 года, сын Сержа де Дувана и Елизаветы Бобантини, а женат был покойный, хотя и разведен позднее, на Александре Кальфе. Составлено же это свидетельство в одиннадцать утра шестого февраля по заявлению сына покойного Бориса, преподавателя языков сорока семи лет, проживающего в Жуан-ле-Пене, который наряду со мной, Франсуа де Меем, это свидетельство подписал. И подпись мэра Болье-сюр-Мер. Все это было написано каллиграфическим почерком, а полвека с лишним спустя переснято для меня, и я ушел, унося в кармане это свидетельство чужой жизни и смерти и думая о том, что, когда умер сын Семена Дувана, когда кончился контракт, то некому стало платить ни за отдельную могилу спасителя целого народа, ни хотя бы за маленькую табличку над общей могилой.

Народ же, слава Богу, еще более или менее здравствует. В тот же самый день, когда я вернулся из загса Болье, мой друг Пьер привел меня в гости к своему другу, пожилому караиму Дмитрию Пенбеку, и – великое чудо! – этот симпатичный девяностолетний человек, проживший всю жизнь в Северной Ницце, замечательно говорил по-русски. Он с гордостью вспомнил, что в годы последней оккупации караимов не убивали, у них была специальная карточка, где было написано, что им можно жить. Я спросил, помнит ли Дмитрий месье Дувана, и он сказал, что странно было бы ему этого Дувана не помнить, раз он был женат на родственнице Дмитрия мадам Кальфе и имел от нее сына.

Должен признаться, что позднее я не раз еще докучал молодой начальнице живых и мертвых в прелестном местечке Болье своими расспросами о безвестных обитателях братской могилы. В частности после того, как выяснил, что поселился в Болье в конце своей бурной жизни русский социалист-революционер, депутат Учредительного собрания, а позднее – издатель, литературный критик и писатель МАРК ЛЬВОВИЧ СЛОНИМ (1894–1976). Тем, кто изучал эмигрантскую литературу и, в частности, жизнь и творчество Марины Цветаевой, имя это не могло не примелькаться (в письмах Марины Цветаевой оно едва ли не самое упоминаемое). Слоним познакомился с Цветаевой в эмиграции в 1922 году, высоко ценил ее стихи, да и к ней самой относился с трепетом. Но конечно, безудержной Цветаевой хотелось большего, и она высмеивала его сдержанность. А он был молод, влюбчив, не раз увлекался эмигрантскими красавицами, женился и даже удостоился (наряду с бесцеремонным Родзевичем) разящей цветаевской «Попытки ревности». Впрочем, сама Марина Ивановна очень мало соответствовала слонимовскому идеалу жены, в частности «жены писателя». Именно этому идеалу посвятил Марк Слоним свою позднюю книгу «Три жены Достоевского».

Эсеровский эмигрантский журнал «Воля России», в котором Марк Слоним долгие годы вел литературный отдел, поддерживал не одну Цветаеву, но и молодых поэтов русского «незамеченного поколения» (например, Поплавского). Так что щедрый русский писатель Марк Слоним, лишь недавно потерявший отдельную могилу в Болье, заслуживает нашего упоминания. Согласившись с этим, местный загс выдал мне копию свидетельства и на пишущего революционера Слонима...

Рокбрюн

Если мы продолжим наше паломничество к востоку от Ниццы не по Нижнему, прибрежному, а по Среднему карнизу, то вскоре попадем в старинную горную деревню Рокбрюн. Высоко над древним Рокбрюном, над руинами его средневекового замка, над княжеством Монако и морским берегом дремлет удивительное здешнее кладбище. Может, самое удивительное на Ривьере. Дух захватывает, когда оглядываешь отсюда берег и близлежащие склоны, и невольно приходит в голову, что такой уголок над берегом могли себе выбрать только люди со вкусом. Да вы и сами в этом убедитесь. Слева от северного входа захоронен человек, чье имя вспоминает всякий интеллигентный человек мира, если речь пойдет о современной архитектуре, – Корбюзье! Точнее, Ле Корбюзье. А если быть совсем дотошным, то имя этого всемирно прославленного швейцарца Шарль-Эдуар Жаннере-Гри, а Корбюзье – слегка обрезанный нами, несведущими, псевдоним. А справа от этого входа на кладбище находится могила другого преуспевшего при жизни художника, моего земляка москвича КОНСТАНТИНА АНДРЕЕВИЧА ТЕРЕШКОВИЧА (1902–1978). Собственно, он родился не в самой Москве, а под Москвой, неподалеку от знаменитейшей подмосковной психушки Канатчиковой дачи. Папа его Абрам Терешкович служил на этой даче психиатром, а в семье доктора росла добрая поросль талантов – будущие актеры, режиссеры, спортсмены, наездники, филантропы, и, что удивительно, никто из них не попал под смертельную лапу великого вождя. Я даже застал в Париже легенду, что вождь любил Терешковичей (так, например, предполагала дочь художника, милая парижанка мадам Франс). И правда чудо, ни один не пропал. А ведь он рискованный был мальчик, Костя Терешкович, папин любимец. С детства учился живописи, папа приглашал ему в учителя знаменитых живописцев. А однажды повел его папа в гости к своему доброму знакомому (а может, и пациенту) Сергею Ивановичу Щукину, владельцу известной на всю Москву коллекции французской живописи, поклоннику и благодетелю Матисса, яростному проповеднику французского живописного авангарда. Вот тут-то юный Костя Терешкович осознал, что станет художником, а путь в живопись лежит через Париж. И он одолел этот путь, несмотря на невероятные трудности. Сперва в Европе разразилась война, потом война забушевала в России. Костя попал в армию (в Красную), его повезли на восток, и тут его и армии интересы окончательно разошлись. Ему удалось добраться до Батуми (где он поработал на чайной плантации), потом до Константинополя (где ухаживал за лошадьми в конюшне английских кавалеристов). Наконец он попал в Марсель, а оттуда (без вещей, денег, билетов и документов) – в Париж. В ходе этой одиссеи решимость стать своим у художников окрепла, да и с людьми сходилась он по молодости легко. Благодетель молодых русских художников Сергей Ромов познакомил его с Ларионовым и Бартом, он подружился с монпарнасскими «поэтами незамеченного поколения», близко сошелся с Борисом Поплавским (который называл его «молодым Моцартом Монпарнаса»). Терешкович много работал, учился у русских и французов, быстро встал на ноги. Он полюбил Францию, хотел стать французским художником и стал им. Константин женился на прелестной француженке, завел с ней двух дочек (старшую из которых назвал Франс, Франция) и без конца писал портреты жены и детей. Во время войны участвовал во французском Сопротивлении, потом завел конюшню, увлекался лошадьми и спортом, играл в теннис, регулярно посещал всемирные Олимпиады, имел собственную виллу «Хаджи-Мурат» на дороге, ведущей от моря к Рокбрюну, и вот – упокоился над этой дорогой и виллой, успев одарить своими полотнами многие знаменитые музеи Европы и Америки.

Спускаясь от верхних ворот рокбрюнского кладбища Сен-Панкрас к нижним, можно увидеть и еще несколько русских и украинских могил. Вот захороненная в 1929 году ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ЛУКАШЕВИЧ (урожденная ГОЛОТА). Муж ее СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ ЛУКАШЕВИЧ (похороненный еще через пять лет на Кокаде), член Третьей Государственной

думы от землевладельцев Полтавской губернии, позднее назначен был уездным комиссаром Временного правительства. В огромном поместье Мехедовка выросло у них двенадцать детей. Двое – Борис и Богдан – были расстреляны большевиками.

Но вот мы с вами спустились к южной калитке кладбища Сен-Панкрас, и тут нельзя миновать светлого камня намогильный православный крест, под которым почитает АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ (1866–1933) и его супруга, сестра последнего русского царя-мученика Николая II великая княгиня КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА РОМАНОВА (1875–1960).

Старшая из сестер, она была любимицей брата-императора, да и среди созревающих для брачного союза (или уже созревших) принцев пользовалась немалым успехом. Среди по-немецки длинноносеньких дворцовых и заграничных принцесс Ксения выделялась коротеньким своим аккуратным носиком и по-особому лучистым взглядом. Похожа она была на матушку, императрицу Марию Федоровну (в девичестве принцессу Дагмар Датскую). Когда Ксении пришлось из всех высокородных претендентов на ее руку выбирать самого завидного, выбор матери пал на бравого моряка Александра, экзотического сына Тифлиса, внука императора Николая I. Отец его великий князь Михаил был наместником русского царя на Кавказе и растил там своих незаурядных сыновей в суровой обстановке генеральского дома. И они оправдали отцовское доверие. Старший Николай достиг значительной учености и бестрепетно, с ласковым котенком на руках принял пулю большевистских карателей. Михаил склонен был к семейной жизни и выбрал в жены не слишком высокородную барышню, зато внучку самого Пушкина. Сергей был нежным другом прославленной балерины Кшесинской, но расстреляли его вместе с другими князьями не за это, а единственно по причине высокого происхождения. Что же до похороненного в Рокбрюне великого князя Александра Михайловича Романова (которого близкие запросто звали на грузинский манер Сандро), то ему суждено было выбрать с юности морскую профессию, избородить многие моря и океаны, получить в друзья последнего российского императора, а в жены его любимую сестрицу, нарожать с ней семерых детей, счастливо бежать за границу и (кто мог такое предвидеть?) угаснуть в маленьком французском селении на берегу Средиземного моря. Он умер в 1933 году на исходе седьмого десятка лет, но успел ко многим более или менее полезным делам своей бурной жизни прибавить еще одно – написать и издать свои мемуары, интереснейшую «Книгу воспоминаний». Великий князь Сандро считался другом детства и был родственником последнего русского царя, знался со всеми при дворе, был свидетелем многих событий придворной жизни и гибели русской империи, так что многие отзвуки его мемуарных показаний (и даже его трактовок) можно найти в исторических книгах, вышедших за последнее столетие. «Книга воспоминаний» хорошо написана, но, конечно, это лишь одно из вполне субъективных свидетельств столь волнующих нас до сих пор событий, хотя рассказчик и старается сохранять полную искренность, справедливость при оценке событий и даже некое чувство юмора.

Великому князю Александру Михайловичу довелось командовать кораблями, но великим флотоводцем ему стать не пришлось – таковым считался дядя императора великий князь Алексей Александрович. Он потерпел множество поражений на море, но зато одержал немало любовных побед на суше, был всегда щегольски одет, заслужил почетное прозвище нашего Бруммеля (по имени знаменитого английского денди) и завоевал сердце неотразимой Зинаиды Богарне, жены герцога Ольденбургского. Зато великому князю Александру Михайловичу удалось внести вклад в торговое мореплавание и усовершенствование морских портов. Правда, под нажимом «дяди Алеши» государю пришлось потеснить «князя Сандро». Позднее великий князь Сандро внес вклад в развитие русских военно-воздушных сил, но в конечном счете чувствовал свои ценные начинания недооцененными. Ситуация при дворе была нелегкая. Великих князей было довольно много, и все они хотели чем-то руководить, а существовали еще разно-

образные и вовсе не родовитые министры и чиновники (правда, они казались великому князю Сандро неуместными, а содержание великих князей представлялось ему весьма умеренным – 200 000 золотых рублей в год каждому, плюс на приданое дочерям да еще на содержание дворцов и слуг).

С юмором описывает князь Сандро собственную женитьбу на великой княжне Ксении, все сложнейшие трехсотлетней давности брачные ритуалы и многочисленные предметы приданого... В общем брак был удачным. Ксения родила в браке шестерых сыновей и красавицу дочь Ирину, которую они выдали замуж за богатейшего красавца графа Феликса Юсупова (увы, вполне равнодушного к женской прелести). Конечно, двоюродный племянник великого князя император Николай II редко слушался советов своего благоразумного сверстника-дяди, что и привело его самого, его семью и всю нашу великую страну к страшной катастрофе, но тут уж великий князь Александр Михайлович и другие великие князья ничего не могли поделать. Разве что убить мужика Распутина, мешавшего России вступить в благородную войну с Германией. А то, что после постигшей отчасти в результате их высокопатриотического порыва Европу и Россию мировой катастрофы несколько великокняжеских семейств все же чудом уцелели, вот это было настоящее чудо.

Выбравшись из России, Александр Михайлович и его супруга Ксения Александровна довольно скоро разъехались по разным углам умиротворенной на время Европы. Великая княгиня еще добрых сорок лет прожила в Великобритании, где пользовалась гостеприимством родственного королевского двора (у нее даже был свой небольшой, но уютный дворец близ Лондона). Что же до великого князя Александра Михайловича, то он довольно нескучно проводил время на вилле своей замужней, но азартной красавицы сестры Анастасии в Каннах, а также и на собственной вилле в Рокбрюне: влюблялся в молодых женщин, занимался спиритизмом, писал мемуары, помаленьку старился и был в конце концов похоронен на здешнем кладбище Сен-Панкрас. Серенький день его похорон с грустью описал в своих воспоминаниях совсем еще молодой тогда, рожденный в Петербурге барон АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ БУАЙЕ ДЕ ФОНСКОЛОМБ (1909–2002), и сам ныне похороненный здесь же поблизости после долгих трудов на ниве французской дипломатии (в французских посольствах и консульствах Москвы, Джакарты, Карачи, Сан-Паоло, Веллингтона). Тело княгини Ксении Александровны Романовой привезли к Рокбрюн к мужу чуть не три десятилетия спустя.

Похоронен под этим каменным крестом и один из сыновей княжеской пары НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ (1900–1974). Он окончил Морской корпус еще в России, потом университет в Оксфорде, работал в парижском доме моды «Ирфе» у сестры Ирины и ее мужа Феликса Юсупова, был служащим в банке, преподавал русский язык в военной школе в Калифорнии, позднее занимался общественной работой во Франции и умер в Каннах. Здесь же похоронена и его супруга княгиня РОМАНОВА МАРИЯ ИЛЛАРИОНОВНА, урожденная графиня ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА (1903–1997). Она тоже трудилась в семейном доме моды «Ирфе» и приходилась родной сестрой знаменитому масонскому деятелю и члену эмигрантского союза «Молодая Россия» М.И. Воронцову-Дашкову. Влияние иных из младоросских идей вы заметите, кстати, и в знаменитых мемуарах великого князя Александра Михайловича.

Ментона

От прекрасного Рокбрюна с его не часто посещаемым горным кладбищем рукой подать до одного из прелестнейших городков Французской Ривьеры – Ментоны. Надежно прикрытая с севера горами, Ментона вкушает сладостно мягкие осень, весну и зиму в море южных цветов, ароматов, зелени и пенистого прибоя. А конец позапрошлого века и начало прошлого вплели в экзотический узор истории города траурно-черную нить. Вот что писал Ги де Мопассан, воспевая в очерке «На воде» этот «самый теплый, самый здоровый из <...> зимних курортов»:

Как около укрепленных городов видишь форты на окрестных высотах, так над этим пляжем умирающих виднеется кладбище на вершине холма.

Каким роскошным местом для живых был бы этот сад, где спят мертвецы! Розы, розы, повсюду розы! Они кроваво-красные, чайные, белые или расцвеченные пунцовыми прожилками. Могилы, аллеи, места, которые еще пусты сегодня и заполнятся завтра, – все ими покрыто. Сильный запах дурманит, кружит голову, заставляет пошатываться. И всем, кто лежит здесь, было по шестнадцать, по восемнадцать, по двадцать лет.

Идешь от могилы к могиле и читаешь имена этих существ, убитых в таком юном возрасте неизлечимой болезнью, это кладбище детей, похожее на те белые балы, куда не допускают женатых.

В утешение всем странствующим по берегу могу сообщить, что эта репутация города умирающих, да в значительной степени и непобедимости чахотки, ушли в прошлое, а ведь были они еще и в начале прошлого века прочными. Можно вспомнить записки режиссера Жана Ренуара о том, как он искал уютный уголок на берегу для старика отца, великого Огюста. Конечно, семье не могла не понравиться тихая Ментона, но тут же вспомнилась ее репутация, так безжалостно преданная гласности все тем же Мопассаном: «Как должны проклинать во всех уголках земли эту прелестную и страшную местность, это душистое и мягкое преддверие Смерти, где столько семей, скромных и царственных, титулованных и буржуазных, оставили кого-нибудь навеки...»

Среди этих семей, оставивших на кладбище, так заметно царящем над главной улицей «прелестной Ментоны» (так называли ее до Мопассана на своем языке и князь Петр Вяземский, и многие другие), прочтешь даже и на уцелевших надгробьях немало русских имен: Федор Бартенев, князь Андрей Львов, Илга Суворова, Андрей Волконский, Пьер Трубецкой, Сергей Городецкий, Борис Похитонов, Федор Филиппов и еще, и еще, и еще...

Издали заметна часовня над могилой русского вице-консула НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЮРАСОВА (1836–1906). О нем тепло вспоминали Ковалевский, Чехов, весь русский круг Ниццы начала прошлого века. А вот князя АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ВОЛКОНСКОГО (1933–2008) хорошо помнят москвичи моего поколения (он был на два года меня моложе). Он был знаменитый музыкант (блестящий клавесинист) и авангардный композитор, один из главных пропагандистов и основателей авангардной музыки в Советской России, создатель знаменитого ансамбля «Мадригал». Вырос Андрей Михайлович и музыкальное образование получил в Швейцарии, продолжал учебу в Московской консерватории. Приехал в Советский Союз в толпе одураченных эмигрантов в 1947 году, закончил учебу, создал популярнейший ансамбль, пользовался большим успехом, хотя всякий авангард был, конечно, у властей под подозрением. Жить под подозрением многим не нравится, иногда настолько, что впору уехать. Иным удавалось, иных даже высылали. Вот уехал с семьей, отсидев срок, друг Андрея, внук

царского министра Никита Кривошеин. Но для Волконского ловушка захлопнулась. Однако в «железном занавесе» появились прорехи. В шестидесятые годы выпускали «к родственникам» (по большей части придуманным) армян, русских немцев, евреев.

Решительный Волконский мог придумать кучу родственников в Швейцарии и Франции, но он не был при этом ни армянином, ни евреем. Тогда он решил срочно с кем-нибудь разумно породниться. У нас на западной окраине Москвы была молодая соседка, разговорчивая дама, которая собралась уезжать «на историческую родину». Уедет через столицу Австрии, а там решит, куда отправляться и где будет ее третья родина. Однажды дама рассказала нам, что ее познакомили с молодым и знаменитым музыкантом, князем. Они видятся чуть не ежедневно, и князь как честный человек намерен на ней немедленно жениться. В ответ на наши поздравления она объяснила, что жена-еврейка считается отныне в деловой Москве «не роскошью, а средством передвижения». О завершении этой брачной эпопеи мне рассказал в Париже мой соученик по инязу Никита Кривошеин. Он встречал князя Андрея на парижском вокзале, где они, следуя за носильщиком и чемоданами, увлеченно обсуждали последние события русской и французской жизни. Потом осторожный Никита обратил внимание князя на то, что какая-то молодая женщина следует за ними неотступно. Князь Андрей, усмехнувшись, решил успокоить старого друга и весело обернулся к бредущей за ними женщине. «Мадам, – сказал он, с легкостью переходя с французского языка на русский, – разве наши обязательства друг перед другом еще не выполнены?»

Мне показалось, судя по пересказу Никиты, что даже на него, успевшего пройти через ульяновские, московские, женеvские и мордовские сборища интеллигентов и зеков, эта легкомысленная фраза произвела глубокое впечатление. Впрочем, он ничего не смог сообщить мне о дальнейшей судьбе нашей бывшей московской соседки. Что же касается самого знаменитого музыканта, то его судьба развивалась на Западе вполне благополучно. Всего через два года после приезда во Францию он сумел организовать Фестиваль современной музыки в провинциальном французском городе Ла-Рошели (том самом, где так доблестно сражались мушкетеры короля) и с успехом выступил на этом фестивале как органист. Более того, на двух последних концертах этого фестиваля были исполнены камерные произведения самого Андрея Волконского. Позднее он создал в Швейцарии музыкальный ансамбль «Хок Опус» и разъезжал с концертами по городам и весям Европы. Сомневаюсь, конечно, чтобы повсеместно у выхода из концертных залов ошалелые меломаны и меломанки хватали его, как в Москве, за рукав, прося дать автограф или на худой конец вступить с ними в брак, но вовсе не уверен, что он в этом нуждался...

И вот теперь он на кладбище в Ментоне, которая была известна межвоенной русской эмиграции как уголок, где можно (при наличии средств) спокойно провести старость или просто задержаться на путях поисков работы и благополучия. При этом, понятно, русских беженцев здесь было все-таки меньше, чем в Каннах или Ницце, так что и на всех трех кладбищах Ментоны русских могил меньше, чем на Кокаде. И конечно, здесь меньше похоронено бывших придворных, крупных военачальников, русских знаменитостей. К тому же иных из тех, кто, приехав из России и кончив свои дни в Ментоне, становился «невозвращенцем», позднее все же увозили назад в Москву или Петербург, как было, например, с большевистским наркомом просвещения АНАТОЛИЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ЛУНАЧАРСКИМ (1875–1933), который умер в ментонском санатории, был здесь кремирован, но урну с его прахом замуровали в Кремлевскую стену в Москве. Нечто подобное произошло и с адмиралом ИВАНОМ КОНСТАНТИНОВИЧЕМ ГРИГОРОВИЧЕМ (1853–1930), который возглавлял некогда оборону Порт-Артура, а с 1911 года до самого 1917-го был российским морским министром и членом Государственного совета, создал в годы Первой мировой войны Морской корпус в Севастополе, а в пору Гражданской войны мирно трудился при большевиках в Историческом архиве и Морской архивной комиссии. В 1924 году он был выпущен на лечение во Францию, но решил не воз-

вращаться на родину. Выжить в эмиграции бывшему министру помогало искусство. Он писал морские пейзажи и продавал их поклонникам живописи и былой славы морской державы. Григорович был похоронен на ментонском кладбище весной 1930 года, однако останки его были востребованы родиной три четверти века спустя, и тогда он был перезахоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. В том же 2005 году в Москве были изданы «Воспоминания бывшего морского министра», написанные И.К. Григоровичем в свободное от живописи и активной деятельности в Зарубежном объединении морских организаций время.

Среди немногих похороненных в Ментоне генералов мне бы хотелось назвать ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАСЛОВСКОГО (1876–1971). Помню, как лет тридцать тому назад в приходской библиотеке Ниццы, что и нынче открыта на рю Лоншан, на просьбу подыскать что-нибудь о русской эмиграции в Ницце молодая княгиня Зоя-Жоэль Оболенская принесла мне рукопись Е. Масловского.

– Все как в Москве, кругом самиздат, – удивился я. – А кто такой Масловский?

– Он до нас с Ниной Булгаковой был здесь библиотекарем.

Сейчас я уже таких вопросов не задаю, хотя рукопись эту еще иногда листаю. Но теперь уж знаю, конечно, что был тут библиотекарем боевой генерал, который писал и даже печатал военно-исторические очерки, приехал на этот берег по приглашению генерала Юденича, у которого служил на Кавказе, причастен был к славным победам, орденов имел кучу, а дни свои кончил в старческом доме Ментоны, едва не дожив до ста лет. Родился он в генеральской семье, окончил кадетский корпус в Тифлисе, потом артиллерийское училище, а позднее и военную академию. Во время Первой мировой служил на Кавказе, командовал и полком, и дивизией, а одно время и фронтом, а после эвакуации армии трудился на железнодорожном строительстве в Болгарии, на автозаводе во Франции и писал, писал о войне на Кавказе, где не одни были в ту пору поражения, но и впечатляющие победы. Очерки Масловского печатались в эмигрантских журналах «Часовой», «Русский инвалид», «Россия и славянство», позднее выходили и его книги.

Военным историком, специалистом по проблемам мобилизации промышленности в военное время был живший в здешнем старческом доме и первоначально захороненный в Ментоне (а позднее перезахороненный в Сент-Женевьев-де-Буа) ИВАН ИВАНОВИЧ БОБАРЫКОВ (1890–1981), выступавший с докладами в Институте изучения современных проблем войны и мира, в Объединении бронепоездных артиллеристов, бывший товарищем председателя Очага русских шоферов и заведовавший в этом очаге библиотекой. А как же было очагу грамотных русских шоферов без своей библиотеки и какого-никакого ученого библиотекаря?

Понятно, что пережитый русскими военными уникальный жизненный опыт побуждал их к писательству, к мемуаристике. Двигало ими и желание осмыслить пережитое, а может, и заново пережить ушедшее. Вероятно, то же самое толкало их на сцену или на худой конец на кино съемки, к участию в массовках, к перевоплощению в того, кем они были, да хоть и вообще в кого-нибудь другого, не того, кем сделали их перипетии беженской русской судьбы. Сцена, театр, кино, преображение...

В русском старческом доме Ментоны до самой своей кончины жил (и был в 1979 году похоронен в Ментоне) участник двух войн штабс-капитан и бывший парижский таксист СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУРЕЙКИН. Он еще в 1920 году, на путях изгнания, в Германии примкнул к труппе русских актеров-эмигрантов. Но особенно бурной стала его актерская деятельность в зрелые годы, после окончания Второй мировой войны. Он играл в Париже в театре Греча и Павловой, в Русском драматическом театре Корганова, во вполне просоветском театре вполне сомнительного Союза советских патриотов (лишь бы играть!), выступал на благотворительных вечерах и концертах, которые устраивали разнообразные русские общества, церковные общины, русские старческие дома в Ментоне, Ницце, Кормей-ан-Паризи, Монморанси, Ганьи... Сборы от этих концертов шли в пользу самих домов, в пользу бедняков, в пользу боль-

ных. Это было активнейшее движение солидарности: обедневшие собирали деньги для вовсе обнищавших соотечественников. Можно отметить, что русские штабс-капитаны, поручики и капитаны обнаруживали при этом в своей среде настоящие таланты. Кстати, и собственная их жизнь становилась от этого занятия интересней и осмысленней. Вся эта огромная деятельность требовала немалых организационных усилий и навыков. Одни принесли эти навыки из прежней жизни, другие овладевали ими в ходе бурной общественной деятельности.

В Ментоне же похоронен был девяностолетний пансионер русского старческого дома НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ШЕБЕКО (1863–1953). Он окончил в юности Пажеский корпус, служил в Кавалергардском полку, выйдя из которого стал дипломатом: служил первым секретарем русских посольств в Париже и Копенгагене, был на дипломатической службе в Берлине, Бухаресте, Вене. В эмиграции, в Париже, зарабатывал на жизнь книготорговлей и при этом никогда не прекращал общественной работы. Он был член-учредитель и член совета общественного клуба «Русский очаг во Франции», председатель «Союза освобождения и возрождения России», возглавлял «Русскую ассоциацию за освобождение и реконструкцию Отечества», был членом Центрального комитета «Русского народно-монархического союза» и председателем его французского отделения, организатором и председателем «Союза объединенных монархистов», председателем «Союза пажей в эмиграции», председателем совета Русского общества взаимного кредита, членом Общества бывших служащих Министерства иностранных дел, членом общества «Икона», товарищем председателя «Союза ревнителей памяти императора Николая II», многолетним членом объединения «Кавалергардская семья» и еще, и еще... Его было кому вспомнить добром.

Он писал воспоминания, печатал их в газете «Возрождение». Совершенно удивительные подробности может обнаружить историк эмиграции в воспоминаниях такого бывалого человека, как И.И.Шебеко. К примеру, он попал в компанию журналистов «Возрождения», засевших в кафе «Руайяль», где в этот час вполне известный советский агент граф А.А. Игнатъев назначил тайное свидание знаменитому главе монархической эмигрантской организации «Молодая Россия» Владимиру Казем-Беку. Это было историческое свидание, и до сих пор не известно, кто «подставил» Казем-Бека вместе с его сверхпопулярной партией. Подозрения могут упасть на любого из присутствовавших, кроме, пожалуй, самого Казем-Бека. Даже на графа Игнатьева, одного из многих тогдашних монархистов, с таким успехом перешедших на службу к большевикам. Для истории важны свидетельства о событиях. Так вот, неутомимый, вездесущий И.И. Шебеко и здесь был свидетелем...

На этом обрывается рукопись Бориса Михайловича Носика. Он скончался 21 февраля прошлого, 2015 года, и был похоронен в Ницце на кладбище Кокад среди многочисленных героев своей последней книги.

От издательства. Борис Михайлович Носик

1931–2015

О себе он рассказывал так:

Первым, так сказать, родным городом была Москва: так мне повезло, что родился я в той самой «кипучей, могучей, никем не победимой» Москве. Жил между Первой Мещанской и Большой Переяславской. Окончил редакторское отделение журфака МГУ и английский факультет Иняза, отслужил двухлетнюю солдатскую службу в Армении и четырехлетнюю редакторскую на московском радио. С тех пор больше не служил: путешествовал на попутках по России и «соцстранам», переводил англоязычную литературу (Ивлин Во, Набоков, Пинтер, Сароян, Купер, Голсуорси и др.), писал повести, рассказы, стихи, травелоги, биографии (А. Швейцера, В. Набокова, Н. Миклухо-Маклая, В. Жуковского, А. Львова, А. Бенуа, З. Серебряковой, Ю. Анненкова, Никола де Сталя, А. Ланского, Л. Бакста, И. Билибина, А. Яковлева, В. Шухаева), а также пьесы и киносценарии.

Перевод повести Ивлина Во «Незабвенная» – первая публикация этого автора на русском языке. Борис Михайлович стал и первым переводчиком Уильяма Сарояна. К списку биографий надо добавить «перевод» изданной в серии ЖЗЛ биографии Бернарда Шоу, написанной как бы Э. Хьюзом: англоязычного оригинала этой книги не существует. Из путешествий на попутках по России он привез свою «По Руси Ярославской» (1968 г.) – книгу, которую до сих пор вспоминают жители тех мест. А до этого – из плавания – описание жизни страны «От Дуная до Лены» (1965 г.). Вышедшая в серии ЖЗЛ и переизданная в 2003 году издательством «Текст» биография Альберта Швейцера стала событием, книгу было невозможно купить, она была переведена на множество языков и только в Германии переиздавалась восемь раз.

Прозу в СССР писали «в стол» многие. Борис Михайлович не был исключением, его рассказы, повести и роман «Записки маленького человека в эпоху больших свершений», написанные тридцать – сорок лет назад, стали выходить в издательстве «Текст» только после 2000 года.

В первом своем браке стал отцом Антона, который нынче и сам один из отцов русского Интернета, а во втором браке – отцом дочки Сандры, которая читает во французском университете лекции по социолингвистике. Со времени ее рождения в Париже (в 1982 году) жил по большей части во Франции. Дочка росла, я стал прогуливать ее по улицам великого города и попутно знакомился с достопримечательностями. Позднее я написал несколько книжек об этих парижских прогулках и даже превратился в глазах скромной читающей публики из «английского переводчика» и автора самиздатской прозы в довольно активного «парижеописателя», лучшего друга русскоязычных экскурсоводов. Так Париж стал вторым городом моей жизни.

Все русские тайны Парижа: сентиментальные и документальные, странные и страстные, любовные и уголовные, литературные и агентурные, заманчивые и обманчивые – удивительная энциклопедия жизни русской эмиграции во Франции. Трудно представить, сколько нужно было копаться в архивах, сколько книг прочитать, скольких людей выслушать. Как могло хватить времени? Прогулки по Парижу и вокруг Парижа, по Французской Ривьере, Бретани, Нормандии, Ницце и окрестностям. Все маршруты пройдены, и некоторым повезло пройти рядом с ним: он иногда водил экскурсии.

Борис Михайлович написал больше полусотни книг художественной и документальной прозы; он автор десятков телепрограмм в серии «Парижский журнал» на московском канале «Культура» и сотен передач на московском и международном французском радио, радио «Свобода» и Би-би-си.

Так сложилась моя судьба, что третьим более или менее постоянным городом моей жизни сделался французский провинциальный город Ницца. Пожалуй, ни в одном городе я не жила так подолгу без отъезда. Наверное, возраст, сердце...

Не выдержало сердце и остановилось 21 февраля 2015 года. Борис Михайлович остался в Ницце навсегда. Похоронен на русском кладбище Кокад, о котором писал: «На Кокаде как сто лет назад: птички поют, и море сверкает внизу... Брожу, читаю надписи на камнях и надгробных крестах...» В одном из поздних его стихотворений читаем:

А когда я уйду – вероятно, теперь уже скоро,
И неслышно ко мне подкрадется назначенный срок,
Я оставлю тебе по наследству растрепанный ворох
Всех надежд неоправданных и непрочитанных строк.
Будут там – все найдешь – наша грусть и мужская беспечность,
Будут первых бесед и знакомства лихая пора,
Мимолетная боль и грозящая нам бесконечность,
И томительность сладкая Ялты, и белая наша гора,
Будет там и предчувствие той неизбежной разлуки,
Что на смену придет черед наших малых разлук,
Будут старых напевов и песен несозданных звуки,
Будет слово старинное, слово невнятное – друг.
И в осеннюю ночь черноморским дождем растревожен,
Ты гитару возьмешь, ты коснешься уснувшей строки
И увидишь, что наш разговор, как и прежде, возможен,
Что и в разных мирах наши души, как прежде, близки.

Издательство «Текст»

Над книгой работали

Редактор В. Генкин
Корректор Т. Калинина
Художник К. Попова

Издательство «Текст»

E-mail: text@textpubl.ru

[битая ссылка] www.textpubl.ru

Электронная версия книги подготовлена компанией [битая ссылка] Webkniga.ru, 2017